



# ЮНОСТЬ

6  
1979



А. ПАХОМОВ. (Ленинград).

Мальчик с голубем.



ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В 1955  
ГОДУ

# ЮНОСТЬ

## 6/1979

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ПРАВДА“  
МОСКВА

июнь (289)

---

Главный редактор  
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН  
В. И. АМЛИНСКИЙ  
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ  
В. Н. ГОРЯЕВ  
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ  
(зам. главного редактора)  
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ  
Р. Ф. КАЗАКОВА  
К. В. КОВАЛЬДЖИ  
К. Ш. КУЛИЕВ  
Г. А. МЕДЫНСКИЙ  
А. С. ПЬЯНОВ  
(ответственный секретарь)  
В. А. ТИТОВ

---

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
101524, ГСП,  
МОСКВА,  
И-6,  
УЛИЦА ГОРЬКОГО,  
№ 32/1  
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
251-32-83

# В НОМЕРЕ:



## ПРОЗА

Владимир АМЛИНСКИЙ. Нескучный сад. Роман. Продолжение . . . . .	4
Владимир ЕРЕМЕНКО. За сеном. Рассказ . . . . .	29
Павел РУБИНИН. Книжки. Из записок библиотекаря . . . . .	35



## ПОЭЗИЯ

Ольга ЧУГАЙ . . . . .	3
Александр ТКАЧЕНКО . . . . .	27
Иван ЗАВРАЖИН . . . . .	28
Иван РЯДЧЕНКО . . . . .	34
Николай УШАКОВ . . . . .	50
Артык ХОВАЛЫГ . . . . .	73
Араманс СААКЯН . . . . .	74
Ольга ЕРМОЛАЕВА . . . . .	79
Сергей АЛИХАНОВ . . . . .	82
Владимир ВИНОГРАДСКИЙ . . . . .	87
Александр ГОРОДНИЦКИЙ . . . . .	93
Борис УКАЧИН . . . . .	99



## ПУБЛИЦИСТИКА

Эльдар БАХЫШ. Мужская работа . . . . .	52
Полад БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ. Песня: вчера, сегодня, завтра... . . . .	57
Марк ИМШЕНЕЦКИЙ. Донские атомщики . . . . .	60
Алексей ФРОЛОВ, Юрий КОЗЛОВ. Хранители океана . . . . .	63
С. ОРЛОВ. Славная жизнь Заломовых . . . . .	69



## КРИТИКА

Ю. ГАЛКИН. Алиса в стране чудес . . . . .	75
О. ВОРОНОВА. Правда и красота . . . . .	80
Владимир ОГНЕВ. Поэмы Юстиаса Марцинкявичюса . . . . .	83
Николай ОТТЕН. Воспитание шестого чувства . . . . .	84
Светлана МАГИДСОН. Розы и кровь . . . . .	85
Юрий ТРИФОНОВ. Спой свою песню . . . . .	86
Алексей ПЬЯНОВ. «И был сей день великим праздником...» . . . . .	88
Шариф ШУКУРОВ. Два окна в Таджикистан . . . . .	112



## НАУКА И ТЕХНИКА

Игорь РУВИНСКИЙ. Правда о золотой рыбке, или Революция в океане . . . . .	94
---	----



## СПОРТ

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Олимпийская летопись. Глава пятая: Пинегин, Манкин... . . . .	100
--	-----



## ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Арк. ИНИН, Л. ОСАДЧУК. Студенческие байки . . . . .	109
Лев ЛАЙНЕР. Принципиальная любовь . . . . .	110
Павел ИЗЮМИКОВ. Литературная пародия . . . . .	110
Леонид ФУЛЬШТИНСКИЙ. Искусство требует жертва . . . . .	111

На 1—4-й стр. обложки  
рисунок В. Г. Орлова.

Главный художник  
Ю. А. Цишевский  
Художественный редактор  
О. С. Кокин  
Технический редактор  
Л. К. Зябкина

Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 11.4.79.  
Подп. к печ. 15.5.79.  
А 10495.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Высокая печать.  
Усл. печ. л. 12,18.  
Учетно-изд. л. 17,62.  
Тираж 2 820 000 экз.  
Изд. № 1294.  
Заказ № 499.

Ордена Ленина  
и ордена Октябрьской  
Революции  
типография галсты «Правда»  
имени В. И. Ленина  
125865, Москва, А 47, ГСП,  
ул. «Правды», 24.



## ОЛЬГА ЧУГАЙ

### Будильник

Вот старый будильник —  
Фарфоровый циферблат.  
Неторопливые стрелки, округлые цифры  
На все благодушно, открыто и мудро глядят.  
Тот старый будильник!  
В нем прячется конь заводной,  
Он скачет и скачет,  
Он скачет с тобой и со мной  
По белым дорогам,  
По синим, по черным доротам.  
Ушедшее время прощально свистит

за спиной:

Секунда! Секунда! Секунда!  
Так мало! Так мало... Так много...

☆☆☆

Закрутилась  
Мельница солнца.  
Повелела  
Сыпаться листьям.  
И пошло:  
По кругу! По кругу!  
Что ни день —  
Быстрее, быстрее!  
Облетают листья,  
И птицы  
Улетают,  
Катятся звезды.  
Вот какое странное время.  
Наступило время  
Догвдок.  
Наступило время  
Отгадок.  
Все быстрее  
Кружится солнце.  
Все быстрее  
Падают листья.  
Не удержишь их, не окликнешь...  
Все быстрее дни убегают.  
Ах, как было медленно  
Летом!

☆☆☆

Я глаза не открываю.  
Голубую Лиепаю,  
Сосны, дюны и траву

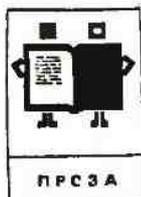
Вспоминаю маяву —  
Люди в дюнах, как тюлени —  
Спины, плечи и колени  
Из-за каждого куста —  
А над морем даль чиста —  
Только дымка голубая,  
Белый парус — Лиепая,  
И качается земля  
Палубой корабля.  
В небе тихо солнце ходит,  
Ничего не происходит.  
Я сижу на берегу —  
Я мгновенья берегу.  
Я боюсь пошевелиться,  
И диковинная птица  
На плечо мое садится,  
Счастье тихо сторожит...  
Дар немислимый — доверье:  
Можно взглядом гладить перья,  
Можно вздохом приласкать.  
Не проснуться б — спать и спать.

### Ночь

Стояла ночь,  
Но в облаке светало.  
В густую мглу  
Свивался дым костра.  
Клубилось облако,  
И отблеском металла  
Горела в небесах  
Воздушная гора,  
Тяжелый шум  
Листва распространяла,  
Казалось,  
Дождь идет  
Вершинами осин.  
Не иссякала ночь,  
А только протекала,  
Как темная река.  
Меж лиственных теснин.  
Светало в облаке,  
Но все не рассветало.  
Металлом налипась  
Осиновая сень.  
Воздушная гора  
Сквозь небо прорастала,  
И в ней  
Почти угадывался день.

☆☆☆

Существует любовь,  
Даже если она существует  
Только в памяти нашей  
И в книгах простых и печальных.  
Расцветает она  
Среди зависти, злобы и горя.  
Безответная — ищет повсюду ответа.  
Благодарна за все:  
О, спасибо, что где-то на свете  
Живешь и страдаешь,  
И единственной в мире улыбкой  
Улыбаешься ты.  
Пусть не мне — это даже не страшно.  
Существует любовь.  
Те, кто знал ее, пойте со мною,  
Улыбайтесь со мною и не проклинайте  
Безвозвратно ушедших.  
Разлюбивших, неверных любимых.  
Упыньтесь и вспед  
На прощанье шепните: спасибо!



ВЛАДИМИР  
АМЛИНСКИЙ

# нескучный сад

РОМАН

— Д

авай зайдем к деду?—как бы спрашивая, но уже решив, говорит ему отец.

— Можно,— соглашается Игорь.

— Ты ведь столько уже не был у деда.

— Давно.

— Что, очень занят, не можешь деда навестить?

— А я собирался.

— Собирался не в счет... Так, знаешь ли, прособираешься...

И они идут к деду, в отчий дом. Отец звонит, как всегда, два раза по привычке старой коммунальной квартиры, привычке, ставшей традицией. Два звонка — значит, это кто-то из своих пожаловал в отчий дом. И, как всегда, на пороге их встречает бабушка. Но не совсем бабушка, «и. о.», что ли, бабушки, да и слово это так удивительно к ней не подходит, несмотря на преклонность ее возраста.

Чем реже встречи, тем острее видишь изменения, они незначительны — немного более морщинисто и сухо обтянула гладкая еще кожа узкие скулы правильного, чуть постного, иконописного лица, выражающего сейчас улыбку, гостеприимство и радушие.

— Давненько, давненько тебя не было, Игорь. Да и ты, Сережа, редкий гость у нас. Да проходите, проходите же.

Но отец, который снова, с того момента, как рука два раза нажала кнопку звонка, с той секунды, что переступил порог этого дома, ставший тем, кем он был всегда, «сыном» и еще кем-то другим, чем он никогда и не назывался, ибо это было не в обычаях их дома, «пасынком», что ли; он, новый, как всегда видит и угадывает в коричневых, чуть запавших глазах некий сигнал предупреждения, который уже вспыхнул, уже разгорается, светофор запрета, и он мысленно слышит фразу, которая будет произнесена через секунду, словно бы записанная на невидимую магнитофонную пленку, фразу, все оттенки которой, а иногда и варианты, знакомы ему так же, как эта вешалка, как это запылившееся трюмо, отражающее его с его сыном, отражающее улыбку, которую ему никогда не удастся изменить,— кислую улыбку радостной встречи.

«Андрей Сергеевич как раз сейчас спит».

Именно так, не отец, не тем более папа, не дедушка, и не дед, на худой конец, а Андрей Сергеевич. И даже если из другого города, после долгого ожидания, по междугородному телефону — все равно «Андрей Сергеевич как раз сейчас...»

Общество охраны...

Теперь фраза прозвучала в одном из широко употребляемых ее вариантов.

— Андрей Сергеевич сейчас работает... Вы немножко посидите в другой комнате. Есть хотите?... Сейчас я что-нибудь...

Она ведет их в другую комнату, и он знает, он готов к этому. Конечно, они подождут, они ведь не командировочные. Они у себя в городе, в отчем доме, куда им торопиться... Пусть отец поработает, если ему работается, а он согласен на все, и тут, как известно, в этом пункте, они с нею сходятся, это их единственный общий пункт: лишь бы ему было хорошо.

Но так же точно он знает, что этот номер не пройдет, что никаких других комнат, никаких ожиданий, что старик не позволит себя водить за нос, даже если он действительно работает сейчас.

Рисунки  
Р. ВОЛЬСКОГО

Продолжение. Начало см. в № 5 за 1979 год.

— Тоня,— слышит он хриловатый и быстрый голос.— Это ко мне?

Старик спрашивает и в тишине, в той своей далекой, изолированной от всех приходящих, мешающих, комнате, в своем кабинете, где рассыпаны полки со вздутыми и буграми треснувшего от времени лака, ждет ответа.

— Да,— смиренно отвечает она.— Сиди работай. Тебя дождут. Никто ведь никуда не спешит.

— Тоня, а кто это?— спрашивает он. Он ждет. Но Сергей абсолютно и точно понимает, что отец уже догадался и знает, кто это.

— Это Сергей и Игорек.

Вот так. И так всегда. Всегда он спрашивает, ждет ответа и знает его наперед. И, верно, оттого никогда не ошибается, что именно и их ждет. Ждет всегда.

— Ну что ты их там маринуешь?— с еле скрываемым волнением говорит он.— А ну-ка, ребятки...

Он выходит им навстречу, обнимает сначала внука, потом сына. И сын чувствует шелестящее легкое прикосновение гладких, тщательно выбритых его щек, знакомый с давних, бессознательных еще времен запах его кожи со слабым духом неизменного, вечного одеколона «Эллада».

— Здравствуй, фундатор,— говорит он Сергею.

Откуда уж пошло в их обиходе это дурацкое слово, надутое и похожее чем-то на павлина, вычитанное, возможно, из древних?.. Но тем не менее оно существовало и употреблялось в отдельные минуты, когда следовало обходиться без сантиментов.

— А с тобой, такой-сякой, внук бессовестный, я вообще не вожусь. Садись вон туда... И не подходи ко мне.

Игорь начинает что-то объяснять про уроки, про задания, дед все еще делает вид, что сердится, но его хватает ненадолго, и вот он уже сидит рядом с внуком и обнюхивает его, как лев-отец своего львенка. Это тоже было когда-то в обиходе. В те времена, когда Игорю было года три и считалось, что он львенок, скорее даже не из зоопарка, в котором он ни разу не был, а из Брема, именно из картинок Брема, которые он любил подолгу рассматривать. И, конечно же, начиналась возня с кормлением, его уговаривали, он отказывался, и у него были свои доводы: «Зачем каша, зачем молоко, ведь я не коза какая-нибудь, а львенок, а львята не едят такого».

Ему объясняли, что всякое бывает, что когда у львенка еще нет зубов, он тоже лижет языком бог знает что, всякую муть, наподобие этой каши. Это были короткие годы общего житья, годы с емь и, того, чего у Сергея самого никогда не было, а у его сына все-таки было, жить с дедом, с «и. о.» бабушки, со зверьми, сказками, иличками, с тем, что старый, косматый, но еще добычливый лев обнюхивает львенка.

Старик действительно работал.

На столе стояла старая машинка «Ремингтон», на которой он любил печатать больше, чем на новой «Эриксе». Она тоже стояла здесь с незапамятных времен, к ней когда-то Сергея не подпускала Антонина, оберегавшая не только здоровье деда, а и следившая не менее тщательно за сохранностью его вещей.

Но были некие вещи, которые существовали еще задолго до появления Антонины в их доме, как бы с самого основания жизни: пепельница с королевским вензелем, зеленая в серебре бутылка от шутковского коньяка, железная копилка в память о сборе на голод тысяча девятьсот какого-то года,

старый трехстворчатый шкаф, таивший когда-то столько неведомого, прочитанного, полузапретного.

И вот эта твердая карточка с белой надписью «Чита, 1898 год, фотоателье Кулевица», с лицом скульпастого, неподвижно глядящего в объектив человека, стриженного ежиком, в белой косоворотке.

Так и глядел этот человек — дед — в его детство и юность со стены. Подобранный, чуть напряженный, будто не вспышки магния ждал от фотоаппарата, а выстрела, безусый, но с бородой, немного похожий на священника, черные бусинки сверкали в его глазах вместо зрачков. В то время даже у самых опытных фотографов зрачки не получались.

Сергей Анисимович звали деда. Он родился в Саратовской губернии. Отец его и вправду был священником.

Игорь всегда подходил к этой карточке и подолгу глядел на нее точно так же, как и Сергей сам в детстве.

Она была из другого мира и потому загадочна, и вообще было странно, что уже тогда, в том мире существовала фотография.

Для Игоря он был прадед, видение, миф, далекий, как древняя Греция. Но зато о нем говорилось много, подробно, и даже не только говорилось, но и писалось, даже приходил художник и делал с его фотографии портрет для Дальневосточного музея.

И отыскивались воспоминания о нем, в старых книжках.

Нашли фотографию в журнале «Каторга и ссылка» Общества политкаторжан.

Он сидел в Александровском центре, в Иркутске. Потом он жил в Чите.

На Дальний Восток он вернулся снова после революции, входил в правительство ДВР — Дальневосточной республики, боролся с теми, кто хотел ее отторжения от России, от революции.

В конце двадцатых годов дед переехал в Москву, бабушка Мария Ивановна, была москвичка, и жили они вначале в ее комнатке в Замоскворечье. Дед входил в Общество политкаторжан и ссыльных поселенцев.

Да и дом тот, в котором Сергей родился, в Машковом переулке, тоже назывался Домом политкаторжан.

И все перемешалось: реальные воспоминания о нем, и то, что было рассказано потом, какие-то случайно сохранившиеся его книги, рождавшие в свое время множество вопросов, и судьба бабушки, так сплетенная с его судьбой, твердая, как пластинка, фотография на стене, и высокий человек почему-то в белом медицинском халате (почему так, ведь он не медик?) — дед, деда кормит его, больного, с ложечки, и какой-то далекий разговор: «Где деда?» — «Деда в Англии. Он работает там по поручению правительства».

Это уже позже «по поручению правительства», а сначала какое-то празднество, демонстрация и флаги, дедушка, нарядный и сравнительно молодой, куда-то быстро идет, и отец, мать, все тут, рядом, и он с ними.

Потом Покровка, красные шары, песни, «Марсельеза», конники в шлемах и бурках, точь-в-точь как силуэт Казбека на папиросной коробке, милиционеры в белом и тоже в шлемах, и трепет какой-то в толпе, ожидание кого-то, портреты, такое знакомое не то чтобы с детства, с младенчества лицо человека на этих портретах, человека с открытым, пристально-строгим лицом, с густыми чистыми усами, сотни таких портретов плывут, плывут по Покровке и дальше к центру, Красной площади. Давний громкий праздник, карнавал красных флагов, флажков, полотнищ, повязок, лент, красных шаров, кроваво-

красный отблеск кумача, мощный дробный стук копыт, революционные всадники на крупных сытых конях, в шлемах, как солдаты Цезаря, и в бурках, чапаевские, буденновские, пархоменские всадники плывут над толпой, и стелются темным дымом бурки, крылья, вперед и вперед, неумолимый и мерный дробот копыт по булыжной мостовой, и сердце сжимается в предчувствии боя и грозы.

— Смотри, деда. Ты видишь, деда? Ты тоже так скакал когда-то?

— Нет,— говорит он.— Я-то не скакал никогда. Голос у него тихий, и лицо бледное от грехота и жары.

Он только кажется молодым. На самом деле он очень стар.

А дальше еще несколько раз в жизни мелькнуло лицо его, прежде чем стать только лишь этой фотографией с черными, застывшими бусинками глаз.

Что он говорил тогда? Вспомнить невозможно. Те слова, которые будешь потом отыскивать, припоминать, отделять, таять в море других чужих, примелькавших, лишних, ненужных.

Что же он говорил тогда?

Да ничего и не говорил.

Варил кашу, кормил внука, смотрел чуть раскосыми своими глазами сквозь толстые стекла без ободков.

## VI

— Ну что будем делать, бурсаки? — говорит отец Сергея. — Обедать будем? Тоня, накрывай на всю честную компанию.

В ответ — ее голос, любезный, но с оттенком ворчливости:

— Само же не готовится. Сергею следовало позвонить утром, предупредить, я бы заранее все приготовила...

— Да что там, утром, вечером, подумаешь, Версаль! Навари лучше побольше картошки... Нам разносолов не надо. Нам пивка бы холодного да селедочки...

Пивка ему нельзя. Селедочки тоже... Многого ему нельзя. Пожалуй, сосчитаешь по пальцам, что ему можно. Два месяца назад его привезли из больницы. Уже то, что он сидит за рукописью и на столе разбросаны тоненькие брошюры, оттиски научных статей, — это прекрасная, лучшая картина, какую можно было увидеть.

Вот об этом и мечтал Сергей два месяца назад, именно об этом, сидя на голой, судейской какой-то скамье, под матовым плафоном с черными пятнышками навсегда замерших в его конусе бабочек, светящемся в бесконечном темном коридоре приемного покоя. А перед тем врач приемного покоя подсунул бумажку, которую надо было подписать и от которой Антонина, пообедав, отстранилась, а он прочитал тускло отпечатанную фразу о том, что «жена (сын, мать) согласны на операцию» и в случае, если... не будут предъявлять никаких претензий.

Так и сидели с Антониной, почти не двигаясь, не разговаривая — два часа. Но не выдержал и долгим, как бы в никуда ведущим коридором подбежал к комнате с мерцающей надписью «Операционная», чуть приоткрыл первую дверь и в распахнутую вторую увидел белые спины, в ярком, как бы сгущенном свете же мелькнуло удивленно-рассерженное лицо сестры:

— Куда вы?! Запрещается... Операция!

Он отпрянул, но еще секунду стоял и смотрел в щелочку от неплотно закрытой двери, заметил, что сердитая сестра улыбается шутке невидимого ему хирурга или еще чему-то, самое главное, что улыбается, значит, еще не так, значит, еще... Потом в каталке везли его отца в коридор, мест в палате не было, и первую ночь он пролежал в коридоре. Когда везли, Сергей видел запрокинутое, маленькое, серое лицо с обострившимися чертами, отводя от него глаза, молил неизвестно кого: «Ну сделай что-нибудь! Ну сделай!» И вглядываясь в неподвижное и как бы навсегда отчужденное от него и от всех лицо, обращался уже к нему самому, потому что, может быть, в него самого верил больше. «Ну посмотри хоть, ну посмотри!..»

И отец услышал. Посмотрел, тяжело двинулось веко, и взгляд потусторонний, замутненный, но все же живой, блеснул, веко дрогнуло и закрылось. Каталку снова повезли и где-то в углу коридора остановили.

В те дни, когда перестали пускать в палату из-за карантина, Сергей звонил чуть ли не ежедневно и вялым голосом спрашивал: «Как состояние больного Ковалевского?» — и, обмирая, ждал ответа. Отвечали монотонно: «Состояние тяжелое». И по голосу, по оттенку пытался понять: что это, не хуже ли, чем было?

Но голос был без оттенков, словно записанный на магнитофонную ленту.

Антонина оставалась в больнице круглосуточно. Ей разрешили, несмотря на карантин. Сергею иногда удавалось правдами и неправдами проходить на первый этаж все в тот же приемный покой, и она иногда спускалась на секундочку и говорила тихим, без выражения голосом: «Все так же».

Он спрашивал с надеждой: «Но все-таки? Чуть лучше?»

Она отвечала почему-то всегда после паузы, точно взвешивая каждое слово: «Нет. Все так же».

Однажды, когда звонил утром, голос, обычно повторявший как заведенный: «Состояние тяжелое», несколько изменил форму ответа: «Состояние средней тяжести».

И он бежал по скользкой и мокрой земле больничного осеннего парка, задыхаясь от надежды. И снова и снова спрашивал у каких-то людей в белых халатах, деловито сновавших из корпуса в корпус, без удивления смотревших на него: «Скажите, средней тяжести — это ведь лучше, чем просто тяжелое?»

«Конечно, лучше. Тяжелое... это совсем другое».

И снова звонил, и телефонные ответы повторяли друг друга до того счастливого дня, когда голос произнес впервые: «Состояние удовлетворительное». И тут же успокоившись, он уже гораздо реже стал бывать в больнице.

Однажды гуляли с отцом по больничному парку. Отец сказал:

— Разве только тогда человек человеку нужен, когда кому-то плохо?

А Сергей подумал: «А разве сейчас хорошо?» Почти кощунственно звучало это слово, безликое слово «хорошо», столь несовместимое с как бы умалившимся лицом, тронутым рябью старческой гречки, с легонькой непрочной фигурой в слишком свободном, будто навыворот сшитом пальто, длинном, как шинель. И все-таки отец шел. Шел сам, чуть опираясь на руку сына, осторожно щупая ногой пространство впереди себя, как бы еще не разминированное со времен войны, скользкое, тронутое жиденькой корочкой первых заморозков, про-

сторный больничный двор, переходящий в реденький лесок московского парка.

И вспомнилась другая больница, в Казани, инфекционное отделение, сорок второй год. В кабине грузовика его, Сергея, везли в больницу. Бабушка прижимала его к себе, успокаивала, заговаривала зубы, словно бы ворожила, и он затыл и пригрелся, но остановка была тем более пугающе резкой.

А в тусклом, пахнущем хлоркой коридоре уже угадывались подвох и расставание.

Задавливая нарастающий плач, кривясь, мальчик смотрел на бабушку, на испуганное, белое ее лицо и слышал, как она повторяла все время номер палаты: «Сорок шестая, сорок шестая»,— и спрашивала у неразговорчивой сестры: «Уж не брюшной ли, господи?»

А он в это время думал о своем Чапаеве.

Чапаев был подарен отцом еще в Москве, до эвакуации, на день рождения, новенький, оловянный Чапаев с развевающейся черной буркой, с желтой шапкой в руке, на вороном коне. Всех других солдатиков, разных времен и народов, пришлось бросить, оставить в Москве, а этого взял, всегда и всюду таскал с собою, и сейчас, когда повезли в больницу, положил его в карман куртки.

Не догадывался он, что все вещи возьмут на дезинфекцию, не знал, что есть такая дезинфекция, никогда не слышал этого длинного, резкого, неприятного слова.

Забрали все. И куртку и ботинки. И вытаскивали все из карманов, забрали, конечно, и Чапаева, подаренного отцом.

Уплыло лицо бабушки, узкая, человек на сорок палата, то вспыхивающая, то притупленная, но более глубокая боль в животе, рвота ничем, сухостью, горечью, и все не так, как дома, там, если уж случается, то рука бабушки или отца на затылке. Здесь — один. И еще тридцать девять ребят и чей-то непрерывный воющий крик: «Мама, мама»,— и коренастый парнишка Сабур, приподнимавшийся на постели, достававший перочинный ножик, неизвестно как пронесенный, и гортанно приговаривавший: «Кто много кричит — тому ухо режут».

Химический вкус больших, застывающих в горле таблеток, вязкий сон, синий цвет палаты, и снова боль в животе, рвущие внутренности позывы, а сам уже пустой, ничего будто не осталось в теле, ни капельки влаги, пустой живот и грудь.

Ночью появилось что-то другое, новое, не просто страх, детский животный, а взрослое и определенное ощущение конца, смерти... Тогда он стал звать отца.

И отец появился.

Да, это был отец в белом халате. Откуда он взялся здесь? Как он мог попасть сюда? Ведь он ушел в ополчение. Но это был он и стоял над кроватью, поправляя подушки и тихо повторяя: «Все пройдет, сынок... Еще немного потерпеть, и все пройдет. Будет хорошо. Слышишь, сынок?»

Глаза закрывались... Когда открыл их, отца уже не было. Никого не было рядом. А в сильном, режущем свете мальчика везли куда-то длинным, как тоннель, коридором, везли или несли, он не знал, только чувствовал мерное, убавляющееся движение.

Потом наступило утро, скудный утренний свет, просачивающийся сквозь приоткрытые шторы светомаскировки.

Через месяц его везли из больницы, но он долго еще не мог ходить, и бабушка, продав последние отцовские вещи и книги, покупала ему молоко.

— А как это папа пришел? Как он смог приехать? — спросил он у бабушки.

— Папа? — удивилась она. — Папа и не приезжал. Ты же знаешь, где он.

— Да как же это так? В ту самую первую ночь, когда меня только взяли, мне было совсем плохо. Он пришел. И еще он сказал, это я точно помню: «Сынок, все пройдет». Это был ведь его голос. Разве я мог спутать?

«Пройдет, сынок» — сколько потом он повторял эту фразу в минуту тяжести или в тот миг, когда надо было взять барьер и не было решимости и силы для прыжка, когда напряжение не собирало его, а, наоборот, расслабляло, наполняя вялостью и неуверенностью.

«Сделай усилие, рванись, и все останется позади, придет, сынок, пройдет».

Проходило.

И перед защитой диссертации было время вот такой пустоты, малодушия, когда сроки из ускользающей, еле различимой дали вдруг с нарастающей скоростью приближались, придвигались жестко, беспощадно. И беда была не в том, что не сделано, сделано было уже много. Беда была в невозможности сделать все перед чертой, перед конкретностью срока, перед календарем, в который неприятно было заглядывать: черные цифры разбегались под его взглядом, как тараканы. И вот тогда, уже почти чувствуя во рту карболовый вкус поражения, он сжимался, готовясь к прыжку, сжимался и расслаблялся, гоня прочь вязкую неуверенность, обретая второе дыхание. И возникало ощущение радости от борьбы и предакушения победы. Вот это и было счастье — сознание своих скрытых возможностей, радость преодоления, вера в победу. Это как в плавании, при далеком заплыве, вдруг возникает отрезок неуверенности, боязни распахнувшегося сзади тебя пространства, закрывшего берег.

«Человек должен верить в победу», — говорил ему когда-то отец.

Фраза эта, на первый взгляд громкая и слишком общая, все же понравилась ему в детстве. И он всегда старался верить в свою победу.

Только потом стал задумываться. В какую победу? Над кем? Скорее всего, над собой. Может быть, и так.

А верил ли отец в свою победу? Очевидно, верил. А одержал ли?

Впрочем, победа была, и она была судьбой. Она была в тех пластах жизни, в тех ее глубинах, что посторонний взгляд не увидит, не поймет, в тех болотах лишь сам человек знает, как ему выкарабкаться, как выйти. Как выдержать, а значит, победить.

И в том подмосковном весеннем лесу, в ополченском полку, окруженном врагом, — что было там? Какая там победа виделась? Отогреться, выбраться, выжить, или над этим, собственным, над страхом и ожиданием, еще что-то другое, большее, общее проглядывало?..

Отец мог говорить готовыми формулировками, абстрактно, вроде веры в победу... Но в конкретных своих рассказах, воспоминаниях (а вспоминал он крайне редко) он всегда говорил о частностях, так и остались в памяти какие-то детали, осколки, обрывки его рассказов, например, случай с молоденьким немцем.

Уже почти выйдя из окружения, минуя немецкие позиции, отец напоролся на молоденького немца. Молоденький немец был занят мирным занятием. Присел себе на корточки по нужде. Так и сидел этот немчик в снегу, сначала с румяным, потом с

Сергей огляделся. В комнате, когда-то очень большой и с каждым приходом становившейся все меньше и меньше, стояли позабытые и вместе с тем испокон века знакомые книги, с непонятными названиями, чужие уму и интересу, с ничего не говорящими фамилиями авторов, например, Бунак, Нестурх, Рогинский. Читалось это как одна фамилия, некий восточный «Бунак Нестурх Рогинский», книга же была с таблицами, диаграммами, с мелкими надписями на иностранном незнакомом языке под таблицами. Иногда, впрочем, среди безрадостных и огромных этих книг попадались и другие, непристойно-чуждые, со сросшимися близнецами, с неким Альма де Парадедой, женщиной, бывшим одновременно и женщиной,— странные, уродливые люди, глаза которых по-пиратски были закрыты маской, чтобы их никто не узнал, зловещие люди, которые и смешили и пугали его...

Уж только потом Сергей понял, что это феномены, биологические исключения. А одну из книжек написал его отец. Она так и называлась: «Наука об уродствах».

Отец любил рассказывать об этих своих чудаках. Однажды даже на каком-то вечере выступил в школе и рассказал о происхождении видов, Чарльзе Дарвине, о его путешествии на корабле «Бигль», об «обезьяньем» процессе, о клетках, генах, хромосомах. Понятное сочеталось с непонятым, живое и реальное — с неживым, фантастическим. Гены существовали, как звонкая частица из детской считалки, а хромосомы виделись извивающимися червячками.

Классная руководительница Ия Николаевна была довольна.

— Надо изучать жизнь, биологию, природу родного края,— повторяла она. И хотя лекция была о природе вообще, все равно она радовалась тому, что неразумные эти лбы, старшеклассники, готовые часами гонять комок тряпок, заменявших футбольный мяч, и крикливые младшеклассники, проводившие свое свободное время еще более бездарно, вдруг глянули в бесконечные глубины познания. Впрочем, зажмурившись от блестящего света этих прозрачных глубин, они тут же помчались домой, с гиканьем, kloкочущими горловыми звуками, замствованными из широкопопулярного тогда кинофильма «Тарзан», многосерийного, трофейного, любимого всеми — взрослыми и детьми.

Вскоре в доме наступило необыкновенное напряжение, и все время звучало слово «сессия».

Так и осталось на всю жизнь чем-то грозным и непонятым до конца это слово. Это была не студенческая экзаменационная сессия, а научная и важная для всех: и для народа, и для науки, и, конечно же, для отца.

Он готовился к ней с каким-то необъяснимым азартом, исписывая мелким своим почерком, где слова лепились одно к другому, как икринки, блокнотные узкие листочки, а ночью жестко стучал «Ремингтон», положенный на подушки, и стук этот шел очередями, будто отец отстреливался от кого-то.

Бледный, собранный, в светлой рубашке и галстуке, отправился он на эту сессию под названием «Сессия ВАСХНИЛ».

Пришел он поздно, измятый будто бы в какой толчее, на щеках за долгий этот день выросла щетина, и казалось, что не с заседания он вернулся, а из дальней какой-то командировки. С ним был его приятель, коллега, и, когда Сергей уже лег, они сели за обеденный стол, прикрыли настольную

лампу газетой и начали выпивать, что случалось с отцом редко.

Друг то ли напился быстро, то ли был очень огорчен, но стал говорить что-то неразборчивое, болезненное, однообразное, словно он молитву какую-нибудь читал.

А отец все успокаивал его, хотя Сергей чувствовал: отец тоже взволнован.

Все время почему-то возникало слово «разгромить», и еще часто повторялась фамилия «Лысенко».

Фамилия эта давно витала в их доме, произносилась с неодобрением и не обещала ничего хорошего.

А через несколько дней, когда отца не было дома, Сергей развернул вдруг газету и увидел свою фамилию в окружении других фамилий, как-то мрачно, жирно выделенных. Он пробежал бегом все другие и остановился на фамилии отца, будто видел ее впервые.

Об отце был целый абзац, именно о нем, в отдельности. И он читал этот абзац с ни с чем не сравнимым любопытством, неясным страхом и каким-то подобием гордости: в газете, на весь Союз,— их фамилия... Что там говорилось, было непонятно, только часто мелькали следующие словосочетания: «реакционное учение...», «вред науке», «генетика», «Лысенко...», «лженаучные...». Они тормозили науку и вредили ей. И среди них, морганистов, был отец. В самом этом сочетании непонятных и незнакомых названий чудилось что-то враждебное, не наше, и крылась какая-то неведомая, непоправимая ошибка в том, что там был отец. Для кого-то он был «лжеученым», «морганистом», еще кем-либо, но ведь они его не знали, как знал сын, и потому могли ошибаться.

И тут же хотелось доказать, что они ошиблись, что они неправы, что если его фамилия напечатана с другими, это какая-то глупая и нелепая случайность.

На следующий день в школе он был как бы героем дня. Все подходило и спрашивало: «Что же это?» Другие говорили с мрачным удивлением: «Ну, дает твой отец».

А классная Ия Николаевна оставила его после уроков на минуточку и спросила со страхом и каким-то детским изумлением:

— Как же это так? Ведь он вроде так все правильно и хорошо говорил... Может, ошибка какая?

— Конечно,— с напускной легкостью и небрежностью сказал Сергей.— Ничего, скоро разберутся. Отец... он ведь...

И вдруг муторная слабость стала овладевать им, и дальше говорить он не смог.

Ия Николаевна сказала ему:

— Хочешь, я освобожу тебя от уроков? Иди домой.

В первый момент он обрадовался, но потом представилсь вдруг пустота дома, ожидание отца, новизна и непонятность положения, газета, валяющаяся на диване, которую, конечно, можно скомкать и сжечь, но останутся еще сотни тысяч других, где написано то же самое.

И он ответил:

— Нет, побуду на уроке.

Остался, и все шло, как и было, а точнее, словно ничего и не было.

Уже на следующий день, и дальше, и позже Ия Николаевна подходила к нему и, как ему казалось, смотрела со скрытым неодобрением, будто он в чем-то обманул ее.

Вскоре, правда, все это как бы улетучилось, он привык к этому и старался вообще об этом не думать.

Все было так же, как всегда.

По воскресеньям они вместе с отцом ходили на футбол на стадион «Динамо». Это издавна повелось: в воскресенье на футбол, даже если дождь, с зонтиками, газетами и плащами.

Ходили и на хоккей, тогда играли не в закрытом помещении, а под восточной трибуной стадиона «Динамо», на залитой льдом площадке. Хоккей с шайбой не был еще так популярен, и было неизвестно, чем лучше он раскатистого и похожего на футбол хоккея с мячом.

Все это были игры, игрушки, развлечения, футбол же был праздником.

После игры они пережидали, когда растечется по многочисленным шлюзам, мимо конных милиционеров толпа и стадион станет пустым, не ареной, вскипающей от страсти, крика, а просто пустым зеленым газоном, окруженным весело окрашенными голубыми трибунами, просторным Петровским парком со скамейками и опустевшими ларьками. Гуляли по Петровскому парку, давя ногами сотни бумажных стаканчиков, валяющихся на вытопанной, жалкой траве.

Домой им обоим идти не хотелось.

О чем они говорили тогда?

Сейчас, в комнате отца, он вдруг стал припоминать их тогдашние разговоры. И что-то клочками всплывало на поверхность. Легче вспоминалось футбольное, бывшее тогда для него самым главным: Трофимов, Бесков, Карцев, наша динамовская пятерка и их везучая ЦДКовская, их Бобров, игрок-оборотень, их научный Борис Аркадьев и наш хитроумный и похожий на удачливоего Иванушку-дурачка Якушин и что-то еще в этом роде. Но было и другое, что вспоминалось труднее.

Разговоры об ополчении, о друге отца, профессоре со странной фамилией Капусто, который то ли погиб в плену, то ли бежал из плена, разговоры о предвоенных годах, редкие — о матери.

Он помнит только, что никогда не спрашивал отца о газете и о статье, о том, почему отец не работает теперь в своем институте. И еще были долгие вечера, такие странные и холодные, когда не хотелось разговаривать и когда звонок в дверь ударял отца током, лицо его почти сводило от напряжения, и он медленно вставал, как бы раздумывая, открывать или нет, а уж потом только шел по черному тоннельчику коммунального коридора навстречу режущим и настойчивым звонкам. Ничего не случалось. Просто кто-то приходил: лифтерша с газетой или перепутывали звонки и по ошибке звонили два вместо трех...

С тех пор и осталась у него неприязнь на всю жизнь к резким, вечерним или, еще хуже того, ночным звонкам, даже если они на современном ладу звучат мелодически, проигрывают нехитрый известный мотив.

Но это были вечера, и почти физически он чувствовал ветер в пустых переулках, с невысокими мачтами желтых фонарей, с редкими машинами, с торопливо бегущими под осенним дождем пешеходами.

А днем, когда он сидел над уроками и почитывал параллельно хорошую книгу, иногда к отцу заходили друзья, всегда одни и те же, и спорили, и все говорили о каких-то невидимых еще переменах в научном деле: вот того-то собираются восстановить, пока не восстановили, но, кажется, к этому идет; еще один академик, руководитель института,

сказал, что больше бить никого не дадим, а то наступит пустота, «облысение» науки.

Нет, оно не должно наступить.

Отец написал письмо в институт. Все ждал чего-то, каких-то сдвигов, изменений. Один из тех, кому досталось на сессию, будто бы ходил к академику Лысенко и непосредственно разговаривал с ним. И тот будто бы даже был с ним отчасти согласен и говорил, что нельзя так буквально его понимать. И был очень прост и скромен. И ел почему-то селедку с картошкой.

Вот это ему именно и запомнилось через годы, что ел именно селедку с картошкой, хотя что в этом было особенного? Все любили селедку с картошкой.

Потом отец получил какой-то вызов и поехал в Сибирь, во вновь созданный институт...

## VIII

Если за стол. Это была обычная еда. Обычная ее манера готовить: крошечные, будто на цирковых лилипутов, бутербродики, котлетки, еще что-то, такое же маленькое и постное.

Отец все повторял:

— Бери это, бери то, удалось достать на рынке... (Слово «достать» он часто употреблял в смысле «купить» — это, видно, у него осталось с двадцатых годов, с военных и послевоенных лет.) Это же, кажется, телятина. Ты что так вяло ешь, Игорь?

— Да, да, надо есть, — говорила она. Она вообще с ними была неразговорчива, и можно было подумать, что она неразговорчива всегда; однако Сергей замечал, как она охотно и даже подолгу могла иногда болтать с лифтершей или с соседкой из квартиры напротив.

— Ну, расскажи, друг, что в школе, как дела? — спросил дед.

Мальчик быстро посмотрел на отца, в глазах его был вопрос: рассказать про прогул или промолчать?

Сергей никак не ответил на этот взгляд, словно пропустил его мимо, давая мальчику простор для выбора.

— Да ничего. А что там может быть?.. Как всегда, — уперев взор долу, вяло бубнил мальчик.

— Ну уж, все так монотонно?

— Нормально...

— А двоечек поднахватал?

— Да нет, не особенно.

— А вот у Силиных, — сказала вдруг Антонина, — мальчик занимается фигурным катанием, ходит в изобразительный кружок, и табель без единой тройки. Как-то на все хватает времени.

— Да, есть и такие, — без всякой сконфуженности сказал Игорь.

— А я думаю, что это еще ни о чем не говорит, — заметил дед. — Иногда бывает возрастная аритмия, сначала чуть замедленное развитие, инфантильность, затем ускоренное. Иногда интересы проявляются позднее... Академик Шмальгаузен, говорят, начал заниматься наукой только в шестнадцать лет.

«Ох уж этот Шмальгаузен», — подумал Сергей. Его, Сергея, в его замедленном развитии прикрывал тоже еще не успевший развиться академик. И вообще это была старая песенка, и в его, сергеевские, времена существовал некий легендарный ученик Силин, отличник, кружковец, помощник по дому, отличный пример, живой укор.

белым, без всякой окраски лицом. А отец вдруг подумал: «Стрелять или нет, как же стрелять в такого?»

— И выстрелил? — зная наперед ответ, но всегда с интересом спрашивал Сергей.

— Выстрелил, конечно. Так и завалился лапками назад, как лягушонок. — И отец пояснял: — Но это сейчас — как лягушонок, а тогда совсем не так выдался, тогда он мне каракатицей скрюченной показался или пауком на снегу, и никакого другого образа не было, и никакого другого разговора быть не могло. И никаких оттенков не могло быть, а был только один, общий образ, который возникал сразу же, бессознательно.

— Кого же?

— Врага.

— Тебе не жаль его... теперь?

— Абстрактно да. Но это определить невозможно. Психология меняется на протяжении лет. Уходят из сознания ярость и ненависть. Остается память о ярости и ненависти.

И всегда и в который раз он ловил себя на одном и том же удивлении.

Было странно, что его старик стрелял и убивал, что он вообще держал винтовку, штатский его старик...

А ведь стрелял, и неплохо. И авантюризм какой-то в нем был, необходимый для того, чтобы выжить. И какая живучесть, непотопляемость, если вдуматься.

То болота, смерть матери и то, что было в 50-х годах...

Вера в победу. Наверное, это. «Вспитай это в себе».

Разве это воспитаешь в себе?

В тебе это воспитывает время.

И в нем, Сергее, очевидно, это было, хотя и ослабевало на дистанции, но все-таки бежал резво и с верой, иногда терял ее, но потом вновь ловил на лету, как клич далекого тренера с трибун, и марафон жизни продолжался, ибо как же без нее, без веры в победу.

Только бег был по другой, менее пересеченной, чем у отца, местности.

Отец тоже как-то признавался ему, что не очень представляет своего сына в экспедиции, в институте, командующим над кем-то или над чем-то, организуящим кого-то или что-то.

Может быть, они не знали друг друга.

Знали, очевидно, но не до конца. А можно ли знать до конца даже самого близкого тебе, если и себя-то до конца не знаешь?

И сына твоего, который на глазах начал ходить и говорить, и ходил твоей походкой, и повторял твои слова, и был вначале как бы твоей игрушкой, а потом твоим слепком и глухим воспоминанием о тебе самом, далеком, несуществующем, — сына своего знаешь ли ты?

Сергей любил наблюдать за сыном, именно тогда, когда сын чем-то своим занят и не замечает его. Не подсматривать, конечно, а наблюдать. Вот он стоит с мальчишками во дворе, о чем-то рассуждает, что-то объясняет, на чем-то настаивает. И какой он разный. Вот перед ним долговязый парень. Сергей его часто здесь видит, бледный, длиннорукий, с вечным сивушным духом изо рта, стрижен ежиком, будто уже принят в местах не столь отдаленных. И с ним Игорь тоже блатноват, развязан, что-то неторопливо делит, хмыкает, показывает каждым жестом: я тоже тебе не такой уж лопух, не такой уж фрярок, как ты думаешь. Или с Ленькой, своим одноклассником, маленьким, худеньким парнишкой, который, говорят, необыкновенно талантливо рисует.

С ним он и стоит даже по-другому. Тут он как у себя дома, такой, как есть. И разговор доверительный, со взрослым, каким-то раздумчивым выражением лица, с размышляющими жестами. О чем это они?

— О чем это вы с Ленькой?

— Да так, об анархистах. И еще о Че Геваре.

А ты сам о чем... Тогда, давно. О чем ты говорил с Юлькой, лучшим своим другом, разбившимся на мотоцикле и чуть не погубившим тебя? О чем вы тогда говорили с ним перед этим, если бы вспомнить?

— И что же Че Гевара?

И мальчик что-то говорит в ответ, а он вспоминает свое о Че Геваре, как тот безропотно пристрелил лошадь, когда надо было уходить от врагов. Конечно, он герой, но он уже не твой герой, ты уже пережил в своем детстве таких героев... Да ведь и сам ты так стоял, и был разный, и с Юлькой был одним, а с Валькой Рюминым, розовощекий и вечно улыбающимся, — другим. Валька Рюмин еще не знает своей судьбы, еще не знает, что он угодит в колонию, что погибнет его отец, и смеется, смеется взахлеб. Был еще один друг, Олег Кашеев, самостоятельный, независимый, докторально мыслящий.

О машинах говорили редко, машины их мало волновали. О девочках вообще не говорили. Думали, но не говорили. Только немецкие открытки — переснятые — рассматривали с жадностью, сердцебиением. Но не говорили никогда. Не тема и не предмет для разговоров.

А говорили о спорте и о политике. Олег раздобывал стенограммы съездов партии, и они читали, читали, как роман: речи, дебаты, полемику, заявления, списки делегатов с решающим или совещательным голосом. Среди них были и те, чьи фамилии сейчас не произносились, и лишь потом он услышит о них... Тогда он станет студентом археологического, а Олег будет учиться в Ленинграде, в Высшем мореходном.

И все это волновало, пугало, и притягивало, и некий образ необъяснимо возникал и отражался в венецианских зеркальных окнах старого дома немецкой компании в Машковом переулке. В осколках этих окон, уцелевших от воздушных волн времени, в красном и черном дыме отделялся от кирпичной потрескавшейся стены маленький, постепенно вырастающий, пригнувшийся к коню всадник в черной папахе, в черной бурке, он появлялся на миг во весь рост и снова уменьшался и исчезал. Всадник Революции.

Куда он скакал? За кем гнался? Какая пуля и где сразила его?

## VII

— **3**начит, ты молодцом, дедушка, — бойко говорил Игорь. — Ты и работаешь и выглядишь неплохо, дедушка.

— Правда, правда, — говорил дед. — Работать только трудно, — отвечал, не замечая дежурно-приветливых интонаций в голосе внука, которые Сергей чувствовал; это было ее, матери, любезно-бодрое, одновременно приподнятое и незаинтересованное. Сергей с холодком посмотрел на сына. Тот понял и молча подошел к деду, дотронулся до его руки, и, должно быть, ток единой крови, привычное сызмальства тепло маленькой сухой руки деда взяли мальчика, и он стоял теперь по-щенячьи, преданно глядя на старика, сам похожий на него формой головы, прямизной плеч.

— Чай будем пить? — спросила Антонина.  
Но Игорю было уже невтерпех.  
— Папа, можно я пойду во двор, ненадолго?  
— Ну, если только ненадолго.

Через минуту он был во дворе. Он любил дедовский двор. Собственно, это был первый двор в его жизни, двор его раннего детства, когда они жили все вместе с дедом.

Дед подошел к окну и глядел, как он бежит, размахивая руками, что-то крича, в кого-то стреляя и падая от чужих выстрелов. Кем он был в эти мгновения? Какую судьбу выбрал на несколько минут, чтобы потом легко переменить ее на другую, кем чувствовал себя сейчас, свободный от уроков, от житейских будней, от родителей — в эти минуты яростного вдохновения: на ветру, на детской зеленой, легкой земле?

Что Сергей испытывал к этой женщине, жене отца? Ненависть? Боже упаси. Неприязнь? Да нет, пожалуй. Слишком много лет утекло. Когда-то это была обида, не краткая, а каждодневная, ежесекундная, возникающая ни из чего и ничем не кончающаяся; укол от холодного взгляда, от слова, от вечного отчуждения от нее, да еще подчеркнутого хлопотами по организации его быта.

Сейчас все это прошло, бывшем поросло, а он говорил: слава богу, что она есть. Только никогда не мог понять, почему именно она. Он знал и других отцовских женщин. Сразу же после возвращения из эвакуации в Москву, когда уже не было матери, он безошибочно научился отличать их от просто знакомых, от сослуживца и обыкновенных приятельниц отца. Несмотря на все их хитрости, он легко их разгадывал: по тому интересу, который они проявляли к нему, по той заботливости, теплоте, почти даже нежности, которую они с самого начала, даже еще не узнав его, начинали проявлять. Ведь он был не просто мальчик, а бабушкин внук, выросший без мамы, одинокое и трогательное существо, посредственно успевающее в школе и с отчасти даже дурным характером, если не «злой мальчик», то, во всяком случае, со злинкой, хотя никакой злинки у него и ним не было, наоборот, некоторые из них ему даже очень нравились. В одну он был даже влюблен. Для них он был, что ли, продолжателем, преемником отца, хотя и гораздо хуже учился, чем отец в его годы, и не расширял так, как отец, кругозор, и не был так, как отец, внуком, сыном, братом, племянником, всем остальным, но все-таки они верили, надеялись и поэтому проявляли заботу. В те времена отцовских поисков и бабушкиной болезни вовсе не был он заброшен: кормлен и поен был не хуже, а, может быть, даже лучше, чем в более поздние времена единоличного правления Антонины.

Да, он относился к ним хорошо. Особенно ему нравились, что почти все они были красивые. И он всех их любил искренне, легко. И так же легко и искренне их забывал, когда они исчезали.

Почему отец не остановился ни на одной из них, а выбрал именно ее? Понять невозможно. С самого начала было ясно, что она не такая, как они. И не потому, что она не только не делала вид, будто любит мальчика, а с самого начала проявляла к нему не особенно даже тщательно скрываемую неприязнь; как ни странно, это не волновало его. Он и не претендовал на то, чтобы она его любила, скорее ему хотелось, чтобы она ему нравилась, чтобы в ней чувствовалось то, что он не мог объяснить: мягкость, женственность. А ее присутствие автоматически включало в себя какую-то скуку. Она не

смотрела на отца так, как те, не говорила ему что-то быстро, непонятно, неслышным, но волнующим женским голосом, нет, здесь был другой разговор: отчетливый, понятный и всегда по делу. Надо сделать то-то, не надо делать того-то, надо пойти туда-то, не надо идти туда-то. Все было четко, понятно, задачи ясны, цели поставлены, полы вымыты, работа начата, над землей витал ясный ветер определенности. Наверное, это-то и привлекло отца: ясность, последовательность, немногословие.

Сам он был человек сумбурный, как говорила ему иногда Антонина с легкой, почти нежной укоризной. Единственным, с кем она иногда разговаривала почти с нежностью, был отец.

Некоторое время он жил с ними втроем в одной комнате и, внезапно просыпаясь, снова старался уснуть, как бы цепляясь за ртутью убегающие крупинцы сна, старался не слышать и все-таки слышал жесткий, противоестественный скрип постели там, в темноте, и какие-то шелестящие, невнятные слова, что вырывались вдруг из ее горла, столь непохожие на ее размеренно-скупую дневную речь...

— Нужно приобщать мальчика к спорту, — говорила она сейчас, попивая чай, и он узнавал полузабытую мимику тех лет, ее те движения, аккуратно и четко, по правилам: немного заварки сухой, затем полная заварка, шаг к буфету, звон чашек, тех, непарадных, белых с зеленым, из которых никогда не напьешься как следует чаю.

— Да, приобщать к спорту, — звучит голос из глубины, из немыслимой дали.

— К спорту, пусть нетяжелому, незачем заниматься борьбой или боксом, а фигурное катание — это просто мода, да ему и поздно, какое уж сейчас фигурное катание. Он уже не мальчик — юноша.

— Но ведь никогда не поздно. Скажем, фехтование, — какой мужской спорт, и дисциплинирует, появляется чувство времени. Ведь у него, наверное, нет чувства времени... Да и у тебя, скажу откровенно, — обращается она к деду, — совершенно не развито чувство времени.

Дед согласно кивает.

— Да и у тебя, Сергей, с чувством времени тоже не очень. Ты, я помню, все откладываешь на последний день, как студент перед зачетами.

— Да, — соглашается он. — Это у нас семейное. Мы все в какой-то мере студенты перед зачетами.

— Между прочим, Игорь ходит на плавание, — вступает дед.

— Но он уже бросил ходить, — замечает Антонина, — немного походил и бросил... Мне мать говорила.

Сергей подумал: «Вот и сейчас она узнает все раньше, чем он».

Почему-то всегда казалось, что она у отца временно. Что просто образовалась пустота... Ему казалось, что отец, как и он сам сейчас, жил с ощущением, будто самое главное — это не то, что сегодня, а то, что завтра. Он говорил, увлекаясь: «Мы обязательно поедем с тобой в этот город. Мы должны увидеть этот город. Без этого города беднее наша жизнь». Не поехали.

Постоянное ощущение черновика, подготовки, примерки.

А на электрическом табло стадиона минуты чистого времени, своего времени, загораются и гаснут. Быстро гаснут.

И если уж уехать куда-то, то ехать надо сейчас.

— Ты что это смотришь на часы?... Вот так всегда,

зайдешь к отцу — и сразу на часы. Вечно он куда-то спешит.

— Нет, я никуда не спешу. Я же должен его все равно дождаться.

— Сколько ж ты его не видел?

Сергей молчит, ему не хочется отвечать, да и отец не настаивает на ответе.

## IX

Старость пугала его всегда больше, чем смерть. Что такое смерть, он, как подавляющее большинство сограждан, мог лишь догадываться, старость — видел.

Его пугала старость отца. Старость отца была концом эпохи, впрочем, эпоха — громкое слово, но ведь у каждого есть своя эпоха, незначительно ничтожная для других, полная грозных потрясений для себя. Она, старость отца, обозначала конец собственной молодости, начало собственной старости. А он привык быть молодым, и переход к новому состоянию был для него труден. Даже и сейчас еще, в свои сорок один, среди коллег, маститых и пожилых, считался он молодым. «Молодой ученый» — в этой формулировке была некоторая снисходительность.

Старость отца Сергей ощущал, когда приходил после долгого отсутствия, после экспедиций. Он видел ее именно в первый момент, когда смотрел как бы со стороны, чужими глазами. Острый, отчужденный этот взгляд фиксировал следы новых, мелких разрушений. Потом он переставал замечать это. Привыкал.

Он видел, как, особенно на людях, отец словно подбирался и на время молодел. На белых, выбритых щеках с седыми, блестящими корешками волос выступал румянец. Молодел голос, и говорил он весело, и память была куда как хороша. А уходили люди, лицо серело, выступали склеротические розовые веточки, голос садился, и в водянистой, голубоватой чистоте глаз возникала тусклая, непроходящая тоска. Что это было? Страх? Нет, скорее сожаление о несостоявшемся.

У каждого из нас есть свое несостоявшееся. А какое оно было у отца, он, сын, не знал, ибо меньше всего мы знаем это про своих близких. Он часто думал об этом; казалось бы, отец достиг многого. Наверное, он сам желал сделать хотя бы столько. У них в семье всегда считалось, что главное — это профессия, наука, остальное потом. А что было у отца «потом»? Возможно, не в этом, не в семье и не в Антонине заключалось его несостоявшееся. Как раз эта сторона жизни, казалось, вполне его удовлетворяла.

А «несостоявшееся» заключалось, наверное, в какой-то не известной ему, сыну, идее, мечте, надежде, которая в отце жила невысказанно, тайно.

Едва он приближался к входной двери и слышал приглушенный треск машинки, он радовался. Это был звуковой фон всей его жизни, музыка его детства; и засыпал под стук машинки и просыпался от него. Когда-то она стучала почти с вызовом, долгими очередями, звонко, жестко.

Теперь эти трели стали короче, паузы — дольше, стук стал более тихим, стрекочущим. (Правда, последнее объяснялось сменой машинки. «Ремингтон», приобретенный после войны, звонкий черный ящичек, часто уступал место шелестящей современной портативке.)

Когда он подходил к двери, всегда прислушивался с напряжением и чуть-чуть со страхом.

Ему хотелось услышать и голос — значит, все в порядке, старик работает...

«У старика, — думал он, — все-таки неплохое душевное здоровье, тыфу, тыфу, чтоб не сглазить. Он человек, всегда по утрам делающий зарядку. Всегда». А он, Сергей, мог ли всегда?

Есть ведь люди, которые не умеют подпрыгивать на половине и сгибаться, более того, хотя они и не больны, но им трудно сделать первый шаг по бесформенной, с тускло пробивающимся светом, как будто лишенной пространства, сплюснутой квартире.

Старика, к счастью, интересовало, да и сейчас интересуется все, что происходит в кипучем, быстро изменяющемся мире. Что там сказал президент африканской республики другому какому-то президенту? Каковы успехи повстанцев? Поймали ли отчаянных террористов, набравших большое количество заложников? Кто выиграл партию: чемпионка или претендентка?

Все это важно. Дрожит пузырек с валокордином, капельки набухают, как слезки, и равномерно скатываются в стакан, немолодая женская рука бережно держит похудевшую стариковскую руку, прощупывает пульс... Кто же все-таки выиграл?

Странное это дело, и ведь у него, Сергея, это тоже есть. Не в такой степени, но все же. Не пролистал утреннюю газету — будто не умылся.

А у Игоря уже нет. И не то что его меньше интересует происходящее там, где-то. Интересует, конечно. Но по-другому. Он вполне может обойтись и без утренней газеты. Вполне может потерпеть до программы «Время». А иной раз и вообще может обойтись без знания последних событий на земном шаре.

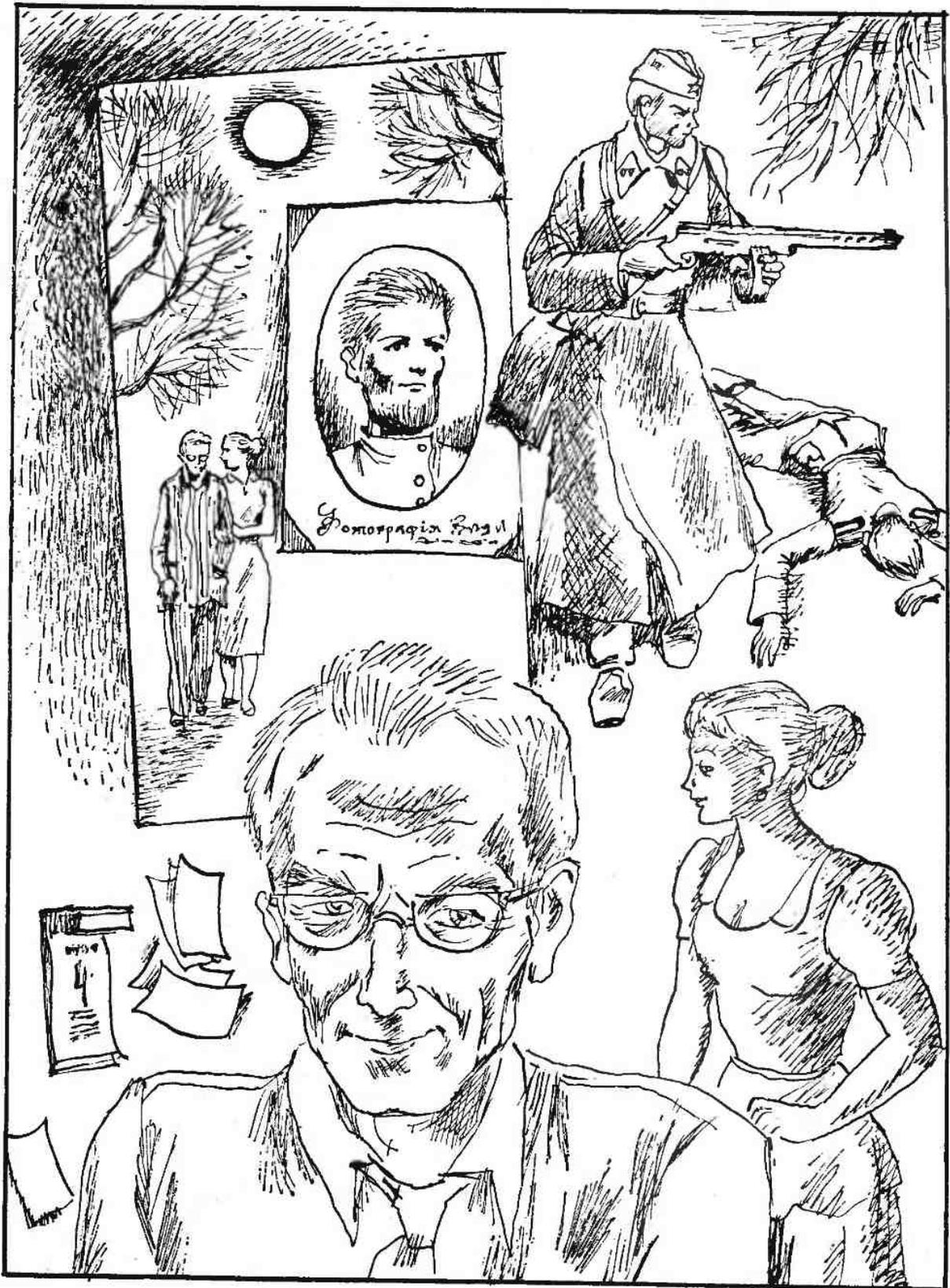
Новые марки самолетов, изобретения, полеты в космос были ему, пожалуй, важнее, чем сражения в далекой пустыне Агаден.

География не насытила его память теми городами, меридианами, параллелями, которыми поколение Сергея бредило во сне. ЗВ-я параллель ровно струилась по мирозданию, не искореженная, не изрубленная, тускло блестели рельсы в другой части Земли, на них не ложилась грудью безумная и отважная Раймонда Дьен. На школьных митингах не взметались вверх кулачки, непреклонно требующие свободу Назыму Хикмету.

Газеты, газеты, газеты... Лет через пять после войны Сергей с отцом жили в селе на Оке, и они вставали в пять утра и шли десять километров к станции, и там, среди путейцев, командировочных, колхозников, стояли в очереди в киоск «Союзпечати». И все читалось, и все было одинаково важно. И правительственные телеграммы, и новые невиданные стройки пятилетки, и фотография передовика в полполосы, и, конечно же, результаты футбольного матча, и карикатура, метко изображающая «их» загнивающие нравы.

Читался текст и подтекст, газеты много значили в жизни. Читали их в подробностях, но с одной мыслью: будет ли война?

И все менялось на глазах; тот Черчилль, толстый симпатичный бульдог, знакомый по страницам «Британского союзника», на глазах переменился, лицо смотрелось не как добродушное, бульдожье, а как ощерившаяся звериная морда. Сколько раз в школе, да и не только в школе, обсуждались и осуждались речи разных поджигателей войны, которые скинули с себя маску. И не только на уроках или на политинформациях (раз в неделю обязательно была политинформация), но и после уроков, когда пацаны, малолетки возвращались домой, перепасовывая



друг другу туго скатанную тряпку, с успехом заменяющую мяч, по ходу игры, так сказать, они обсуждали, осуждали и проклинали разного рода поджигателей, которые хотели потопить эту узенькую улочку с разбитым недавней войной зданием в невиданном, ядовитом фонтане, в смрадном грибе водородного взрыва.

Итак, по утрам отец всегда делал зарядку, а потом спускался на первый этаж за газетой. Вместе они читали, немедленно находя самое важное, даже если оно было напечатано мелким шрифтом на последней странице. Отец в те, его, Сергея, детские годы много разговаривал с ним. Пожалуй, больше, чем он сейчас с Игорем. Отец находил в себе силы разговаривать с ним и в те дни, когда его снимали с руководства кафедрой, когда все в его жизни изменилось, когда он собирался уехать в другой город, далеко от Москвы. Все равно разговаривал. И с прежним интересом — обо всем, что происходило. И теперь Сергей, когда ему было худо, тоже старался, отвлекаясь от своего, говорить с Игорем, обсуждать различные мировые проблемы, но сам как бы со стороны слышал свой вымученный и какой-то дежурный голос, словно бы возникший от магнитофонной кнопки. А истинный его голос, будто бы пересушенный, углох и невнятно, неслышно бормотал нечто далекое от того, что обсуждалось с сыном. А первый, громкий голос рокотал, задавая вопросы и сам же отвечая на них. Кажется, недавно это было, и кажется, недавно его мальчик был маленьким и, подходя к двери, нежно и воинственно требовал: «Папа, икывай!» Это означало: открывай. И он, с радостью отвлекаясь от занятий, открывал сына.

Отец очень редко рассказывал Сергею об ополчении. От друзей отца он узнал о том, как отец был в окружении, как часть группы попала в плен, как другая часть чудом уцелела и вышла к своим. Отец не любил вспоминать самое трудное. Он с охотой рассказывал смешные военные эпизоды, всякого рода армейские курьезы, а о тех тяжелейших днях никогда не вспоминал. Так же неохотно вспоминал он о своих неприятностях пятидесятых годов. Сергей помнит, как он перебирал отцовские фотографии. Была одна казавшаяся смешной. На фотографии его отец стоит рядом с длинным человеком в белом. Белое — это парусиновый костюм, который плещется вокруг человека, точно флаг. Сам он тонкий, как флагшток, а костюм — надутый ветром флаг или парус. Худой, очень высокий человек в очках взял под руку приземисто-широкого отца, тоже в белом, а сзади смуглое даже на фотографии лицо улыбающейся женщины, ее пальцы за их затылками ставят рожки, и борт парохода, и темная полоска реки, и надпись: «Кама, 1935, плавучая станция Белая». Было смешно, что все белое. И костюмы и станция, только люди были загорелые, смуглые, с темными молодыми лицами, вот этим и волновала фотография: молодостью отца и тем неизведанным, что было до его, Сергея, рождения. Как хорошо они смеялись: коренастый, крепко стоящий на палубе, на земле, словно пригожий, крепкий белый гриб, отец и рядом — похожий на подосиновика с длинной и чуть перепончатой ножкой, высокий, немного несуразный человек со смеющимися глазами, в круглых очках, по-братски придерживающий отца за плечи. Фамилия этого человека часто мелькала в их разговорах, всегда с теплотой и даже как бы почитанием... Он был старшим другом отца, его учителем. А потом исчез, словно бы растворился в высоком небе над рекой Камой.

Он часто отмечал про себя, что отец и его друзья, несмотря на все, что им пришлось хлеб-

нуть, с известной легкостью смотрели в будущее. Отец нередко повторял эту фразу, и она звучала у него совсем не механически: «Будущее покажет». Да, он говорил с уверенностью. Видно, он всегда веровал, будто оно покажет именно то, что ему нужно. Он же, Сергей, был более осторожен в отношениях с будущим. В его отношении была некоторая доля недоверия, иногда и нечто вроде суеверного страха, и он заклинал это будущее, как некоего опасного божка («тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, сплюнь через левое плечо»). И отец презирал его за это шаманство, за душевную его темноту, недостойную образованного человека, и непреклонно верил в будущее, в светлое будущее.

И поскольку Сергей, заклиная это будущее, предпочитал не говорить о новой, еще не сданной научной работе, об интересной готовящейся поездке и вообще о том хорошем, что должно было произойти, то чаще всего он вообще ничего не говорил отцу о своих делах, и это злило отца. И тогда, чтобы его не злить, он начинал делиться с ним неудачами и обидами. А потом спрашивал себя: зачем? Старик у своего хватит.

Отец слушал не прерывая, слушал и говорил что-то тихо, успокаивающе. Как и сейчас, слышал он умиротворяющий голос отца, шелестящий голос отца тех лет, внушающий, что не все так плохо, что будущее, как говорится, покажет.

В последние годы он старался не огорчать старика, не втягивать его в клубок им самим не разрешенных вопросов и обстоятельств. Он только раздумывал над тем, почему тогда отец был так терпелив. Очевидно, отца не раздражало, а, наоборот, трогало, что сын идет к нему с этим; своеобразное выражение детского инстинкта — плакаться на груди матери. Не осуществленный с матерью, этот инстинкт перешел на отца.

В институте у Сергея заведовал кафедрой профессор Массе. Он был тем самым любимым профессором, легендарным, единственным, который и должен быть в каждом институте. В чем была причина легендарности, никто не знал, никто и не пытался в этом разбираться. Это существовало как данность, само собой, из поколения в поколение все знали, что самый интересный человек в институте — это он.

Он действительно читал с блеском и темпераментом, но у них были и другие не менее сильные лекторы. У него было известное в кругах специалистов имя, но это обеспечивает успех у студенческой аудитории лишь в малой степени. Он с пренебрежением относился к оценкам, на экзаменах не был строг и мелочен, но все они знали, что он имеет свой, невысказанный счет к ним, каждому из них знает цену. В нем было одновременно нечто от мэтра, небожителя и от простого, свойского мужика, любящего крепкое слово, с интересом поглядывающего на самых хороших девушек их курса. Когда он говорил о предмете, то он говорил так, что все понимали: нет, не было и не будет на свете ничего более важного, чем скифские поселения, их курганы, гробницы и те люди, что прошли, оставив занесенный веками, но различимый след. В его рассказах они выглядели всегда такими же или почти такими же, как сегодняшние, с почти такими же заботами, страстями, делами и делишками.

Может, оттого он и казался современником тех, вечным стариком, хотя стариком его трудно было назвать. Скорее, он был немолодым челове-

ком с необычайно свежим, почти юношеским лицом, человеком, одетым небрежно и даже чуть неряшливо. Весь его облик, манера держаться сразу же убеждали тебя в том, что этот не будет тратить время на пустяки. Они прислушались к нему, даже к самому незначительному, что он говорил. Они понимали, что старик всегда говорит по делу, что в каждом его слове — собственный, им добытый опыт, и сотни книг, и бог знает что еще. Он был для них стариком, остановившимся в возрасте. А настоящим стариком он увиделся позднее. Сергей работал у профессора в Костенках, в Воронежской области. Все время возникали хозяйственные неурядицы. Профессор вынужден был сам бесконечно звонить или ездить к областному начальству.

Здесь он выглядел другим, старым, задерганным, но очень четким, отнюдь не академическим, даже трудно было себе представить там, в институте, что он ко всему еще умелый администратор. Только иногда он покрикивал на своих учеников, заставляя их отвлекаться от повседневности, быта «копачей». Ведь в этой пахнущей сыростью, изрытой траншеями земле надо было найти не только конкретный след поселений, но и создать свою собственную, пусть неабсолютную, но все же единственную концепцию жизни, канувшей в бездну исчезнувшего времени.

Когда-то, в студенческую пору, масштаб времени был другим, все эти минувшие эпохи с их напластованиями были лишь строчкой петита в учебнике, казались мигом, мгновением, чужой жизнью, унесенной ветром. Собственная же жизнь виделась бесконечной и необозримой.

Сергей неплохо сработался с профессором; и через два года, когда профессор поехал в Туркмению, он взял его с собой.

Профессор по-прежнему бегал по пустыне, не жалея себя, в своем знаменитом тропическом шлеме, на который с завистью восхищения смотрела вся партия, носившая на головах кто что, от войлочных шляп до игривых детских панамок. Шлем съехал набок, казался огромным на уменьшившейся, словно усохшей голове профессора. Да и во всех движениях его проявилась стариковская суета.

Профессор, как и раньше, проводил острые летучки и держал все звенья экспедиции в напряжении, никому не давал «сачковать», но сам уже не поспевал, уже был не в силах толкать вперед всю эту машину, решать все не относящееся к главному, к науке. Его заместитель по административной части, «хозяйственник», был никудышный, и все время происходили проколы: то выбывала из строя техника, то не являлись вовремя рабочие из колхоза имени Буденного, то не получали в срок реставрационный материал. В экспедиции начались неполадки, пошли «телеги», жалобы. Приезжали комиссии.

Во главе одной из них был человек, считавшийся одним из учеников профессора.

Сергей хорошо помнит открытое партсобрание, где обсуждалось положение в экспедиции, срыв квартального плана работ, какие-то мелочи... Помнит он и речь того ученика и другие речи, где много говорилось о заслугах профессора, о его вкладе, о том, кого он из всех замечательных своих учеников заметил, выпестовал, «и в гроб сходя, благословил».

«В гроб сходя...» Этот мотив присутствовал. Так или иначе звучал он в речах, сдержанный мотив, скорбная тема, мысль о том, что пора уйти вовремя, а не развалив все дело, тогда, когда ученики помнят тебя могущественным и сильным, а не за-

бывающим через час собственные свои указания, не мешающим их росту, а благородно передающим эстафету следующему поколению... Конечно, говорилось не так. И не об этом даже говорилось: о конкретном, о графиках, о сроках, не о науке — о быте и буднях, но подтекст был один. Пора... Наступает момент.

Профессор слушал, слушал, как бы в попудреме, именно в той державинской позе, что и полагалось, иногда, впрочем, оживляясь, вставляя реплики, уточнявшие общую картину. Смысл их заключался в том, что ленность, организационная и творческая беспомощность, незрелость его помощников создавали трудные для экспедиции моменты, а не его, профессора, неспособность руководить коллективом.

Ему не хотелось уходить. Может быть, ему не хотелось уходить так. Его бывший ученик старался избежать каких-либо обидных выражений, доставал блокнотик и приводил факты, только, только факты. А ведь известно, что именно профессор учил их неумывать и обобщать отдельные, даже самые незначительные факты, воссоздающие реальную картину действительности.

Вечером Сергей зашел к профессору.

Профессор сидел в своей комнате, фанерной перегородкой отделенной от общежития. Резко светила настольная лампа без абажура. Старик было жарко, перед ним стояло ведро с водой, и время от времени он опускал туда эмальрованную кружку. Обычно он пил мало, у него была целая система, специальный питьевой режим, который он внедрял в головы неопытных, слабовольных своих учеников.

— Вам чего? — сухо спросил он, поглядев поверх очков.

Все приготовленные слова, слова поддержки, любви, еще секунду назад будоражившие душу, высохли, как капли воды, стекавшие с кружки на дощатый, с глубокими расщелинами, крашенный пол.

— Я насчет машины в Байрам-Али. Надо мне ехать к Жеревчевскому?

— Обязательно надо.

Перед профессором лежала толстенная тетрадь с надписью «Амбарная книга». Перехватив любопытный взгляд, он сказал педагогическим, лекторским тоном:

— Это дневник. Я веду его пятьдесят лет. Каждый день. Дневник экспедиции. У меня сохранены дневники всех моих экспедиций. А сколько их было?

Он подсчитал в уме, и лицо его выразило удовлетворенность и даже некоторое изумление, он словно бы сам удивился тому, как много их было. Но сколько, он не сказал. Он только проговорил подчеркнуто безразлично:

— Это, видимо, последняя.

Через год примерно были торжественные проводы профессора в институте. Читали указ о присвоении звания заслуженного, говорили речи. Тот, который приезжал в туркменскую экспедицию, тоже говорил, и очень подробно, заглядывая для точности в блокноты, чтобы не упустить случайно какую-нибудь из заслуг профессора.

Все было очень торжественно и достойно.

Потом профессор уехал, весь осыпанный цветами, разошлись ученики, разбрелись студенты.

Какая-то желторотая третьекурсница плакала и все время повторяла:

— Зачем же так, зачем же из института? Ведь все же знают, что он самый наш любимый, самый наш лучший профессор...

На что ее спутник, трезвый и рассудительный, отвечал, успокаивал:

— Учителя должны вовремя уходить. Именно тогда они и остаются в памяти учеников.

Отец ушел сам.

Он был в больнице уже второй месяц и оттуда послал заявление об уходе с должности. Может быть, он ждал, что его отставку не примут, а может, просто решил, что действительно надо уйти вовремя.

Во всяком случае, отставку принял.

Теперь, как отец часто повторял, «он был свободен от любви и от плакатов».

То, о чем он мечтал всю жизнь — «творческая свобода при отсутствии административных обязанностей», — в семьдесят лет впервые открылось перед ним.

Из института позванивали время от времени, приглашали на все вечера, регулярно посылали поздравительные открытки. Он ходил в институт раз в месяц, в день уплаты партвзносов, его останавливали, узнавали.

— Вы же наша легенда, — говорил молодой лектор, — вас здесь все помнят.

Все суетились. Заказывали ему машину, провожали на улицу, махали рукой, будто он ехал не домой, а в далекую научную экспедицию. А студенты новых выпусков с мимолетным интересом смотрели на маленького старичка, который, говорят, здорово читал лекции и в какие-то давние, смутные времена отстаивал то, что сейчас и первокурснику ясно.

Внучка профессора Массе училась в той же школе, что и Игорь. Профессор регулярно приходил за ней в школу, посещал родительские собрания, а однажды даже провел беседу с учащимися на тему «Далекое прошлое нашей родины».

Иногда Сергей видел, как профессор гуляет по широкому проспекту, стоит перед стеклянным стендом «Вечерки», приподняв очки, что-то вычитывает. Ему хотелось подойти к профессору, поговорить на их обоих интересующие темы, но он не решался... Это ведь только так считается, что учителям приятно видеть своих учеников.

Однажды Сергей пригласил профессора на специальное заседание секции научного общества. Сам он был членом бюро общества и полон планов обновить и освежить работу секции, сделать так, чтобы крупные ученые приходили на эти заседания, чтобы раскиданные по стране, по экспедициям специалисты время от времени собирались для того, чтобы проинформировать друг друга не только о законченных результатах экспедиций, но и о наметках, предположениях, о ходе исследования.

И вот он пригласил профессора выступить по поводу довольно спорных выводов экспедиции, работавшей в Туркмении.

Профессор уже отошел на второй план, но все-таки его знали, помнили, на его труды ссылались, учебник его неоднократно переиздавался. И когда профессор пришел, Сергей с легкостью настроился на прежнее, студенческое, на восхищение, веру в почти каждое его слово.

И действительно, старик говорил дельно, с блеском. Сергей ведь давно не слышал его и теперь был рад, что все так хорошо получалось, что старик согласился, приехал и так славно, крепко держит разношерстную и искушенную аудиторию. Старик выглядел иначе, чем в студенческой аудитории когда-то, да и держался иначе, говорил сдержанно,

медленно, все время шелестел бумажками, иногда далеко отстраняя их от глаз, как делают дальноточные старики, иногда замолкал, будто теряя нить, но вскоре находил ее.

Старик был хорош.

И только одно создавало чувство некоторой неловкости: он ругал почти все новейшие исследования, он оспаривал не только выводы, как предварительные, так и окончательные, но и самую концепцию исследования. Он практически ни с чем не соглашался и ничего не принимал. Весьма убедительно, как нечто само собой разумеющееся, отвергал он доводы последней туркменской экспедиции. И вдруг Сергею стало неинтересно, потому что он понял: старик теперь не примет ничего. В вестибюле он торопливо и вежливо простился со стариком и не поехал провожать.

Когда профессору исполнилось восемьдесят лет, Сергею позвонили из научного журнала и долго уговаривали написать юбилейную статью. Разговор был примерно такой:

— Ведь вы же его ученик, что же вы отказываетесь?

— Да у него учеников сотни. Кто-нибудь другой лучше меня сделает.

И тут у редактора сорвалось:

— Вот так все и отсылают друг к другу, никто не хочет. Не знаю уж почему. Видите ли, бывает такая категория, когда ценят, но не любят. Не очень любят, — поправился редактор.

Вот после этой фразы Сергей решил, что напишет. Да, напишет, потому что они его не очень любят, но он не будет измерять степень своей любви, а просто сохранит верность старику, тому старику, который еще недавно так много для них значил и который теперь действительно стал абсолютным и законченным стариком.

Он написал статью. И сразу, как напечатал на машинке, прочитал отцу. Отцу она понравилась.

— В ней немножко больше чувства, чем принято в научной статье, даже юбилейной, есть налет сентимента, но в данном случае это, может быть, даже хорошо. Мне было бы приятно, если б обо мне так написали. Судя по всему, он сейчас одинок, и вообще, учитывая предубеждение, которое к нему питают некоторые коллеги, это поступок.

Одно из старых любимых выражений отца: «Поступок».

И верно, после этой статьи ему звонили многие и говорили: «Знаешь, ты, пожалуй, прав. Старик действительно заслужил». И ~~начинали~~ вспоминать прежние заслуги старика.

«Странно устроены люди, — думал Сергей, — ведь они знали все то, что можно сказать о старике, а думали все же иначе. Но печатное слово легко может их поколебать. Железная сила печатного слова».

Многие ему в те дни звонили.

Единственный, кто не позвонил, был старик. Впрочем, кто ему судья?

Он часто думал о старике... Кто знает, какие у него утра, какой тусклый и болезненный свет пробивается в окно его комнаты?

А может, не об этом старике он думал, а о старости? Как встречает он начало дня — ведь каждый может стать последним? Да и в страхе ли последнего дня сокрыта тайна старости? Этот страх ведом и более молодым. Нет, очевидно, она в чем-то другом. Возможно, в том, что перед тобою нет горизонта и нельзя придумать себе что-то наперед. А может быть, и в том, как старый человек

медленно, боясь оступиться, фиксируя и проверяя каждый шаг, идет по крутым лестницам неосвещенного подъезда. Он идет старательно и спокойно. Он привык к темноте, и она не тревожит его. И вдруг из подъезда он выходит на белый свет, который будоражит, слепит, и острый запах бензина, асфальта рождает память о таком же далеком запахе, когда он выходил из этого же подъезда и спешил: его ждали, и он сам ждал кого-то. И очевидно, он помнил тот миг, тот шаг по земле, ликующей свет, деревья и лица после тьмы подъезда, и еще, как все старики, он помнил сотню мгновений, помнил то, что было уже несуществующим, не имело ни цвета, ни запаха и было лишь тем эфемерным, что принадлежало одной его нетускнеющей, цепкой и потому мучающей памяти: куда оно делось? В какую материю перелилось?

Дети, играющие в песке, один из них, такой же, как все, в белой панамке, поднимает лицо и радостно бежит тебе навстречу. Кто это?

Это твой маленький сын. И ты берешь его сухой, загорелый локоток своей крепкой и легкой рукой и медленно идешь с ним мимо лавок и мимо ям, вырытых в песке. Когда это было?

«Ваше 80-летие Вы встречаете в расцвете творческих сил, полный замыслов и планов» и т. п. и т. д.

Идущий прямо, еще зоркий, хорошо выбритый старик, затем старичок, уползающий в бездонную тьму подъезда, в гулкую каменную нору, где гложут и стираются постепенно медленные шаги.

## X

Мальчик выскочил во двор, как всегда, с чувством облегчения. Он скакал по двору, и ему нравилось разговаривать с дедом, но слишком долго разговаривать он не мог... Во дворе было лучше. Там не надо было думать о том, чтобы не сделать лишнего шага, разбить что-нибудь, передвинуть книги, рукописи, бумаги, устроить кавардак. Он с детства слышал это слово «кавардак», толком не понимая его смысла. И, когда он был маленьким, «кавардак» напоминал ему дикого кабана, мохнатого, несущегося вскачь, раскачивающегося из стороны в сторону, как пьяница. Ему нравился «кавардак», и он охотно выпускал своего кабана в небольшие комнаты их квартиры. Пусть носится, ломая все на своем пути.

А двор этот он знал так, как и свой собственный, даже лучше. Знакомый с первых шагов жизни, он всегда таил неожиданности: то у бетонного забора находил он грибы, похожие на поганки, не лесные, плешивые, розово-светящиеся. Однажды он собрал их довольно много и принес домой, и все были необыкновенно довольны и всячески одобряли его. Красиво назывались эти грибы — «шампиньоны». В другой раз нашел зарытую в земле каску, обрадовался и опечалился, думал, она от войны, неужели в этом дворе кто-то погиб, принес к ребятам, они почистили ее и увидели — поварная.

Это был двор находок, неожиданностей. Двор с закоулками, где ребята помладше прятались от родителей, а постарше — пили портвейн, обнимались с девочками, бренчали на гитаре.

Но сейчас он не стал задерживаться в этом дворе. Он сделал кружочек по двору, а затем вышел на улицу и сел в трамвай.

Трамвай дребезжал стеклами, металлом, жесткими блестящими сиденьями, позванивал медяками кассы, а он один сидел в вагоне и смотрел в раскритое окно, где мелькали и гасли то надвигавшиеся на него, то внезапно тускневшие огни.

Он ехал назад, к своему дому, но слез не на своей остановке, а на следующей, откуда до Дашкиного дома было ровно пять минут. Только он еще не знал, зайдет к ней или нет.

«Если в окнах темно, — думал он, — буду ждать. Если огонь горит, придумаю что-нибудь... Например, нужна книжка. А какая книжка? Надо быстро придумать книжку, которая именно у нее есть, а у меня нет. А почему вообще нужна причина? Врать, выдумывать? Просто так пришел. Захотел и пришел. Люди же ходят друг к другу в гости, даже и без особой причины. Просто хотят друг друга видеть. Им нужно друг друга видеть. Вот и мне нужно... Именно сейчас».

Взбадривая себя и храбрясь, решаясь и не решаясь, он тем не менее поднимался по ступенькам на ее пятый этаж.

«Ведь никто же не звал, — думал он, — а я иду. Ну и что — пусть не звали...» отвечал он себе. — Все правильно».

Когда был перед дверью, так все дрожало и прыгало в низу живота, будто стоит позвонить, а оттуда — в тебя — очередью из автомата!

Позвонил.

Сначала было тихо, потом что-то зашуршало, точнее кошка пробежала. Потом раздалось уже более отчетливое, напоминающее шаги босых ног.

— Кто это? — Это был ее голос.

— Кто, кто! Взломщики. «Мосгаз».

По ту сторону двери не хотели понимать его шуток. Молчали.

— Это я, Игорь».

— Так бы и говорил. Сейчас, кофту наброшу.

Открыла.

Он вошел в темную, маленькую прихожую. Дашка чуть отступила к дверям, молчала, вид у нее был выжидательный. Она была в красных вельветовых шортах и в кофте, бесформенной и широкой, как хитон. Они секунду постояли молча, ничего друг другу не говоря, будто встреча эта была заранее и давно запланирована и никого из них ни капельки не удивила. Потом он пошел за ней в пустую и просторную столовую, в ту, в которую пришел он первый раз, в тот вечер. На обеденном столе лежали ее учебники, тетрадки. Будничный, совсем не такой, как тогда, вид этой полуобставленной комнаты успокоил его.

По тишине, простору было ясно, что она одна и как бы уже давно одна, будто все ее родные неожиданно снялись с места и покинули этот дом.

— А где брат?

— А он на практике. В Усть-Сургуте.

— А чего он там делает?

— Мост делает. Дипломная практика. Это он тогда на несколько дней приехал из Усть-Сургута.

Ему почему-то сразу стало легче, потому что брат уехал надолго. Неизвестно почему. Что он мог иметь против ее брата?

— Что делаешь в свободное от учебы время?

Она показала рукой на учебники, на тетрадки. На тетрадах вместо записей были рисунки, остренькие, перышком рисунки, звери, похожие на людей, звероподобные люди.

Это обрадовало его... Хотя чем-то они, значит, были похожи. Он тоже исписывал целые страницы змеями, астронавтами, ковбоями, танками, профилями великих людей. Однажды приятель отца, художник, рисовавший плакаты, долго разглядывал его рисунки и сказал отцу: «Смотри, как он у тебя интересно видит».

Ему показалось странным это выражение, и он подумал: «Любят они, взрослые, выдумывать. «Интересно вижу», а я просто бумагу мараю, так как заниматься неохота».

— Смотри, как ты интересно видишь, — сказал он, поглядев на ее тетрадку.

— Чего вижу, кого вижу? — не поняла она.

— Животный мир... Мир людей. Фантазия, замечая, у тебя богатая.

Она бросила на тетрадку учебники.

— А ты чего подглядываешь? Я же не для выставки, а для себя.

— Оправдываться будешь перед судом... Да ладно, я и сам такой же. Прежде чем уроки начну, так на черновике всегда какую-нибудь ерунду рисую часами... Мне разогреться надо, разминку сделать... Знаешь, как футболисты? Мне всегда очень трудно начинать заниматься. Для меня сами занятия легче, чем тот момент, когда я решаю. От этого я иногда и не начинаю. Наверное, у меня безволие. Я даже в книжке прочитал — паралич воли. Вот к этим урокам проклятым — у меня паралич. Мать берет мои тетрадки, а у меня там сплошные фантомасы. Она: «Кого обманываешь?» А действительно, кого?

Ему хотелось еще что-то рассказывать про себя, что-то важное и откровенное, и про свои недостатки в особенности, но рассказ не получался, молло какую-то чепуху, а может, и рассказывать было не о чем, тем более откровенное... А врать, выдумывать всякие байки, вроде тех, что рассказывались чаще всего в туалете, о том, например, как на него напали трое амбалов и начали толковищу, а он их... сперва одного под дых, второго, затем третьего, — такое рассказывать ей не хотелось... Да и вообще он этого не любил.

Но неожиданно она отозвалась на его рассказ о мучениях перед уроками. Может, она пожалела его, но голос ее потеплел.

— А я, представь себе, — сказала она, — люблю решать всякие задачки... Я вообще люблю все точное, где докапываешься до единственного ответа, а все приблизительное, разные там общие слова я не люблю. Я, например, в истории всегда запоминаю фамилии и даты, а вот всякие там черты феодально-общинного строя или какого-нибудь еще, всякие там особенности и разные там социальные отношения — это мне все до фонаря, я сразу бросаю учебник, включаю музыку... Щелкнула по клавише — и другой мир, и сама думавшая: ведь ты не раб какой-нибудь феодальный, дробить камни для чертовой пирамиды Хеопса, не рабыня, а свободный человек, который может плюнуть на все уроки и слушать музыку всех эпох или просто глядеть в потолок, или просто выскочить на улицу и шататься без дела.

— А мать?

— Она приходит поздно с работы. В основном — мы с братом... Ну, еще его друзья. С ним мне никогда не скучно.

Он вспомнил тот вечер и почувствовал, как против его воли губы расплываются в неприятную скептическую улыбочку.

Но она так любила своего брата и так была увлечена этой темой, что не заметила.

— Вот тебе не повезло, — продолжала она. — У тебя ни сестер, ни братьев. А я будто еще одну жизнь проживаю, братову, я в курсе всех его дел. Любых — и институтских и самых тайных.

— А я их не понимаю, — сказал он.

— Кого их?

— Ну... старших братьев... Вот этих двадцатилетних. Они ни то, ни се — не мы и не взрослые и потому выпендриваются как могут. Один бородину отпустит, другой — усы, третий крест нацепит под майку, четвертый еще что-нибудь... Хотят показать что-то, а показать нечего.

— Завидуешь?

— Да нет. Я никуда не гонюсь... Не убежит. Я вот отцу немного завидовал, он войну прошел, правда, не воевал, но в эвакуации был, их бомбили, он видел, как немцев везли по Москве. А потом после войны у них тоже было все интересно... Непонятно, но здорово. Многие вещи у нас вообще не укладываются. А эти что видели?

— Что видели? Да все видели. То, что им положено. Ты, знаешь, рассуждаешь, как эти пенсы на бульваре.

— Кто? — переспросил он.

— Пенсы. Пенсионеры. Знаешь, они чуть что заводятся: «Вот у нас — да. А вы — что?» Несерьезно это.

— Да я не о том, я тебе объяснить не могу. Просто жизнь была суровой. И подделочников было меньше...

— А кто же, по-твоему, подделочники? Ничего ты не понял. Мой брат, его друзья, они ни под кого не подделываются, они такие, какие есть... Они просто любят надо всем посмеиваться, им не хочется переть напролом, тупо наморщив лоб... Но если надо, они все для тебя сделают. И без всяких там нравоучений и прочего. Брат ничего рассказывать не любит, а мне Кирилл, его приятель, рассказывал, какая там у них была история. Как они спасали одного лесоповальщика. Как брат заболел воспалением легких из-за того, что шел к этому парню почти сутки и сам чуть не замерз насмерть. И для него это не подвиг никакой. Он не выносит всяких слов... Ничего ты в нем не понял.

Она уже заводилась и смотрела на Игоря почти с неприязнью.

«Да она всех удавит за своего брата, — подумал он. — И зачем это я полез?»

— Да разве я против брата? Я просто... Я бы сам, если бы имел брата и кто-нибудь — на него, я всех бы за него грыз, не останавливаясь. Так что ты не бери в голову. — Он помолчал и добавил: — Давай лучше немного погуляем.

Она посмотрела на него, подумала, потом сказала:

— Ладно, сейчас уберусь, сиди, жди.

Она унесла учебники, тетрадки, долго шуршала в соседней комнате, передевалась, что ли. Ему даже стало скучно, и весь разговор показался нелепым, ненужным и захотелось домой.

Она вышла, уже не в хитоне, а в черной кофточке и в замшевой короткой юбке, прошитой каким-то красным узором и открывавшей ее длинные, со сбитыми коленками, загорелые ноги.

И опять, как тогда на кухне, что-то задело его в этом облике и снова захотелось сотворить что-нибудь подобное тому, а там, может быть, умереть от стыда или, наоборот, тихо, достойно удалиться как ни в чем не бывало.

«Что за муть?»—думал он. Мало ли девочек было рядом, он боролся с ними, возмущался, дрался, а на даче у отцовского друга он даже целовался с его дочкой и курил с ней сладкие быстросторогающие американские сигареты. Она все шутила и подсмеивалась над ним, поддразнивала, как бы к чему-то призывая, будто была какая-то опытная. Да, он целовался с ней, и даже в губы. И было очень рискованно, ново, немного опасно, чуточку глупо (что вообще за занятие?), и он с интересом делал все это. Только не чувствовал ничего. Разве что губы у нее мокрые, пахнут табаком и чуть-чуть котлетой. И целовался он с ней не потому, что было приятно, или оттого, что тянуло к ней, а так, скорее для спорта. Ведь от многих пацанов он слышал: «Вчера целовал такую-то, такую-то» или что-нибудь в этом роде. Ему казалось, что и она к нему тоже ничего не чувствует.

Сейчас же было совершенно другое.

И он делал равнодушное лицо, будто глядел мимо нее и не видел, какая она красивая в этой черной кофточке и рыжей узкой юбке с красным узором.

Да, он видел и понимал, какая она. И он знал, что теперь уже все, никто и никогда—только она, что бы там ни было, и он любит ее, вот именно любит, слово, которое столько раз слышал или произносил, но которое для него не имело реального смысла, высыхало на пальцах, как вода. «Любит, любит»—это все было в песенках, фильмах, чужое, скользящее по льду, как фигуристы под звуки вальса.

Он любил отца, мать, свой город, Нескучный сад. И вдруг он произнес мысленно это абстрактное слово «любить», такое привычное и далекое, как слово «душа», например. Что такое «душа»—то, что там постукивает внутри, как будильник, или то, от чего портится настроение, от чего хочется плакать, быть одному, никого не видеть из людей? И еще он подумал, какая связь между этим абстрактным «любить» и ею, стоящею сейчас рядом с ним... Разве это и есть? И как непохоже на благостный смысл этого возвышенно-буднично примелькавшегося слова то, что он ощущал сейчас: зависимость от нее, от того, что она скажет, что подумает, как посмотрит на него. Да, зависимость. Может быть, власть. Какая разница, как называется? Это не было тяжелым или унижительным, словно зависимость, которую ему в той или иной степени приходилось испытывать: от родителей, от товарищей, от собственной слабости.

Зависимость эта требовала от него поступков неизвестно каких, может быть, самых простых, но очень важных для них обоих. Он смотрел на нее и проборматывал это ничего не выражающее, бессмысленное слово «люблю», и знал, что никогда не посмеет произнести его вслух.

Она ответила ему взглядом, который как бы говорил, что она нечто поняла, догадалась, ощутила вполне свою силу, красоту и, наоборот, его сматение и глупость. Взгляд ее был нежно-снисходителен, обещал как бы, что она не употребит свою силу во вред ему... Так ему казалось по крайней мере. Возможно, она ни о чем таком и не думала, а думала, возможно, о брате, или об уроках, или о чем-нибудь еще, ему вовсе не известном. Кто их знает, о чем они думают, женщины, даже в тот момент, когда пылливо и внимательно смотрят на тебя...

Во всяком случае, она сказала:

— Ну, так что мы стоим? Поехали?

— Конечно, давай, понеслись.

И они действительно понеслись. Вначале, когда они шли по темной лестнице и он не видел ее, только слышал громкий стук ее башмаков на деревянной подошве, он взял ее руку в свою, неловко и жестко как-то схватил, все время этого пути в темноте он чувствовал себя незримо и навсегда связанным с ней. Но едва они вышли из подъезда и пошли по обычной, столь знакомой им улице, все это пропало, и он снова разъединился с нею и стал думать о несделанных уроках, о том, что дед и отец ждут его, ведь он вышел всего на час. И он не знал, куда идти и что говорить. Стало неожиданно тускло и скучно.

И слова, которые вылетали изо рта, были необязательные, ничего не выражали, точно он не с ней разговаривал, а писал какой-то нелепый и трудный диктант. Его вдруг обступило то, что к ней не имело отношения. Он стал думать об отце. В сущности, единственный человек, кому он мог рассказать о ней, ну не рассказать, а намекнуть, как бы случайно обмолвиться,— был отец. А теперь отец, хотя и рядом, но далеко от него, и нет охоты ничего ему рассказывать.

Он впервые вдруг подумал об отце с раздражением, даже со злостью. И ведь будет ругаться, что ушел так надолго, и надо придумывать вескую причину и что-то врать.

И снова отец станет уходить и прощаться с ним, уходить, прощаться, будто они знакомые, которые раз в неделю ходят друг к другу в гости...

И в эти дни он будет засыпать с мыслью, какая ему никогда днем не приходила, неожиданной в своей очевидности: случилось что-то непоправимое, и это уже навсегда. Засыпая, он обычно старался избавиться от этой голой, навязчивой мысли, про себя крутил цветной привычный калейдоскоп, где мелькали повседневные, знакомые, приятные лица, где все смешалось и все расставлено четко—дом, школа, друзья, родители, занятия и отдых, все такое понятное и ничем не разрушенное, предчувствие спокойного сна, уютный сон, уютный, непугающий рассвет. Но на рассвете тепло улетучивалось, возникало предчувствие тревоги, а потом сама тревога электричеством дергала мозг: что-то случилось, распалось, и это правда, и не дурной сон, сон, наоборот, был хорошим, а это реально и будет с ним весь день и всю ночь, всегда... Отец был, и отца не было. Привычное слово «родители» повисло, как вывеска с выбитыми буквами. И каждое утро имело теперь марганцовочный, железный привкус несчастья.

Потом все восстанавливалось. Шли дела, заботы, уроки, и уже не думалось об этом с такой остротой; прошли дни, месяцы, и он привык к этому, почти как к должному, и только иногда вдруг снова возникало что-то неприятное, как бы веющее холодным, сырым ветром, заполняющее им пустую грудную клетку.

«Тысячи так живут»,—услышал он однажды, как подруга говорила его матери.

Тысячи—может быть, а может быть, даже и миллион... но почему именно он должен попасть в это число?

— Ты чего там бормочешь сам с собой, как лунатик?

— Я лунатик и есть.

— Слушай, у меня есть предложение,— сказала она.

— Валяй.

— Что значит «валяй»?

— Ну излагай, в смысле.

— Так вот. Пошли на американские аттракционы.

— Куда?

— В ЦПКиО, на американские аттракционы. Знаешь, какое там огненное кольцо с ухающими вагончиками, с музыкой — обалдение, это я тебе говорю. Я уже была раз с братом.

Ему следовало объяснить ей, что его уже заждались дед и отец, что отец должен проводить его домой, но ничего этого объяснять ей не стал; молча, легко согласился.

Раздался приглушенный звякающий звук, какой всегда издавал разболтанный отцовский телефон, дед крикнул:

— Послушай!

Сергей взял трубку, услышал торопливо-стертое:

— Добрый вечер.— Узнал, и лицо его напрялось.— Это ты?— звучало на том конце провода.

— Я... А кто же.

— А где мальчик?

— Гуляет.

— Что же? Гулять он и без вас может. Он и так целые дни один гуляет. А тут раз в кои веки.

— Так ему захотелось.

— Не лучшее проведение времени при наличии деда, отца.

— Он попросил отлучить его на час.

— Уже девять, и физику он не выучил.

— Через полчаса он будет дома.

— Не позже.

Секундная пауза. Громкое шуршание каких-то невидимых частичек.

— У тебя все?

— Все.

— До свидания.

— Будь здоров.

И трубка повешена.

Отец смотрит на него, не спрашивает. Он-то знает, кто звонил, знает, не слыша разговора, по первой его реакции, по выражению лица. Сергей говорит:

— Я, пожалуй, спущусь за ним... Вот так, разрешишь на час...

## XI

**В** сумрачном дворе, мимо редких деревьев с мокрой жестяной листвой шел, торопливо вглядываясь в каждую тонкую и высокую фигуру.

Мальчика не было.

Он давно уже не был в этом дворе, подходил к дому не двором, а улицей, хотя там было длиннее. Не любил этот двор. Впрочем, что значит: не любил? Это был хороший двор, если вдуматься, лучший в его жизни.

А если и не любил чего, то напоминания о том, что уже не существовало. Именно не воспоминания, а напоминания.

С этим двором был связан, пожалуй, лучший период его жизни. Тогда они жили все вместе. Отец с Антониной, и он со своей женой. Они получили эту квартиру в первый год их общей жизни, жизни, а не скитаний по хатам друзей, по чьим-то холодным дачам с доброжелательными подмигиваниями все понимающих дружков. «Ничего кадр». «Вот тебе ключ до трех часов».

И не объяснишь никому, что вот уже почти пять лет, целую жизнь этот «кадр» с ним, и что уже

не кадр, а целый фильм без начала и без конца, и он уже не в силах понять и оценить, какая она со стороны. Порой во время этих хождений, когда, крадучись, уходили, словно отступающий какой-то патруль сквозь враждебное окружение, мимо коммунальных дверей, едких ночных сторожей, в отдельные какие-то моменты тоже смотрел на нее со стороны и самому казалось: «Хорошо, теперь пора расставаться, сейчас провожу, поцелую напоследок и — свободен. Пойду по ночной Трубной к Центру, бульварами, одинокий, протившийся, возможно, даже навсегда, полный не того, что уже было, — с ней, а другого, что еще будет, неизвестно с кем».

Так бывало в какие-то призрачные мгновения, когда при свете голых коридорных ламп, горящих по-ночному вполнакала, но с беспощадной яркостью, шли, каждый сам по себе, стараясь не разбудить соседей, гордо шли, как бы никого не пуская в свою всем известную и никому тем не менее не доступную тайну.

И не скажешь — что ни на кого не смотрел. Нет, смотрел. И даже записывал чей-то телефончик на студенческом вечере и что-то жарко шептал соседке при свете костров, под звуки дружных песен, «на картошке» в колхозе.

Нет, черту не переступал. Что-то удерживало. Казалось, после этого уже не будет ничего, что было прежде. Но вертел головой по сторонам — видел всех хороших девочек **Москвы**, Советского Союза и даже братских стран, слышал, как они шелестят широкими, по моде тех лет, парашютными юбками.

Но боже, как тянуло к ней, — именно после разлук, после ночных этих костров, случайных флиртов, чьих-то любопытных взглядов и на минутку нежных рук, после долгих застолий со множеством глупостей, с громкими песнями, с анекдотами.

Долго он не мог без нее тогда.

Начало отношений, как сам он любил говорить потом, было «солдатское», с письмами, «шлю привет, жду ответ».

Познакомились на вокзале, откуда эшелон уезил на целину.

То было время эшелонов, едущих на целину. Люди уезжали по путевкам райкомов и без них, рвались туда сами и там оставались надолго, навсегда. Другие бежали назад, уже после первых месяцев, не выдержав, рискуя комсомольским билетом и будущим.

«Это жизнь, новизна, это степь, это новые города, здесь чувствуешь себя человеком», — писал ему школьный товарищ, с детства романтический Толя Дмитриев.

«Рубим камыш, по профессии не оформляют, в палатке восемнадцать человек, напиваются, горланят песни... Больше всего хочу домой», — писал другой товарищ, слобогрудый, мрачный Юра Горлов.

Значит, надо разобраться самому.

Поначалу их отправляли на полгода в совхоз Амангельдинский Кустанайской области. Многие буквально рвались ехать, но кое-кто отмотал по состоянию здоровья. У него тоже был момент слабости. Он почти договорился о справке. Был такой малый, который все мог. И когда собрали их в деканате и ректор читал список, в карманчике уже лежала та спасительная справка.

Уже прочитали список, и надо было только подойти к декану, и он уже сделал несколько шагов, но увидел вдруг лицо отца. Он уже знал это вы-



ражение, своего рода гримасу, какая бывает при виде дохлой жирной мухи в углу окна, да и представлялись ребята, всепонимающие, пронизательные: «Заболел, бедный, болезненный мальчишечка. Москва ему нужна. Москва излечит».

Не хотелось быть Красносельским. Был у них такой Красносельский, всегда заблевавший в ответственные моменты, со скорбным взглядом влажных темных глаз.

Так и не вытащил ту справочку.

«Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты и я».

Было, правда, смутное и жалкое чувство каких-то упущенных возможностей, счастья пофилонить, пошляться от весны по поздней осени, даже до зимы по любимой им тогда остро Москве. Особенно любил он ее летнюю, опустевшую, с просторными зелеными ее дворами, с маленькими двориками Арбата, с подрагивающими от электричества и волшебства танцплощадками.

Сознание упущенных возможностей никогда не делает человека счастливым.

Однако решил.

Антонина собрала его умело и быстро. Для отца тоже не было другого решения, но все же, как ни скрывал, чуть боязно было, и потому рассуждал особенно четко и логично: «Школа жизни, реальность, самостоятельность и прочее». Отец не чужд был подобных раций.

Все сверстники Сергея выпивали в последние дни. Прощались со своими девчонками, сидели в кафе, шатались группами по весенней Москве, пели с надрывом: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда...»

А потом их построили возле института, посадили в автобусы и грузовики — и на вокзал.

Вот уж и загремели марши, речи, усиленные микрофоном, закачались белые буквы на красном кумаче лозунгов. А минут за десять до отхода сгрудилась в их купе теплая компания — ребята с их курса и еще две какие-то девчонки, которые не уезжали, а пришли проводить.

Одна была приятелева, вела себя почти как жена, давала советы, а вторая — просто подруга, ничья. Была она высокая, тоненькая, молчаливая, с небольшой змеиной головкой в голубой косынке с «голубым миром» Пикассо, в сарафане с вырезом, открывающим загорелую худенькую шею, — как бы тургеневская, по ошибке надевшая эту голубую косынку с голубем, и только речь у нее была современная, отчетливая, немного едкая и полная внутренней неуверенности... В чем только? А руки у нее были неожиданно пухлые, с детскими, в ямках локотками.

«Руку жала, провожала, руку жа-а-ла...» Все пели, кричали, прощались, обещали.

А они сидели, будто они никуда не едут, и ему было так легко, тихо, покойно от ее присутствия, что он на секунду решил: вот они сейчас вместе встанут и пойдут в город.

Однако не встанешь.

Но уже старосты групп стали волноваться и проверять списки, и стали ходить проводники, освобождая столики от пустых прощальных бутылок, и она поднялась, поправив свой чуть примятый зеленый сарафанчик, и протянула ему узкую ладонь, желая счастья, удачи и особенно — доброго пути.

И он сказал, придуриваясь, но, в сущности, совершенно серьезно:

— А давайте я вам письмо напишу. Это же интересно — письмо с целины.

— Звуковое? — спросила она, поддерживая иронию, но как бы не принимая смысла.

— Нет, обычное, на бумаге, на почтовой, в линейку.

— Пиши до востребования, — вмешался приятель.

— Да брось ты, занимайся... — бросил он с раздражением приятелю. А девушка уже вышла и стояла около подножки.

Он что-то еще бормотал с тем обычным сплавом смущения и развязности, которые возникали у него в такие минуты, бормотал что-то незначащее и все смотрел на эти опущенные глаза, на легкую головку в косынке с голубем, на маленькие открытые ступни в индийских, с позолотой босоножках. Мысль о том, что уйдет — и все, показалась вдруг невозможной.

Она уже действительно уходила, вернее, ее оттирали назад, и чугунный настойчивый голос время от времени вещал: «До отхода поездка остается...»

Вот он снова ее увидел. Она вынырнула в небольшой кучке людей, рядом с райкомовскими мальчишками, держащими в руках транспаранты, и растерянными родителями, машущими руками и глотающими слезы.

— Ну, до свидания, — кричал он ей. — Счастливого оставаться... Извините, если что не так...

Она улыбалась, не зная, что ему отвечать, а в последний момент, когда состав уже тронулся, лицо ее вдруг сделалось таким, какое бывает у тех, кто провожает действительно своих и надолго.

Вся ее фигура в плещущемся сарафане, лицо и рука распластались, устремились за поездом. Она и вправду провожала его, прощалась.

— Пиши мне, — кричала она ему. — Николопесковский, 18—23. Ты слышишь?

— Слышу! — крикнул он. — А кому?

— Мне! Гале Батуриной!

Уходил, уходил поезд.

Его девушка махала рукой или платком. Разве разберешь теперь... А может, и не его девушка махала...

...Косили камыш с рассвета дотемна, потом их перевели на другой участок, строили совхоз Амангельдинский, их стройотряд направлен был на свиарник. Сначала жили в палатках, потом перебрались в саманные домики.

Задували в середине лета жгучие степные ветры, дышать в палатках ночью было невозможно, и он выходил и спал на мешковине. Но жрала мелкая всякая гнусность, мошка.

Иногда и дни казались долгими, однообразными, неповоротливыми. Сколько их еще здесь... А на самом деле они пронеслись быстро, и дело шло к осени.

Уезжал он иногда в Амангельды и в райцентр, где в белой известковой земле стояли азиатские домики с дувалами, а в центре в горделивой большой папаче — каменный Амангельды Иманов. А рядом была почта, и там девушка-казашка кокетливо, оценивающе смотрела на него, будто решая, стоит ли для такого возиться, искала в толстой папке. Искала. Почти всегда находила от отца и лишь однажды от нее.

Письмо было безликое и, что называется, светское.

«Ну, как вы там, на далеких стройках? А у нас здесь в Москве то-то и то-то. Не за горами фестиваль молодежи. А также приезжает Ив Монтан» — и так далее и тому подобное.

И все-таки обрадовало.

Был звук оттуда, из далекой, несбыточной Москвы, предфестивальной, праздничной. Был сигнал от

нее, придуманной и потому интересной девушки с вокзала.

Да и сама эта жизнь в степи вдруг показалась удивительно привольной, счастливой, быстро летящей и бесконечной.

Однажды послали его вместе с Шакемом, водителем, за продуктами в райцентр.

Езды-то было всего сто — сто двадцать километров, но Шакем, восемнадцатилетний парень, круглолицый, с девичьим румянцем, решил вдруг сэкономить время, и они поехали кратчайшим путем, торфяным болотом.

Вначале машина шла сравнительно легко, торфяник подскок и не грозил никакими неприятностями до тех пор, пока они не забуксовали в неподвижной, черной, с глубокими морщинами, как лава, жиже. Буксовали, буксовали, потом вылезли и пошли вроде бы хорошо, и вдруг машина враз потеряла точку опоры, и они стали медленно погружаться, уходить в толстую, липкую жижу. Она только казалась упругой, как резина, а на самом деле все больше развезалась, легко, без сопротивления пропуская вниз машину. Их засасывало быстро, бесповоротно.

Он пытался выбить стекло, друг что-то кричал ему, что-то непонятное, по-казахски. Он забыл сейчас русский язык. Сергей не понимал его и уже не слушал этот долгий, тягучий крик, он бил по стеклу, оно не поддавалось, потом треснуло, ломаясь прямо в ладони, горячо обжигая руки, сразу ставшие мокрыми. Он метнулся в острое отверстие, ножом обрезавшее, как бы проткнувшее грудь, плечо.

Открывалось что-то глухо, тускло блестящее в слоновых серых складках, пахнущее гнилью, смутное, как бы густевшее на глазах. Вцепившись одной рукой в ускользящий борт машины, он схватил Шакема за плечо, тянул к себе, безжизненное тело было тяжелым, точно из чугуна.

Потом это тело показалось ему легким, так же, как и свое, из своего все время выходила тяжесть, влага, казалась, кровь вытекает тонкой, неостановимой струйкой, будто водопровод до конца не привернули и вот она течет, льется — еще минута, и кончится все.

Потом помнилось все смутно: больница какая-то, а точнее госпиталь военный, и там его резали, и помнит, что склонялось над ним рябое курносое лицо.

— Ну что? Чего ты? Знаешь, как это говорится: все пройдет, как с белых яблонь дым.

Но проходило долго.

Он спрашивал про Шакема, и отвечали, что жив, а ему показалось: врут.

Но однажды он увидел живого Шакема — живой Шакем с обаянной головой, с круглым, без румянца, без цвета лицом, протягивал огромную за гипсованную лалу.

— Ты спас... Ты, Сережа... Ты тогда спасал, — говорил Шакем, и рот, будто подшитый по краям, пытался растянуться в улыбке, а может, и не в улыбке, может, он плакал, понять было трудно, Сергей только видел, что гипсовая рука подталкивает ему шоколадку. — Отец... мать... благодарят... в Москву приеду... Я приеду... Ты приезжай...

Так говорил Шакем, прикрывая второй рукой рот, и непонятно было, зачем он прикрывает, ведь его и так трудно понять. Только когда на секунду опустил руку и Шакем, наконец, все-таки улыбнулся, Сергей увидел — рот у него, как у младенца или глубокого старика, без единого зуба.

...Шакем сумел оправиться раньше. Сергею казалось, что они, побратавшись в тот день, постоянно

будут держать связь, писать, приезжать, видаться... Шакем пришел его проводить в аэропорт, и, когда самолет откатывался, он все видел белое пятно — забинтованную голову Шакема... Одно письмо получил, ответил, и потом все, прервалось, заглохло, развело навсегда, будто на разных планетах жили.

## XII

**В** Москву привезли забинтованного и сразу отправили в больницу, в хирургическое отделение.

Теперь он ковылял по больничной палате, стоял у окна и смотрел на посетителей, иногда среди них был отец или деловитая Антонина, но чаще всего посторонние, незнакомые люди, другие шли к другим.

Но однажды, и он себе не поверил, маленькая и стройная, наподобие шахматной пешки, и как бы знакомая фигурка замаячила внизу. Он стал оглядываться, уже веря, еще не узнавая. И только когда, тоже не узнавая, а может быть, и не веря, и она посмотрела на него и помахала рукой в перчатке, как бы ему одному и — никому, одинаковым окнам, одинаковым фигуркам и пижамам, кирпичному зданию, безрадостному уже по цвету блеклого, казенного кирпича.

Помохали, постояли, оглядываясь, и поняли оба: «да».

— Как узнала? — крикнул он.

Она не ответила, сделала какой-то круг руками — мол, случайно.

А потом она появлялась еще и еще, и пустынный больничный двор обрел смысл, звук, цвет травы и жизни.

Однажды он выскочил, минуя карантинные посты, и черным ходом прошел в подвал больницы, открыл дверь и увидел ее, распахивающую взад-вперед от главного вестибюля к черному ходу.

Он даже не окликнул ее. Казалось, какая-то волна, световая или звуковая, повернула ее к нему. И она тут же вошла, вернее, нырнула в это подвальное смутное помещение со сплетением труб, с шахтами лифтов, которые, спускаясь, рождали грохот обвала.

Она стояла теперь рядом, какие-то полуслова выражали радость и удивление и вместе с тем ничего не выражали, говорить было не о чем, в сущности, да ему и не хотелось говорить. Слишком остро и сильно он чувствовал ее присутствие. Она стояла в бархатной юбке колоколом, румяная, а может, просто раскрасневшаяся и, как теперь, сегодня ему видится, очень молодая, почти девочка. А тогда совсем другое он ощущал и видел. Совершенно незнакомая и одновременно почти родная женщина стояла перед ним, нарядная, в тугом красном парашюте юбки, из которого струились стройные ноги на тоненьких шпильках, по моде тех лет, его женщина, которую он не знал, но которая была предназначена судьбой (так он тогда видел, так представлял себе судьбу), женщина, которая ждала, скучала, писала письма (впрочем, правды ради, скажем: писала редко; а скучала ли, он не знает, но условимся так — скучала). И вот теперь, как логическое продолжение всего этого, в минуту большого несчастья его женщина пришла его выручать. И чувствуя вседозволенность, он молча притянул ее к себе. Какой-то слабый магнит удерживал ее, отталкивал к железной, с трубами

стене, сопротивлялся его порыву. Он ощущал в эти секунды ее неподвижность, молчание, независимость и еще нежное тепло и тяжесть тела, странный азарт и интерес, какую-то почти спортивную цель. Но вот что-то бешеное, мгновенное бросало их друг к другу, и ничего уже не было ни существенным, ни важным — ни грохот лифта, ни запах хлорки и отвратительное повизгивание ржавых перил, он гнул ее вниз, словно собирался свалить на грязные ступеньки, она стелилась и выпрямлялась, будто деревце какое. И он делал с ней все и ничего не мог сделать. О, как это было вновь, как дико и одновременно счастливо, в подвальном грохоте, в бомбоубежищной опасной темноте! И не говорилось ничего, не вспыхивало дежурное слово «люблю», даже и мысли такой не было, даже и не подразумевалось, а было лишь то, что и определить невозможно. В первую очередь, наверное, томление юношеское, молодое, желание и что-то еще особенно удивительное и, может быть, даже потом никогда не испытанное: первость счастья...

А ведь не ребенок он уже был тогда. И знал квартирные закутки, и была Лиза Разина, старше его на несколько лет, переводчица. И помнилось, что в каком-то доме, деревянном, одноэтажном, около Сокольников, собирались двое на двоих: она и ее подруга и он с Валькой Рюминым. Произносили тосты и читали стихи, потом разбредались по неизвестным сумрачным комнатам, и Лиза говорила ему что-то нежное, а ему казалось: вранье, говорит просто так, слышала где-то, что так надо и принято, а сама ведь не любит, и все это дурной студенческий роман, в ожидании чего-то другого и настоящего, что потом придет, а сейчас какие-то ничего не стоящие слова, чужая комната, утоление жажды...

А потом сходились все вчетвером, чуть стесняясь друг друга и оттого развязно и громко разговаривая, включался спасительный проигрыватель, точнее — радиола пузатого немецкого «Телефункена», звучал забываемый блюз: «Мы с тобой пройдем через ресторана зал, нальем вина в искрящийся бокал, никто с тобою нас не разлучит, пускай мотив звучит».

И уходили часа в два: «До свиданья, девочки». А девочки стояли тихонькие, корректные, в аккуратных своих юбочках, недотроги, студенточки старших курсов середины пятидесятих годов. И Сергей шел домой на Кировскую, мимо Красных ворот, что-то жгло и горело внутри, ощущение временности происходящего, ожидание будущего, которое, неизвестно, лучше ли, но обязательно другое.

Потом — тяжелая дубовая дверь, светлый подъезд с ампириной гипсовой лепниной, лифт не работает, и мимо подозрительного Петра Федоровича, бессменного вахтера, всезнающего или обязанного знать «кто, откуда, куда», горбуна, еще с достопамятных времен жившего в этом доме, старом московском доме, построенном немецкой компанией в конце прошлого века. Звучали гулко его шаги, он утишал их, будто шел в разведку на задание. Мелькали наглухо закрытые массивные двери с фамилиями квартиросъемщиков, он знал эти фамилии, почти как азбуку, лучше таблицы Менделеева, там, в этих квартирах, жили его одноклассники, одноклассники, а если смотреть с сегодняшнего дня и воспринимать все с исторической дистанции, то сверстники по поколению, где они теперь: Олег Коцеев, Сережа Ломикадзе, Таня Бородакова, Юра Брауде...

Затем он выходил на последнюю площадку, дальше идти уже было некуда, это был самый верхний этаж и его квартира. Открывал дверь, стараясь все делать с гангстерской точностью и осмотрительностью, но, как нарочно, лязгал засовом или ронял ключ, входил в комнату, снимал ботинки, отец и Антонина спали, но он знал, она все слышит, все примечает, во сколько пришел, выпивши или трезв, а уж потом когда-нибудь в другом, к этому не относясь, разговор аукнется: пришел тогда-то и тогда-то, почти на рассвете, так несло, что хоть святых выноси, сильно подшофе.

«Подшофе» — вышедшее из употребления слово, из тех далеких времен, замененное ныне понятным и точным словом «поддатый».

Ложась, он вспоминал и думал: «С Лизой надо кончать, ни ей ни мне это не нужно». Видел ту комнату, голую, серую, без признаков живущих здесь людей, кровать и пыльные стулья, будто дача не в сезон, и представлялось другое, нарядное, праздничное, светлое, с тускло мерцающими корешками книг в шкафах и с тонкой незнакомой женщиной, стоявшей у окна и курившей. Да, она была тонкая, высокая и курила у окна... Он еще не видел ее толком, но знал, что полюбит.

«Мы с тобой пройдем через ресторана зал...»

...Совсем недавно, буквально года два назад, на стоянке такси на Смоленской увидел приземистую женщину, энергичную и как бы без возраста. Она охраняла порядок, справедливость, равенство всех и не пропускала какого-то нахала, нагло лезшего вперед без очереди. Потом заметила его. Отвлеклась от нахала, сказала как бы сама себе: «Да, конечно», и решительно подошла к нему.

— Сергей?

— Да.

— Ковалевский?

— Так точно.

— Не узнаете?

Он изобразил внимание, недоумение.

— Я Лиза.

«Какая еще? — подумал он. — Не помню такую...»  
Бедная, бедная Лиза.

— Вы Лиза, это так. Я Сергей, но я вас не узнаю. Вы перепутали что-то.

Она посмотрела на него туманно, с неприятной, как ему показалось, игривостью.

— Я Лиза Разина.

— Да?

Он замолчал и стал ее рассматривать, пытаться узнать.

— Да, да, Лиза.

Но узнать ее он не мог.

— Ну, и как ты живешь, Сергей?

— Да разве расскажешь? Это же ~~вся~~ жизнь.

— Дети?

— Да. Конечно. Сын. А у тебя?

— Нет.

— Ну, а вообще?

Именно «вообще», потому что не следовало задавать ответные вопросы, чтобы не прикоснуться к каким-то обнаженным проводам, чтобы не попасть в какие-то заминированные болевые зоны, из которых потом не выбраться, да и ни к чему все эти вопросы и расспросы с человеком, которого ты даже не узнал.

— Ну ладно, ладно, я ведь знаю, как это неловко и глупо, — сказала она.

— Что? — удивился он.

— Да все эти встречи с тенью.

— Почему же?

— Знаю, знаю я это. Но вот что самое смешное: ты ведь меня тогда кем считал? Ну, по-честному?

— Как кем?.. Ну, моей приятельницей, подружкой.

— Нет, не так.

— Девушкой, которая мне нравилась.

— Да что ты сейчас-то!

— Ну, своей девушкой...

— Нет, врешь.

— Ну, раз вру и раз все «нет», зачем спрашивать? Может, ты сама и скажешь?

Она посмотрела на него и вновь, как и в начале, туманно усмехнувшись, легко и даже нежно произнесла короткое мужицкое словцо. И добавила:

— Вот кем.

— Да брось, чего ты там городишь.

— А знаешь, что самое смешное,— сказала она, не слушая его.— А самое смешное, что я тебя любила, и еще как. Ты был моей первой любовью.

— Первой? — произнес он, не в силах скрыть иронию.

— Да, любовью первой... — Она помолчала и сказала, улыбнувшись: — Извини и до свиданья. И спасибо тебе за то, что ты не говоришь, будто я совершенно не изменилась.

— Да ну что ты,— ответил он.— Все мы немножко все-таки меняемся.

Она уже не слышала, повернулась и энергично побежала, махнув рукой подкатывающемуся такси.

Шел потом по Садовому кольцу и думал: «Как же это так, я ведь за все эти двадцать лет, кажется, и не вспомнил о ней ни разу, я и тогда ее не знал, а сейчас и вовсе не узнал, и лицо то ее, прежнее, вспоминаю с трудом, а о чем мы тогда разговаривали?..» За все эти двадцать лет, только когда попадал в ее края, как бы тихое эхо тех Сокольников слышалось, точнее, тогда были не Сокольники, а нынешняя Преображенка, тогда хулиганская окраина, темные домики с палисадниками, собаки, сейчас ничего не осталось, многоэтажные корпуса с универсами, будто тот район существовал в давние века, да и вообще не существовал, не осталось ничего, ни лица, ни слов, только само сочетание имени и фамилии, как позабытый код: «Лиза Разина». А еще, помнится, она учила испанский язык. И не забыл также, что говорила: «Как трудно устроиться на работу с испанским языком». И чуть выпив порвейну, она читала Гарсиа Лорку, все один и тот же «Романс о черной жандармерии», и говорила, что никогда ей не быть в Гренаде.

Но тогда, в больнице, в подвале, все было счастливо, празднично, и, целуя свою новую и единственную теперь женщину, он решил уже про себя: «Да. Это. Надолго. Навсегда».

Теперь она приходила каждый день. И каждый день до самоистязания обнимались они в этом грохочущем, затянутом паутиной, пахнущем плесенью закутке, но не было ни стыда, ни страха, и легко и радостно было смотреть друг на друга, когда она выходила и стояла около открытой двери. Оттуда тянуло запахом воли и весны.

Когда он приходил в палату после этого, то хотелось разговаривать со всеми одиннадцатью ее обитателями, в том числе на главные темы, которые обсуждались в эти дни в палате. А темы эти были такие: а) установка в женском отделении телевизора с линзой; б) главный хирург Дмитрий Павлович, который, по общему мнению, все мог и все умел, вот уже неделю не появляется в больнице. (И поговаривают — правда, это держится в строгой тайне, — что у него инфаркт. Поэтому все,

кто хотел именно к нему на операцию, приуныли.); в) сквозняки в палатах и незаклеенные окна; г) результаты футбольного сезона и степень подготовленности нашей сборной к первенству мира в Стокгольме; д) унылое однообразие гарниров в больничной столовой; е) женщины, женщины вообще, женщины данной больницы, в том числе представительницы медперсонала, а также находящиеся в данный момент на излечении.

И, наконец, последнее, свежее: странная судьба девушки Зины, три дня назад доставленной в приемный покой.

Когда он приходил, рыжий Сашка, рябой мужик, грузик, лежащий с ущемлением грибки, хмуро по-маргавая, понимающе скалясь, говорил:

— Ну, как там... Какая перспектива на любовном фронте? Смотри, как бы не накрыли... за этим самым.

В старые времена, может быть, он бы и оскорбился на такую пошлость, дал бы по морде обидчику, посягающему на святая святых, но сейчас никакого оскорбления, никакого душевного протеста и обиды он не чувствовал. Эти разговоры не имели ровно никакого отношения к тому, что происходило в его жизни. Это был другой язык, обозначающий именно то, чего не хватало сейчас этому здоровому парню.

Девушку Зину он увидел на следующий день.

Все смотрели популярные в те годы студенческие КВН, где сообразительные и стойкие одесситы состязались в смекалке с дисциплинированными технарями из политехнического. То было время студенческих ревью. Театра МЭИ и прочее и прочее.

В холле сидело множество людей в серых байковых халатах и пижамках, смеялись, а палаты, где стонали тяжелые, были на этот раз плотно закрыты.

Где-то позади всех сидела девушка с удивительным лицом. Было даже трудно определить, чем поражаало это лицо. Да и неправильно сказать «поражаало». Точнее, заставляло обернуться и долго в него всматриваться. И когда он ее впервые увидел, вернее, разглядел, то оно отложилось в его недлинной памяти в ряду нескольких лиц, поразивших его красотой. Он их помнил наперечет: девушка в Севастополе, она стояла в очереди на Морском причале, ждала катер на Омегу. Красавица? Опять не так. Просто лицо, лик, поразивший чистотой и нежностью, овалом, хотел бежать за ней,знакомиться, кадрить, но посмотрел на это лицо, и не смог подступить. Помнил еще одну, в Костенках под Воронежем, на студенческой практике, на «мотаниях» около деревенского клуба. Девочка лет 15—16. И тогда тоже, не смея подойти, он застыл в изумлении: драгоценно, небесно светились прозрачные, еще ничем не замутненные глаза. Таких, как эти две, он видел лишь в альбомах эпохи Возрождения. Они белели лбами венецианских мадонн. Вот из такого-то короткого ряда было и лицо Зины, находящейся на излечении во второй хирургии.

Так же, как и все остальные, она тянулась к свету голубоватого маленького квадратика, увеличенного выпуклой линзой, отчего изображение приобретало слабый водянистый венчик. Темный ее зрак, как бы отразившийся в этом веселом квадратике, был неподвижен.

Она сидела тихо, незаинтересованно, мертво опустив руки на колени, а колени ее были закрыты чем-то темным. Иногда она откидывала голову и поводила плечами, и тогда вся ее фигура отплывала назад. Она сидела в кресле-каталке.

Она не могла ходить. Как грохотилось встарь, «обезножела». Это не было следствием долгой болезни, у нее не были нарушены в результате каких-то сложных процессов двигательные функции.

Просто она переломала все свои косточки, выбросившись из окна.

Вот эта история в передаче сестер.

Познакомилась с двумя какими-то. Один то ли артист, то ли учится на артиста. Играет на музыкальных инструментах. Даже, по ее словам, показывал ей этот музыкальный инструмент в черном футлярике. Вроде флейты.

Второй был не артист, а просто так, приятель. Ребята были как ребята, одеты были небогато. Зина им очень понравилась. Произвела впечатление. Познакомились. Пошли в кафе «Русский чай» на Кировской. А там и выпить не дают. Один из них говорит: «Пойдем напротив, в «Сатурн». Там есть парень-джазист свой, устроит». Но парня того не оказалось. В ресторан не попали.

И что теперь делать?

Артист говорит: «Пошли ко мне». Неартист поддерживает: «Давайте посидим, музыку послушаем, поговорим». И она, рассказывают сестры, была в смущении. Сомнения у нее возникли. Идти так сразу — нехорошо, неверно. А не идти — жалко, интересные ребята, она еще таких не знала. И все-таки решила — не идти. Пошли в общественное место. Потоптались у порога и не попали. Тогда артист снова приглашает и, не дождавшись ответа, бежит в «Гастроном». И все делалось так, без ее согласия, но будто бы она уже согласилась. Приехали домой. Все нормально. Завели музыку. Разговоры. «Где ты учишься?» А она нигде не училась. Бросила. Потом она танцевала сначала с одним, потом с другим. Они снова предлагали выпить. Она отказалась. Они сами. Оказалось, у них еще бутылочка была, кроме того, что в «Гастрономе» купили. Потом вышли из комнаты и начали с чем-то спорить. Это ей уже не понравилось. Затем один, неартист, вернулся, они стали танцевать, но все уже было не так, как раньше. Он опьянел, полез к ней. Она оттолкнула его.

На суде потом он утверждал, что она нанесла удар в лицо. Ей было странно слышать: «нанесла удар». Просто хлопнула его ладонью по щеке.

Он начал ругаться, кричать:

— Ты что, девочка, что ли?

— Да, девочка, — она ответила.

— Ну, тем более, пора начать.

Тогда появился второй. Он был настроен более мирно:

— Ну и черт с ней, пусть катится.

Но первый стал орать на него... И тот полез тоже. Они оба лезли. И угрожали. Ей показалось, что они ее убьют. Тогда она решила схитрить:

— Ладно, я согласна, только вы уйдите из комнаты. — Хотела запереться. Но они, конечно, никуда не ушли.

Она стала быстро ходить по комнате, подошла к окну. Увидела: этаж третий, вроде невысокий. Она этого не боялась. Она не боялась высоты. Она боялась их. Девушка-спортсменка, разрядница, гимнастка. Вспрыгнула на подоконник, обернулась к ним и крикнула:

— Чао, дураки!

Она помнит, что земля подбросила ее, как будто она прыгала на батуте, тельо батут был железный. Тем не менее встала и пошла. От этих двух идиотов подальше, подальше.

И тут услышала пронзительный женский крик:

— Девушка выбросилась...

И тогда она села на землю, на асфальт. Хотела встать, чтобы никто ее здесь не видел. Но не встала.

А сейчас она сидела молча и смотрела КВН.. Одесситы были находчивее, москвичи веселее.

Потом еще он видел ее в мертвый, послеобеденный час. Она ждала кого-то. Приходил человек, высокий, с военной выправкой, в спадающем с прямых плеч халате. Он внимательно наклонялся к ней и все спрашивал, спрашивал. Она отвечала вяло, неохотно. Потом он ушел, а ее увезли в палату.

— Следовательно, — сказала дежурная сестра с уважением, с сознанием важности происходящего.

Мнения у медперсонала разделились. Правильно ли сделала Зина? Может, уступила бы и была бы, значит, с руками и ногами, как все. Другие же сестры с этим категорически не соглашались, считали, что она поступила, как должна была поступить. Честь дороже. Единства во мнениях не было. Но все сходилось на одном: жалко девушку. Тем более такая красивая. Выходит, от красоты и страдает. Варная получается поговорка: «Не родись красивой...»

Несколько раз Сергей разговаривал с ней. Она говорила медленно, трудно, будто с усилием возвращаясь из далекого отсюда мира.

Однажды он рассказал ей какой-то студенческий анекдот, привезенный с целины. Она рассмеялась. Смеялась долго и с наслаждением. Улыбка у нее была детская, простоватая. И шербинка в зубах тоже была детская. Когда она улыбалась, он подумал: «За что же так?..»

В день своей выписки, в счастливый сей день (ожидаемая выписка, собирая пожитки, сдавая казенное, названивая из автомата домой, сообщая, так сказать, сводку последних известий), он счастья не чувствовал — оно только смутно угадывалось. И сейчас еще его лицо сохраняло специфически больничное выражение, сугубо озабоченное и деловое, лицо человека, который должен поспеть на физиотерапию, подготовиться к какому-нибудь там промыванию или прочищению или «сачкануть» с данной процедуры, чтобы продумать себе культурные развлечения, занять место перед телевизором, очередь на партию в шахматы, который должен не забыть заскочить на секунду и в женское отделение, увидеть, что там происходит...

Вот так выглядел он, именно озабоченно-деловым, а не счастливым и уже парящим надо всем этим.

Он простился с многочисленными своими соседями, с персоналом, со всеми, с кем можно было проститься, почему-то ему захотелось проститься и с ней, с Зиной. Он заглянул в ее палату. Соседки ее сказали, что она на операции. По громким голосам сестер, уборщицы, по полуоткрытой двери в операционную он понял, что там уже все кончилось.

Он догнал Зину в коридоре. Ее везли на каталке. Лицо ее открыто. Не было на нем следа боли, страдания, но, казало, не было и следа жизни. Белое лицо покоилось на жесткой подушке.

— Зина, — с ужасом сказал, а может быть, даже крикнул он.

— Ты что голосишь, человек после операции, — сказала ему сестра.

— Да она, она, вы посмотрите, — проговорил он, боясь еще раз взглянуть на ее лицо.

— Ну что она, — сказала сестра и прикрыла Зинин подбородок простыней. — Нормальное дело, после наркоза.

Он все еще не понимал, не верил, казалось, сестра обманывает, и он наклонился над нею. Дви-

жение застопорилось, кто-то стал отпихивать его, а он все всматривался, ища дыхания.

— Да что это? — бормотал он.

Белая тележка уже скрылась в палате, и он остался один в коридоре. Потом он подошел к ее палате и видел, как ее устраивали, так, чтобы голова лежала достаточно высоко, и как рядом с ней устанавливали капельницу. «Да, она жива», — впервые за эти беспорядочные и долго летящие мгновения понял он и стал спускаться по лестнице вниз. Он шел, держась за перила, чувствуя, как ослабели все-таки ноги за месяцы лежания, слышал голоса людей, стоявших у телефонов-автоматов на холодных площадках. О чем они просили? Кого ждали? О чем договаривались? Слышались звяканье монет, клацанье рычажков и, как один, все время продолжающийся, только на разные голоса, мерный разговор.

Спустился вниз, мимо белых, наглухо заклеенных окон второго этажа, в белый стеклянный коридорчик первого, мимо громко рычащей, всегда озлобленной вахтерши с пропусками, еще шаг, и последний автомат у дверей, автомат полусвободы, холл, справочное окошко, а там уже двор, снующие больничные пижамы, парк, оглушающий вдруг голосами, ветром, стуком домино, и навстречу идет она, его женщина.

Он разглядывает ее так, будто видит впервые. И, действительно, впервые в нормальную величину: не из окна вагона, не с высоты шестого этажа, не в больничном подвале. В самом деле, впервые.

— Да, вот так, — зачем-то говорит он, забывая другие, секунду назад горевшие слова. Перед ним еще та палата, капельница, лицо Зины, не лицо, точнее, а маска, гипсово-неподвижная, и он говорит: — Девушку ту оперировали. Кажется, она жива.

— Да все будет в порядке, и ты сейчас забудь об этом, просто забудь, — тихо, материнским таким голосом отвечает его женщина.

Его успокаивает этот тон, и он действительно начинает забывать. С каждым шагом он помнит все меньше.

— Вот так, конечно, — говорит она и забирает у него сверток с вещами.

Он догадывается, что она ждет, когда он ее обнимет. Он ее обнимает, и они долго идут по парку. Больница остается позади, ее прямые кирпичные корпуса сереют над деревьями, он поворачивается, останавливается, что-то прикидывает, вычисляет, ищет окно своей палаты, окно Зининой.

— Прощайся, прощайся с больницей, и хватит об этом, ты уже здоровый, посмотри на себя.

— А как я посмотрю на себя, — бормочет он и вглядывается и будто бы находит квадратик того окна.

— Город такой праздничный. Мы с тобой пойдем в центр... Будем гулять, — говорит ему его будущая жена.

— Почему? — спрашивает он. — Почему он такой праздничный?

— Ты совершенно там оторвался от жизни, ты с Луны, что ли, свалился? Скоро фестиваль! Первый в Москве Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

*(Окончание следует.)*



## АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

☆☆☆

И ничто не останавливается...  
Все так же падает Пизанская башня,  
и спортсмен уходит на своя круги.  
Все так же стоит жаворонок над пашней,  
как на вершине водяной струи.  
И это так очевидно, что я думаю:  
ведь когда-то должен кончиться пружинный завод

воды в природе,  
лесов в деревьях,  
глаз в глазницах...

Ведь всего лишь за год  
мы вырастаем настолько,  
что далекое становится близким,  
а близкое уже не представляет интереса.  
И ничто не останавливается... Железо  
постоянно меняет свои формы,  
и в нервы превращается трава,  
и все глубже уходит в землю корни,  
и все чаще о небе  
думает голова.

☆☆☆

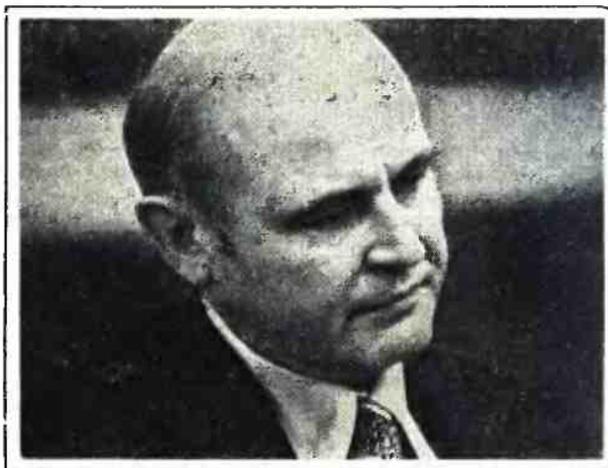
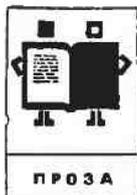
Привязан я к тебе —  
как страшно!  
Как страшно, если ты уйдешь,  
и с высоты прекрасной, но вчерашней  
сверкнет печали  
обоюдоострый нож.

Я буду источать тогда, как дерево,  
молчанья воду, капли глубины.  
Как страшно!  
Нам с тобой доверены  
печати собственной вины...

Привязан я к тебе!  
Как странно...  
И как обрывок телетайпной ленты  
уходит поезд...  
Непрестанно  
я покулаю на него билеты,

и непрестанно ищу причины опоздания,  
и, как всегда, их нахожу...  
И оставаясь в прошлом доме,  
как страшно быть величиною мироздания,  
которую другое мироздание  
держит на ладонь.





РАССКАЗ

## ЗА СЕНОМ

**П**ричудлива человеческая память. Одни события будто прикрывает легкой дымкой, и ты не знаешь, было ли это на самом деле или тебе только пригрезилось, а другие сохраняет в такой незамутненной ясности, что кажется, все случилось только вчера, хотя прошли десятилетия.

До сих пор не знаю, было ли это. Иногда чудится, что был сон. Проснулся ты от необъяснимого волнения, только сейчас с тобою происходило что-то тревожное, светлое. Лежишь, прислушиваешься к себе, силишься вспомнить, а уже в твою комнату новый день ворвался, вокруг тебя огромный, бесконечный мир, и ты в нем не песчинка, а его центр, его ось, и от этого твоя необъяснимая тревога разгорается, как пожар на ветру...

Вот такой мне вспоминается одна история, которая произошла давно. В ней словно два слоя: один верхний, зыбкий, похожий на сон; другой глубинный, реальный, где я отчетливо помню все: и даты, и лица, и даже отдельные фразы.

Только что пережили войну, которой, казалось, не будет конца и края. Мне шел семнадцатый, однако, я давно считал себя взрослым, так как третий год работал и на моем иждивении была мать и младший братишка. Жили мы в рабочем поселке разоренного Сталинграда. Почти полгода война перекатывалась через нас, рушила, жгла, убивала, и вот теперь, когда она догорала в далекой Германии, мне казалось, что нигде во всем свете так не ждут победу, как в нашем поселке. Ее ждали каждый день. Вот сегодня, вот завтра... вот возьмут Берлин...

И все же день Победы пришел внезапно. Начался он с отчаянного стука в окно.

— Вставайте! Война кончилась! — всполошенно кричал наш сосед Егорыч.

И вспыхнул ослепительный свет, зашлось сердце: «Кончилась! Кончилась... кончилась... Наконец-то...»

А потом длинный день 9 мая шел из двора во двор по всему поселку под гармонь, пляски и песни во всю глотку, режущий по живому истощенный крик женщин и детей. Помню красные, разгоряченные лица, хмельные объятия и разговоры, разговоры, будто люди хотели выговориться сразу за все четыре года войны, в которые только работали, страдали и ждали. Ходили из дома в дом, и везде одно и то же: песни, крики, слезы.

К вечеру вернулись домой. Сидели за красным от винегрета столом. Устали от радости, слез, переговоров обо всем, всех вспомнили, всех помянули. В нашей семье из воевавших остался в живых отец, но три года нет вестей от моего старшего брата Погиб папин брат, погибли Пога маминных брата.

Рядом сидят наш дедушка, мамин отец, и сосед Егорыч. Они пьют разведенный морсом спирт. Егорыч, выставив, как пику, негнущуюся ногу, ошалело кричит мне: — Андрюха! Шабаш войне. Шабаш! — и тут же без перехода запекает: — Броня крепка, и танки наши быстры!

После этого залпа он роняет голову на стол и забывается, а через несколько минут вздрагивает и опять глушит всех:

— Шабаш! Сдохла! Шабаш войне! Броня крепка, и танки наши быстры!

И вдруг из-за стола поднимается дедушка и идет к комоду. Я впервые вижу, какой он старый. Лицо, как земля, в глубоких бороздах, плечи сохлились, красные глаза слезятся. Трясущимися руками достает он из железной коробки похоронки и, повернувшись ко всем нам, шепчет:

— Как же можно! Как же-е-е...—Его рыдания переходят в задавленный стон, и мне становится страшно. Вот сейчас он задохнется и упадет.— Зачем обо-и-их-то-о-о... Ведь только два и бы-ы-ло-о...

Вот так и запомнилось мне 9 Мая. Кажется, и сейчас слышу хрип и плач нашего дедушки...

А история эта случилась позже, через два года, но она тоже имеет отношение к тому дню Победы. Тогда я уже не работал, а учился в институте.

Шел сорок седьмой, второй год без войны. Явился он к нам, на Нижнюю Волгу, в еще не отстроенный Сталинград с сильными ветрами, крепкими морозами, от которых трескалась бесснежная земля. Весна тоже не порадовала. В мае грянула жара, а потом, как из мартена, задули заволжские суховеи... Все ждали голода.

Сосед Егорыч торопил меня:

— Бросай ты свои книжки-тетрадки. Не до них сейчас...

Еще с весны мы уговорились ехать на заработки в колхоз. Егорыч в сорок четвертом вернулся по ранению и с тех пор слесарил в авторемонтных мастерских, но как только наступало лето, брал отпуск, и уезжал в село, и там всегда хорошо зарабатывал. Без этих заработков он не прокормил бы свою семью. А она у него немалая: трое ребятишек, теща-старуха и жена-домохозяйка.

— Пять душ на одной шее. И все есть просят,— собираясь в деревню, говорил Егорыч.— Вот тут и поворачивайся.

На этот раз у Егорыча была идея организовать свою сенокосную бригаду и заработать «кучу денег». Для бригады ему нужен был всего один человек, и он нацелился на меня. «Куча денег» вошла и в мои планы. Хотя наша семья была и поменьше Егорычевой, но три иждивенца на одного работника тоже обуза порядочная.

Еще весной начал досрочно сдавать зачеты, а к июню рассчитался с экзаменами, и мы отправились в колхоз на Дон, где у Егорыча уже все было «на мази». Последнее означало следующее: колхоз выделял нам пару лошадей — заезженных кляч, косилку-лобогрейку и разбитые конные грабли, которые ремонтировали сами. Расчет такой: работаем на колхозных харчах и получаем одну десятую заготовленного сена.

— И все-таки здесь выгоднее, чем на заводе или стройке,— заговорщически подмигивал мне Егорыч.— Во-первых, дома наши карточки.— Он загибал палец на черной от вьезшихся железных опилок и масла руке.

Я соглашался. Действительно, в нашей семье оставались мои хлебная и продуктовая карточки. А это каждый день твердых четыреста граммов хлеба и какие-то там граммы «приварка», который, правда, заменялся: мясо — на селедку, сахар — на повидло, жиры — на крупу и т. д.

— Во-вторых,— Егорыч гнул другой свой палец к широкой ладони,— одна десятая — это тебе не хухры-мухры, а очень приличная плата. За лето мы, как пить дать, заработаем по две, а то и по три машины сена. А это на базаре ты знаешь что?

— Куча денег, какая нам нужна,— весело выкрикивал я.

А Егорыч распаял себя дальше.

— Да мы с тобой, студент, заработаем столько, что нам и зима будет не зима. Только продать — не промахнуться... Знаешь, в какой цене сено по этому году будет? — И он, закрыв глаза, задерживал дыхание.— Вязанка полсотни! Ей-пра, не меньше...

Некоторые слова Егорыч сокращал, будто выгадывал время для работы «Ей-пра» означало: «Ей-богу, правда».

И все-таки мудрый Егорыч промахнулся. Нет, не в продаже, а в нашей работе.

В тот год в лугах почти не было травы. Поднялась она всего на четверть, и ее сварила жара. Егорыч с давался. Прямо трехжильный мужик, с утра до вечера как заведенный. Я еле тянул с ним в паре. Он загнал и лошадей и меня, сам работал без передышки.

Бодая негнувшейся ногой тощие пыльные валки, Егорыч кричал:

— Разве это сено? Срамота! Давай на новое место!

Мы шастали с лобогрейкой по низинам, ложкам и балкам, даже залезали в овраги, кое-где косили вручную, но смогли сметать только десятка полтора жиденьких стожков. И это почти за все лето!

Несколько раз к нам наведывался председатель колхоза, качал головой и говорил:

— Как на погорелье.— И уезжал.

Наконец он сжалился над нами:

— Ладно, забирайте свою машину и катите. Вы ее заработали, хотя это никакая не десятая часть...

Можно было радоваться великодушию председателя, тому, что кончилась наша запальная и бестолковая работа, но радости не было, а была тревога и какая-то жалость к себе. Было жалко потерянному лету, жалко вконец измотавшегося Егорыча, жалко, что так вышло. Всего одна машина сена никак не покрывала ни моих нужд, ни тем более прорех Егорыча.

Гадали и прикидывали мы всяко. Даже если удастся продать наше сено за две тысячи (королевская цена!), прибавка к моей стипендии, составлявшей 220 рублей, оказывалась мизерная.

— Можно придержать сено до баскормицы,— рассуждал Егорыч,— и тогда пойдет вдвое... Но до весны и сам ноги протянешь. Нет,— решительно обрывал он себя,— надо что-то делать сейчас. Сейчас же...

А я знал, что сделать уже ничего нельзя. Отпуск Егорыча давно кончился: и его очередной и тот, что он брал за свой счет.

Мои каникулы тоже пропали... Надо было возвращаться, доставать машину и везти сено на продажу.

И мы вернулись.

— Через неделю будет машина, и мы едем за сеном,— сказал мне Егорыч и пропал на дома.

Я спрашивал у его жены и старухи тещи, где Егорыч.

— На работе! — сердито отвечали они и смотрели на меня недобро, будто я и был причиной того, что Егорыч не жил дома.

Но вот ровно через неделю, сотрясая улицу, к их дому подкатил огромный, похожий на открытый вагон трофейный грузовик. Он издавал такой рык и грохот, что в окнах дребезжали стекла.

Во двор к нам влетел семилетний Васек, сынишка Егорыча, и прокричал:

— Вмиг собирайся! Батяня наказал.

Скоро я разглядывал чудо-машину. Низкий широкий кузов, громадная кабина, на массивном пе-



реднем бампере по краям две стойки с ярко-красными наконечниками. Назначение стоек я никак не мог определить, а они-то больше всего занимали меня.

— Видал, какого я «Гитлера» «внуздал».— Появился улыбающийся Егорыч и игриво пнул ногой скат грузовика.— Как думаешь, сколько нагружить на такого чертолома?

— Да мы же там все сено заберем.

— А чего? — подмигнул Егорыч.— Все равно одна машина.

— Где же ты его достал?

— Там уже нет,— довольный собою, ответил сосед.— Тут, брат, целая история, долго рассказывать...

Но я и сам теперь догадался, где последние дни пропадал Егорыч. Конечно, он ремонтировал эту колымагу.

В сорок третьем, после разгрома немцев, Сталинград был запружен трофейными машинами. Тогда по расчищенным от завалов улицам сновали автомашины всех марок, из всех стран Европы: и «мерседесы», и «фиаты», и «рено»... Но уже к концу войны они почти исчезли. Не было запчастей, резины, и их отправляли партиями в металлолом.

«Гитлер», наверное, последний трофейный грузовик во всем городе, и Егорычу было чем гордиться.

— Егорыч, а это зачем? — не вытерпел я и указал на стойки.

— Полежай в кабину и погляди сверху,— загадочно улыбнулся он.

Поднялся и ахнул. Кабина походила на рубку, и я почувствовал себя капитаном. Яркие наконечники стоек на бампере указывали габариты корабля. Гляди, какие удобства шоферу!

Водитель не глушил мотора, словно боялся, что не заведет его заново, и вся посудина тархтела и сотрясалась, как грудa железа.

Ехать нужно было километров девяносто по проселку, и поэтому двинулись сразу же, чтобы засветло добраться до места. Но засветло не удалось. В дороге «Гитлер» дважды намертво глох, и Егорыч с шофером по часу копались в моторе.

Наконец, видно, уже в полночь добрались до деревни, где и остановились на ночлег у знакомых Егорыча (у него они были везде).

Машины поставили перед воротами, вошли в просторный дом и уже через четверть часа сидели за позорным ужином. Мои спутники напрочь застряли за столом, а меня выручила дочка хозяина Люся, которая только что вернулась с улицы. Люся в этом году окончила десятилетку, сдавала в медицинский, но срезалась на первом экзамене, плохо написала сочинение.

Обо всем этом она рассказала мне легко, посмеиваясь над собой, но с твердой уверенностью, что она обязательно поступит в институт на будущий год, потому что «теперь знает, как это делается». Естественно, на меня, студента, она смотрела, как на пришельца из другого мира, из того неведомого и загадочного, куда сама собиралась шагнуть, да по своей же глупости оступилась.

...Мы вышли из дома. О чем говорили, не помню. Но не так уж трудно представить разговор юноши из города и семнадцатилетней сельской девушки, встретившихся впервые.

Сидели в широченной кабине «Гитлера» у дверок, а между нами еще добрый метр. Как только я начинал сокращать это расстояние, Люся сразу распахивала дверцу и с легким цокотом ставила на под-

ножку свои аккуратные «танкетки». Я считался небробким парнем — четыре года самостоятельной жизни что-то значили, — однако так и не смог преодолеть тот проклятый метр в кабине «Гитлера».

Поняв, что не все берется напором и смелостью, я уже не воевал за пространство между собой и Люсей, а только держал ее за руку и говорил, говорил.

Все забыл: забыл, о чем мы говорили, забыл ее лицо, глаза, волосы... Но до сих пор помню ее руки, не по-девчьи твердые, крепкие и сильные, помню налитые и в то же время нежные щеки. И помню свои ощущения. Со мной такое происходит часто.

Иду по парку, и острый запах свежескошенной травы вдруг возвращает меня в детство...

Бабушка подняла меня с постели, сунула в руки узелок с завтраком для деда. Он косит за речкой, и я, ежась от утренней прохлады, бегу по мокрой холодной траве. Это было так давно, что я уже забыл тот случай и, наверно, никогда бы о нем не вспомнил, если бы не дурманящий запах свежескошенной травы на газоне, через который только сейчас прошел. Вот так ко мне приходит, казалось, навсегда забытое.

Мы и просидели-то с Люсей, может, час, а может, полтора. Я держал ее руку, а когда хлопнула в доме дверь и стали выходить шофер, Егорыч и хозяин, я рванулся к Люсе, неловко поцеловал ее куда-то возле уха, она тоже на мгновение прижалась ко мне и выскочила из кабины.

Выскочила и растаяла в синеватой дымке нарождающегося утра...

Потом, когда мы поехали, я долго ощущал благодарное чувство встречи с человеком родниковой чистоты, от соприкосновения с которым сам становишься и чище и значительнее. Хотелось все время благодарить этого человека не словами, а тем все понимающим взглядом, каким посмотрели друг на друга, когда в доме хлопнула дверь и мы поняли, что расстаемся; хотелось сказать спасибо за то, что она удержала меня на той черте в кабине-рубке грузовика и наша близость не исчерпалась, а осталась в нас и вот теперь разлилась в трепетное чувство ожидания новой встречи, которая будет неведомо когда, но будет обязательно...

Этими чувствами я жил все утро. Мы приехали в колхоз, постояли у правления, потом двинулись в поле, начали метать сено из стожков в кузов «Гитлера». Вся работа будто шла в прорыв, как-то мимо меня. Сначала я со стога кидал навильники вниз, в кузов, потом подавал сено вверх, слышал голоса Егорыча, шофера, что-то им отвечал, но все это происходило с кем-то другим, а я плавал в той синеватой дымке утра и улыбался славной девушке.

А неугомонный Егорыч все кричал и кричал нам сверху:

— Киньте, ребята, вот тот пластик сенца. Киньте!

Рядом со мною, засыпанный трухой сена, сердито взмахивал вилами шофер.

Как и меня, его заливал пот, а Егорыч не давал нам и вздохнуть:

— Еще, ребята, еще подайте... Ну...

И я как угорелый подавал и подавал сено Егорычу, а сам все прощался там, в кабине «Гитлера», с милой девушкой Люсей и никак не мог с нею проститься.

Наконец после сильной перепалки Егорыча с шофером мы подали ему гнет — огромное бревно и веревки. Шатайся, как пьяный, я отошел от грузовика и был поражен его размерами. Как же эта машина сдвинется с места?

Потом завтракали, заправляли «Гитлера» горючим, доливали в радиатор воду, готовились в обратную дорогу, а я все еще не мог прийти в себя. Громадный грузовой, похожий на самодвижущийся стог, стал медленно выбираться на дорогу...

Большой, сильный и счастливый, я лежал на вершине стога-перины и думал о самой прекрасной девушке. Кто она? Что делает сейчас? Встречу ли я ее когда-нибудь? С этими мыслями я, видно, и задремал.

Проснулся от истошного крика Егорыча. Он стоял метрах в десяти от машины сбоку дороги и вопил:

— Го-о-р-им! Батюшки, го-о-р-р-и-и-и!

Я перевел взгляд с Егорыча на сено и увидел, как языки пламени охватывают мой стог-перину.

А Егорыч уже кричал мне:

— Прыгай, шалопут! Прыгай!

Пока я сообразил, что к чему, огонь уже плясал вокруг. Оставался один путь — через верх кабины, где еще был просвет. Туда я и нырнул вниз головой, как в воду. Больно ударившись грудью и подбородком о крышу кабины, скатился на капот и тут же, осыпаясь искрами и жаром яростно горевшего сена, свалился на землю.

«Гитлер» рванулся через канаву в поле и разрастающимся огненным шаром покатился прочь.

Через минуту из этого шара выскочила темная фигура водителя и мячом запрыгала по пыльной пересохшей траве. Огненный стог прокатился еще метров тридцать и вдруг, обновленно вспыхнув, стал разваливаться на полыхающие островки. Тут же мы услышали взрыв бензобака. Теперь огненный смерч, высоко взметнувшийся в небо, как гигантское рваное полотнище, с грохотом трепетал на ветру. От него отрывались красные куски, они мгновенно рассыпались, засеяли огнем степь.

Все это так меня поразило, что я не мог раскрыть рта и только ошалело смотрел.

Егорыч и водитель отчаянно метались по степи и, ставив с себя рубахи, сбивали пламя, а я не мог сдвинуться с места, раздавленный разразившейся катастрофой.

...Старый немецкий грузовик горел долго. На дороге останавливались автомашины, и люди с лопатами и фуфайками в руках бежали к нам помогать тушить степь. Благо, вокруг почти не было травы, и нам удавалось сдерживать проворные змейки огня. Они с треском, но уже обесиленно порхали по пересохшему редкому бурьяну и ломкой полыни. Лишь иногда пламя перескакивало на белесые кулиги ковыля, и тогда огонь, казалось, вновь набирал силу. Но кулиги, ослепительно вспыхнув, тут же гасли.

Степь уже не горела, унялся огонь и над «Гитлером», но от него разлило таким жаром, что нельзя было подойти.

Перепаханные в сажу, мы молча смотрели, как догорает вонючая резина скатов. С раскаленного остова машины, взметая снопы искр, время от времени на черную землю падали янтарные куски сгоревшего сена. И только Егорыч суетливо бегал вокруг и причитал:

— Батюшки, да что же это... что ж будет теперь, что же будет? Ведь тюрьма. Ей-пра, тюрьма...

Водитель сгоревшей машины подавленно опустил голову и отвернулся. Прибежавшие с дороги к нам на помощь люди стали расходиться, незлобно ругая человеческую жадность и беспечность. Для всех было ясно: пожар произошел от искр из выхлопной трубы.

— Сбычное дело, — сказал один из шоферов, —

машина старая, а тут еще нагрузили выше ноздрей... Эх-хе...

Я ощутил такую усталость, что тут же сел на землю и долго не мог подняться. «Гитлер» догорал, а вместе с ним догорало и во мне что-то. Я знал, что отпуск Егорыча, мои каникулы, наша «куча денег» развеялись дымом. Знал, что впереди тяжелая голодная зима, но не это пугало меня сейчас (зима будет потом, еще не скоро)...

Меня охватили тревога и страх. Боже, что же делать? Сгорело все: и та благостная ночь и то синее утро, которым я жил весь сегодняшний день, исчезла милая девушка Люся. Остался черный пепел.

Мне так и думалось все эти годы. Казалось, что образ славной ночной знакомой действительно сгорел в моей памяти бесследно там, в степи. Пожар помнил долго. Несколько раз рассказывал о нем, а потом и его забыл. Но о встрече с Люсей не вспоминал никогда.

А вот теперь она вдруг вспомнилась, неожиданно выплыла из каких-то глубинных тайников и воскресила и саму поездку, и пожар, и мои зыбкие юношеские чувства. Явилось сразу все, будто из вчера, и только образ девушки проступает затуманенно, словно через легкую дымку. Я и до сих пор не знаю, что это было. Иногда мне кажется, она и впрямь явилась мне во сне, но во сне необычном, почти волшебном, какие бывают только в детстве.

На этом надо бы и кончить, и тогда рассказ не был бы печальным. Но здесь обрывается только верхний, романтический слой этой истории, а ее глубинный, связанный с Егорычем и нашей тяжелой послевоенной жизнью, имел свое продолжение.

Зима сорок седьмого — сорок восьмого была жестоко голодной. Еще голоднее, чем военные зимы. Нас спасла мороженая картошка, которую в вагонах привезли из Казани и других городов Поволжья на заводы и раздавали рабочим. Отец получил три мешка, и мы ее по крохам добавляли к пайку. Каждое утро мать вносила в солдатском котелке отца звенящие картошки и высыпала их в холодную воду. Пока мы умывались, собираясь на работу, в институт и школу, клубни оттаивали, и мама тут же терла их с кожурой на терке, добавляла горсть муки или отрубей и пекла оладьи. Из мороженной картошки они выходили сладкие, и мы ели их, запивая ячменным кофе. А хлеб, полученный по карточкам, оставался на обед и ужин.

В семье Егорыча было голоднее, чем в нашей, и он в ту зиму заболел.

Сначала у Егорыча из ноги выходили осколки, и его положили в госпиталь инвалидов войны. Но осколки вышли, а Егорыча не выписывали.

Я навещал его, и каждый раз меня пугал его вид. Будто в Егорыче образовалась невидимая губительная течь и через нее неудержимо уходит жизнь.

— Тает, как свеча, — тихо плакала в коридоре госпиталя его жена. — Ведь от него половина осталась...

Меня он встречал вымученной улыбкой.

— Ну как, студент? Как книжки-тетрадки... Грызешь...

— Грызу... — И мое горло сжимали спазмы. Егорыч смотрел на меня строго и, видя, что я могу заплакать, сердито прикрикивал: — Ты брось. Слышишь, брось! Мы ведь с тобою, Андрюха, опять летом поедем за сеном. И заработаем кучу денег...

Я кивал, а он, сделав усилие, точно после бега,говорил:

— А как же. Обязательно. Ведь, кто нас подвел? «Гитлер»! Он, нечистая сила. Он... Ей-пра...

Койка Егорыча стояла у окна, и он всякий раз перед моим уходом долго смотрел на голые деревья. Я стоял и ждал.

— Вот как они станут оживать, и у меня все на поправку пойдет. Мне только до первых почек дотянуть... Ты не сомневайся. Скрипучее дерево долго живет...

А я видел, что Егорыч не жалец. Заострившийся восковой нос, впалые серые щеки и тусклый, неживой свет в глазах не могли меня обмануть. За войну я слишком много видел людей с такими лицами. Они уже не поднимались.

Однако Егорыч не такой, как все. Он мужик железный и, наверное, на одном своем упрямстве дожил не только до распутившихся почек, но и первой зеленой травы и листьев на деревьях. У него уже все пошло на поправку: и голос окреп, и в руке, которую он подавал, почувствовалась сила, и глаза зажглись, но вдруг весенней ночью внезапно остановилось сердце.

«...Отказал мотор»,— сказал бы сам Егорыч.

Больно ударила меня эта смерть. Она пришла отсюда, с войны, где все было болью и несправедливостью. 9 мая мы верили, что похоронили ее. Я вспомнил, как Егорыч ошалело выкрикивал: «Все, сдохла! Шабаш!» И все думал тогда, что это последние наши слезы и последняя боль. А вышло не так.

Хоронила Егорыча вся улица. Люди шли на кладбище и негромко говорили, что покойник подорвал свое здоровье непосильной работой.

— Сколько он переворочал этого железа! Страх...

— Работал, как каторжный. Ни дня, ни ночи...

Я слушал их, а сам думал: «Нет, Егорыч надорвался не на работе. Работа его держала на этом свете. Надорвался он там, на войне...»

И оттуда, из страшной сталинградской осени сорок второго, пахнуло такой ледяной стужей, что сдавило сердце и все во мне зацепенело: «Как же мы хотели забыть ее, проклятую, как бежали от нее, а война догнала... И первого Егорыча... Когда же ты нас отпустишь? Сколько будешь мучить...»

Шел в печальной толпе. Рядом всхлипывали. А мои слезы будто заклинило.

«Егорыч, Егорыч... Почему ты?..»

Я тогда еще не знал, что Егорыч открывает длинную череду моих родных, друзей и знакомых, которых до сих пор уносит война...



**ИВАН  
РЯДЧЕНКО**



## **Хлебная витрина**

Месяц март, что за глупые шутки!  
Тучи бродят в горах, как стада.  
Беспрерывно четвертые сутки  
с неба льется на землю вода.

Капли луют то звонче, то глуше,  
на асфальте пускаются в пляс.  
Словно сто стеклодувов из лужи  
пузыри выдувают для нас.

Дождь идет бесконечный и гулкий.  
Не заметно улыбок нигде.  
Лишь с витрины пшеничные булки  
улыбнулись летящей воде.

## **Колдунья**

Весны и жгучего июя  
неузаконенная дочь,  
жила веселая колдунья,  
не в силах дар свой превозмочь.

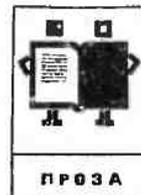
Она казалась всем счастливой,  
не зная слез, не зная зла.  
Глаза ее, как черносливы,  
таили тайны ремесла.

И в дождь и вечером погожим  
она, умея горечь скрыть,  
своим соседям и прохожим  
старалась радости дарить.

Но серебрился май за маем,  
промчались сорок две весны.  
Увы! Ведь мы не замечаем,  
как одиноки колдуны.

Как в неуменье ненавистном  
они, отбросив тайны прочь,  
себе самим в обычной жизни  
не в состоянии помочь.

ПАВЕЛ  
РУБИНИН



ИЗ ЗАПИСОК  
БИБЛИОТЕКАРЯ



# КНИГИ

**Я** люблю электрички. Люблю их потому, что в вагоне электрички разглядываешь людей. Они улыбаются, задумавшись о чем-то своем, разговаривают, смеются, подкрепляются хлебом с колбасой, читают, смотрят в окно. Ты один из них. Такой же, как они. Ты смотришь в окно, читаешь книгу, думаешь о чем-то своем...

Напротив меня сидела женщина могучего телосложения.

Она наклонилась ко мне и сказала:

— Простите, если я вас побеспокою...

Я вопросительно взглянул на нее.

— Нельзя узнать, какую книгу вы читаете?

— Драйзер. «Гений».

Она просияла.

— Я обожаю Драйзера.

Обернулась к своей соседке, тощей дамочке с бледным личиком, и сказала:

— Я читала какой-то его роман. Это очень трогательная книга. Я все время плакала.— Она шумно вздохнула.— В этой книге рассказывается про одного богатого молодого человека. У него отец работал коммерческим директором. Он полюбил одну бедную девушку. Он с ней в лодке катался по озеру, и у нее родилась дочка. А потом он бросил эту девушку и женился на богатой...— Она замолчала. Волнение сжимало ей горло, мешало говорить.— Бедная девушка уехала в другой город и стала воспитывать там свою дочку. Дочка была красивая и умная. А молодец человек стал коммерческим директором, а потом миллионером. У него был роскошный дом, машина, но не было у него счастья в жизни. Он не мог забыть девушку, которую он любил, и ему так было тяжело, что он заболел от тоски раком желудка. И вот он лежит в больнице, жить ему осталось недолго, и он говорит своей жене: «Я скоро умру, жить мне осталось недолго, позови ко мне в больницу женщину, которую я когда-то любил и которую очень обидел. И пусть она приведет сюда свою дочь»... И вот та женщина приезжает и приводит

с собой дочку. А дочери было уже восемнадцать лет, и была она очень красивая и способная и очень походила на свою мать в молодости. И вот он увидел ту женщину, которую он любил, и свою дочь, и у него слезы потекли по щекам, и он сказал им: «Подойдите ко мне». И они подошли. У женщины волосы были совсем седые. Он положил ей руку на голову и заплакал.— По коричневым щекам женщины текли крупные слезы. Она смахивала их пухлой ладонью и, всхлиывая, продолжала свой рассказ:— А своей жене он сказал: «Уходи и больше не показывайся мне на глаза. Пусть эти последние дни со мной проведет женщина, которую я любил, и моя дочь». И жена ушла, и они остались одни, и он сказал: «Это будут самые счастливые дни в моей жизни»...— Женщина извлекла из сумки огромных размеров носовой платок и громко высморкалась.— Так прожили они около недели,— сказала она.— А потом он умер и завещал им свои богатства...

Она заплакала громко, почти навзрыд.

Я испугался, боюсь глаза от книги оторвать, с тоской поглядываю на часы— до моей станции еще минут десять ехать, не меньше.

Огромная женщина внезапно успокоилась. Она обернулась к своей соседке и с грустью сказала:

— Меня муж бросил. Ушел к другой. Уехал в ней в Сибирь. У меня сынишка растет. Я живу в Апрелевке, а работаю в Москве, в овощном магазине. Мальчик у меня очень способный. Он учится в седьмом классе и ходит в музыкальную школу. Он играет на скрипке. Говорят, у него большой талант... Он очень любит меня. Если я задержусь на работе, он волнуется, идет встречать меня на станцию...— Она смотрит в окно, улыбается.— Дождь идет. Сильный дождик, а у меня нет плаща с собой и зонтика нет.— Она обернулась к своей соседке.— Идет сильный дождь, у меня нет плаща с собой, но меня это несколько не волнует: я знаю, что меня на станции ждет Миша, с плащом и зонтиком.

— Вы воспитали хорошего сына,— сказала соседка.

— Ему было восемь лет, когда нас бросил отец. Миша знает, что вся моя жизнь в нем. Мне многие делали предложение, но я всем отказывала: я решила посвятить свою жизнь сыну, и он это понимает и ценит, он добрый и умный мальчик.

Поезд замедлил ход, он подходил к моей станции.

Я встал.

— Вы меня простите,— сказала женщина.— Я помахала вам читать.

Она смотрит на меня большими, влажными от слез, шоколадными глазами.

У нее симпатичное круглое лицо с крупным носом.

— У вас есть с собой плащ?— спросила она.

— Нет,— сказал я.

— Вас встретит кто-нибудь на станции?

— Да.

— Жена?

— Да.

— Я очень рада за вас.

Я поклонился ей и ее соседке.

— До свидания,— сказал я.

— До свидания,— ответили женщины.

Книг в моем распоряжении столько, что и за три-четыре жизни не прочитаешь,— я заведу библиотечку в художественно-ремесленном училище.

Я читаю в метро, в троллейбусе, в очередях и, конечно, дома— в любую свободную минуту.

К сожалению, мне редко удается читать просто так, для своего удовольствия.

Чтение книг— моя работа, и работа не из легких и не всегда приятная: иной раз такое попадет, что весь день потом плюешься. Будто вместо воды хлебнул в потемках керосину.

Я просматриваю все новые книги подряд, чтобы уберечь ребят от «керосина».

Я мало читаю в электричке— рядом люди, рядом жизнь, а за окном леса, поля, поселки, родная земля, родное небо...

Смотрю в окно электрички, и под стук колес в памяти всплывают события моей собственной жизни.

Накурился за день, устал, хотелось есть— засиделись до позднего вечера на совещании.

Электричка отправлялась через десять минут.

Я подошел к киоску с заманчивой витриной— за стеклом коржики, булочки, разная кондитерская прелесть. А продавца за стеклом не было, и вся эта прелесть была недосыгаема. Я вздохнул и пошел к электричке, голодный вдвойне.

У табачного киоска, тоже недосыгаемого, топтался круглолицый мужчина средних лет. Я услышал, как он пробормотал грустно и укоризненно:

— Что за вокзал— коробка спичек не купишь!

Во рту у него белела сигарета.

— Я могу подарить вам коробок спичек.— Я протянул ему спички— почти полный коробок.

— Спасибо,— произнес он растерянно.

— Не стоит,— ответил я.

— Вот, копейку возьмите,— сказал мужчина и протянул мне огромную ладонь, на которой сиротливо лежала маленькая темная монетка.

Я засмеялся.

— Я вам подарок хотел сделать, а вы мне— копейку!

Он смутился, захлопнул свою огромную ладонь, и копейка исчезла.

— Простите,— сказал он.

В электричке что-то зашипело.

— До свидания,— кивнул я и вошел в вагон.

И тут же двери за мной с грохотом сомкнулись.

Я сел к окну и сразу увидел мужчину. Во рту у него дымилась сигарета. Он смотрел на меня сияющими глазами.

— Благодарю вас!— крикнул он.— Счастливого вам пути!

Я помахал ему рукой.

Электричка сдвинулась с места.

Он стоял на платформе и растроганно улыбался. Улыбка была милая, хорошая. Я долго не мог ее забыть.

Это воспоминание вполне заменило мне те булочки и коржики, о которых я мечтал на перроне у витрины киоска.

Думал, книг будет немного, поэтому и отправился в библиотечный коллектор, не прихватив с собой никого из ребят. Книг оказалось уйма— три тяжелых пачки, и я намаялся с ними на переходах с одной линии метро на другую. Уж очень трудно три пачки нести— на третью рук не хватает, приходится прижимать ее локтем к ребрам, а она, проклятая, рвется на волю. Ты идешь скрюченный, напряженный...

Я вышел из прохладного подземелья метро на раскаленное Ленинградское шоссе, поставил пачки на тротуар, присел на них, чтобы отдышаться немного.

Сажу, растираю изрезанные бечевкой ладони, поглядываю по сторонам — не появится ли кто из ребят.

Пора вставать и идти, а я все сижу и жду.

И дождался.

В густой толпе пешеходов мелькнула знакомая лшвиничная челка.

Я обрадовался: это Кулигин! Мраморщик с первого курса.

Он подошел ко мне, протянул руки:

— Дайте я понесу.

Я встал:

— Бери одну. Я здорово намучился с тремя.

— Я две возьму, — говорит Кулигин. — Одну пачку неудобно нести — в одну сторону перевешивать будет.

Он взял две пачки и пошел. Я с трудом поспеваю за ним с одной.

Мы пришли в училище, когда только что прозвенел звонок на обеденный перерыв. Навстречу по лестнице мчатся ребята — спешат в столовую.

— Здравствуйтесь, — кричат ребята. — Здравствуйтесь... Здравствуйтесь... Здравствуйтесь.

Они заметили пачки книг.

Обступили меня со всех сторон.

— Есть что-нибудь интересное? Про радио что-нибудь достали? Есть книги о партизанах?

Я не успеваю отвечать на все вопросы. Самые настырные умудрились расковырять бумагу, в которую завернуты книги; согнувшись в три погибели, пытаются прочитать заголовки на корешках переплетов.

Вот и библиотека наконец.

Я пропускаю Кулигина вперед и своим телом преграждаю путь яростной толпе читателей.

— Ребята, приходите завтра! Мне нужно оформить эти книги. Завтра приходите!

Воспользовавшись замешательством читателей, запираю дверь на задвижку.

Ребята долго еще кричали, умоляли впустить.

Я не дрогнул.

Они смирились в конце концов и тихо разошлись. Только один кто-то остался за дверью и жалобно скулил.

— Впустите его, — попросил Кулигин.

Девять часов утра. В училище тихо — идет первый урок.

Ставлю на стол ящичек, в который я складывал формуляры вчерашних посетителей.

Беру чистый лист бумаги, начальными буквами обозначаю разделы книжного фонда: художественная литература, искусство, техника, учебники и т. д. Вынимаю из ящичка формуляр, нахожу вчерашнюю запись, ставлю точку на разграфленном листе бумаги. Вынимаю из ящичка формуляр за формуляром, ставлю точки, соединяю их линиями: четыре точки, четыре черточки — прямоугольник получается. Соединяю противоположные вершины прямоугольника диагоналями — получается «почтовый конверт». Полный «почтовый конверт» — это десять книг.

Работа идет медленно, потому что делать ее механически я не могу: в формулярах читательские биографии ребят, мои удачи, мои поражения...

Из «вчерашнего» ящичка я вынул последний читательский формуляр.

Считаю «конверты», доли «конвертов» и ставлю в конце каждой графы итог, а потом подсчитываю,

сколько всего книг было выдано за вчерашний день.

Беру библиотечный дневник — тонкую, отпечатанную в типографии тетрадь большого формата, в которой каждая страница — месяц со всеми своими днями.

С разграфленного листа бумаги переношу цифры в клеточки библиотечного дневника. Сравниваю итоги вчерашнего дня с итогами позавчерашнего. Радуюсь, если цифры растут, огорчаюсь, если они падают.

Иной раз в такой восторг придешь от вчерашней выдачи — за семьдесят перевалило, елки-палки! — что в диком азарте стучишь кулаком по столу.

Есть у меня одна слабость: в дни рекордных выдач меня неудержимо тянет к последнему библиотечному дневнику моей предшественницы.

Я извлекаю этот дневник из «архивного» ящичка моего письменного стола и начинаю сравнивать цифры.

У нее в день двадцать книг брали, в лучшем случае — двадцать пять. У меня шестьдесят берут, а то и семьдесят! А бывают дни, когда и до ста доходит!

До ста, черт возьми!

Ребята склонились над серыми гранитными глыбами и тихо постукивают тяжеленными киянками, высекают простой геометрический орнамент.

Прозвенел звонок на перемену, но никто не тронулся с места: увлеклись работой.

Я стою у порога, смотрю на ребят.

В библиотеке они — озорные мальчишки, шумные, неутомимые. Здесь, в мастерской, в своих серых халатах, в защитных очках, сосредоточенные, полные внимания, они совсем другие — солидные рабочие люди.

— Вы, наверное, все книги в библиотеке прочитали?

— Нет, — говорю я, — не все.

Парень смутился. Ему показалось, что он обидел меня своим бестактным вопросом. Он даже покраснел, бедняга.

— Разве все книги прочитаешь? — прихожу я ему на помощь. — У нас двенадцать тысяч разных книг в библиотеке... А знаешь, сколько книг может прочитать человек за свою жизнь?

Он улыбается.

— Нет, не знаю.

— Две-три тысячи, — говорю я.

— Так мало?!

— Да, две-три тысячи, не больше. — Воспользовавшись случаем, добавляю: — Вот почему так важно научиться выбирать хорошие книги, не читать всякую чепуху. Прочтешь какую-нибудь никчемную книжонку, потратишь на нее драгоценные часы, а на хорошую, на нужную времени не хватит...

Моя предшественница смотрела на читателей как на потенциальных расхитителей библиотечных богатств, как на вандалов, способных вырезать бритвой из книги красивую картинку.

Я целый месяц принимал у нее библиотеку и каких только ужасов не наслушался!

До нее библиотекарем была легкомысленная девица, у которой в книгохранилище вечно толклись мальчишки. У этой девицы пропало много книг, и ее уволили, заставив возместить нанесенный училищу ущерб. А ущерб был так велик, и выражался он

в такой чудовищной сумме денег, что моя предшественница почти год никаких книг, кроме учебников, на дом ребятам не выдавала, занималась почти исключительно так называемой внутрибиблиотечной работой и организацией «массовых» мероприятий: читательских конференций и литературных вечеров.

Она так устала от этой деятельности и от вечного страха перед мальчишками-читателями, что решила подыскать себе работу поспокойнее...

С каким-то странным удовольствием показывала она мне книги, изуродованные неведомыми варварами.

Она упорно внушала мне страх перед читателем. Делала это с самыми благими намерениями. Она боялась за меня — мальчишки, пользуясь моей неопытностью, растащат ценные книги, и мне придется возмещать их стоимость из собственного кармана. А карман у меня пустой. Это было видно невооруженным глазом.

— Спрячьте дорогие книги подальше, — говорила она. — Поставьте их на самую высокую полку и забудьте о них.

Я послушался ее совета, и дорогие книги месяца два, наверное, пылились на самой высокой полке самого высокого стеллажа.

Я вздрагивал, когда в библиотеку заходили мальчишки. Я цепенел от страха, когда они врываются в обеденный перерыв в читальный зал галдящей толпой...

Потом страх исчез внезапно и бесследно.

Это случилось в тот день, когда в библиотеку пришел парень, о котором преподаватели и мастера производственного обучения говорили мне с дрожью в голосе: «Хулиган! По нему тюрьма плачет».

Он вразвалку подошел к стойке и облокотился на нее. У него была рыжая челка и зеленые разбойничьи глаза.

Был поздний час, нас было двое в библиотеке, все читатели разошлись по домам.

Я с опаской поглядывал на парня, а он, как зачарованный, смотрел в глубь книгохранилища на стеллажи, заставленные книгами.

Я увидел его глаза. Глаза мальчишки, который смотрит на книги, на таинственные ряды заманчивых книг.

Мне стало стыдно.

Впервые в жизни я испытал такой жгучий стыд. Это был стыд почти до слез, до отвращения к самому себе.

И страх, тот унижительный страх, который охватывал меня при виде мальчишек-читателей, покинул меня навсегда, выжженный стыдом.

Я понял, что у меня есть союзник, с которым мне ничего не страшно. Союзник этот — книги. Я с детских лет любил их бескорыстно и нежно. Они с лихвой отплатили мне за мою любовь...

— Вы еще выдаете? — спросил парень. — Можно взять чего-нибудь почитать?

Я дал ему книгу о пограничниках. Не помню уже, какую. Он сказал «спасибо» и вышел из библиотеки, тихо прикрыв за собой дверь.

В библиотеке трудно говорить «нет».

В нашей работе (как, впрочем, и в любой другой) решают «мелочи».

Если в читальном зале уютно и тепло, если библиотека открыта, когда ей полагается быть открытой, если на полках порядок, а на стойке батарея

картотек и каталог, в котором легко разобраться, если библиотекарь готов в лепешку расшибиться, чтобы раздобыть нужную читателю книгу, тогда неуклонно растет «посещаемость», а «читаемость» приводит в восторг самых придирчивых инспекторов.

У стойки два новичка.

Один — маленький, крепкий, коренастый. Второй — высокий, худой, какой-то неустойчивый. На него посмотришь, он глаза отводит в сторону. А глаза у него голубовато-серые, мягкие. У маленького глаза карие, твердые.

— Тошин, — говорит маленький. — Первый курс.

Я ищу формуляр Тошина.

Друзья перешептываются, перелистывая картотеку.

— Выбрали что-нибудь? — спрашиваю я.

Маленький задумался, а высокий, когда я на него взглянул, отвел глаза в сторону и начал потихоньку отходить от стойки.

Я удивился, не смог скрыть своего удивления, и парень перепугался насмерть и спрятался от меня в самый дальний угол читального зала.

Маленький назвал несколько книг. Полистал одну, другую, третью. Позвал высокого.

Чтобы не спугнуть робкого парня, я повернулся к ребятам спиной, делаю вид, что занят книжной витриной.

Ребята посоветовались немного, потом высокий снова забился в угол, а маленький попросил записать «Двух капитанов» Каверина.

Я протянул ему формуляр и сказал:

— Распишитесь вот здесь...

Он поманил пальцем высокого, и тот направился к стойке, двигаясь зигзагами. Казалось, что он идет против сильного ветра.

Он подошел, расписался в формуляре.

— Спасибо, — сказал маленький. — До свидания.

Высокий, уже у самой двери, обернулся, улыбнулся мне застенчиво и чуть слышно произнес:

— До свидания. Спасибо.

Куликов возвращает «Педагогическую поэму».

— Будешь «Флаги на башнях» читать?

— Нет.

— Почему?

— Не хочу.

Лицо у него желтое, болезненное. Глаза черные, мрачные.

Я протягиваю ему стопку книг. Он просматривает заголовки. Разжимает рот.

— Читал.

Еще одна стопка книг. И снова:

— Читал... Читал... Читал...

У стойки очередь. Ребята ворчат.

— Скоро ты выберешь наконец? Сколько ждать можно?

— Вот каталог, вот картотека, — говорю я. — Выбери сам. Видишь, ребята ждут?

Я выдаю ребятам книги. Изредка поглядываю на Куликова. Он злобно листает карточки.

Смотрит мне в глаза своими мрачными черными глазами.

— Покажите «Подвиг Магеллана» Стефана Цвейга.

Я побежал к стеллажам. Вот молодец, думаю. Прекрасную книгу выбрал!

Он брезгливо ее перелистал и с презрением швырнул на прилавок.

— Неинтересная, — процедил сквозь зубы.

Ребята смотрят на меня с сочувствием.



Один парнишка держит в руке знакомый, изрядно уже потрепанный зеленый томик. Это «Всадник без головы» Майн Рида.

Я забираю у парня книжку, протягиваю ее Куликову.

— Хочешь почитать Майн Рида?

Он неохотно перелистывает зеленую книжку.

— Ладно,— говорит.— Запишите.

Взял книгу, резко от меня отвернулся, не сказал «спасибо».

Я смотрю ему вслед. На душе у меня скверно.

Напряженная худая спина. Тонкая шея с глубоким желобком. Дома у него ад крошечный — отец пьет, издевается над матерью. Мать издерганная, нервная женщина...

Ушел.

Хлопнул дверью и ушел, не попрощавшись со мной.

Мише девять лет. Он берет книги на абонемент отца, мастера производственного обучения.

Я спрашиваю:

— Что тебе дать почитать?

Он отвечает:

— Не знаю.

Голос у него тонкий, звонкий. Детский голос.

Ребята, работающие в читальном зале, отрываются от своих книг и с любопытством поглядывают на необыкновенного читателя.

Миша становится непроницаемо серьезным.

Виктор Марченко откладывает в сторону сборник орнаментов и направляется к Мише.

— Ты «Хоттабыча» читал? — спрашивает он.

— Читал,— говорит Миша.

— «Школу» Гайдара читал?

— Чита-ал.

Витя задумался.

— А «Том Сойер» Марка Твена? Читал?

— Не-ет, не читал.

— Не читал «Тома Сойера»?!

Ребята в зале зашумели, загалдели.

— Вот это да! Ну и ну!

Витя говорит:

— Прочитайшь «Тома Сойера», бери «Гекльберри Финна».

— Ладно.

Получил книгу, сказал «спасибо», шагает к выходу. Остановился. Разыскал глазами Виктора. Улыбнулся ему.

Тихо прикрыл за собой дверь.

Увидел я на полке книгу, забытую совершенно незаслуженно. Подумал: почему она стоит тут без всякой пользы? Не пора ли ей к читателю?

Книга ушла и долго не возвращалась — переходила из рук в руки.

На свою полку она вернулась только в июле, когда ребята разъехались на каникулы.

В читальный зал стремительно вбегают Лапов и Демидов.

— Кто написал «Утраченные иллюзии»? Бальзак или Флобер?

— Бальзак.

Демидов сразу потускнел, а Федя Лапов в восторге закричал:

— Что я тебе говорил!

Толкая друг друга в спину, они выходят из читального зала.

У стойки небольшая очередь.

Петя Аброськин умильно смотрит на меня своими маленькими голубенькими глазками, и я жду, как ждуть удара. Вот сейчас он скажет что-нибудь сладенькое и льстивое, этот единственный в своем роде мальчишка-подхалим.

— А вы все знаете,— говорит Петя, радостно улыбаясь.

Я бросаю на него сердитый взгляд, я хочу обрезать его злым словом, но у меня ничего не получается...

Молча забираю у него книгу и кладу перед ним несколько новых, на выбор.

Ребята в смущении опускают глаза.

— Опять Аброськин завел,— раздается бас Володи Гайдукова.

Он работает в читальном зале, переводит на кальку орнаменты.

Ребята усмеваются.

А Пете хоть бы что. Он улыбается, похохатывает, размахивает руками.

— А что, разве неправда? На любой вопрос в нашей библиотеке получишь ответ...

Он извивается от восторга.

А ребята смеются. Их забавляет откровенная, ничем не прикрытая льстивость. В лице Пети Аброськина они сталкиваются с нею впервые в своей жизни.

Они смотрят на меня и на Петю. И смеются, дьяволы.

Раздражение, чувство неловкости и стыда, терзавшие меня, улечучиваются под взглядами веселых мальчишек, и я тоже начинаю смеяться...

Петя Аброськин берет книгу и уходит, низко опустив голову.

У меня вдруг резко портится настроение. Мне не до смеха...

Ухожу в книгохранилище и долго стою у стеллажа с книгами по истории искусства, бессмысленно уставившись на корешки переплетов.

А ребята в читальном зале веселятся, вспоминая забавную сцену, свидетелями которой они были...

Я люблю покупать книги для нашей библиотеки.

Ребята так радуются новым книгам, что доставлять им эту радость — самое большое удовольствие, какое только можно себе представить.

Было время, когда я собирал книги. Я собирал «французов». Причем только в оригинале. Переводы меня не интересовали. Мне хотелось иметь у себя дома все лучшее, что было написано на французском языке.

Главным моим развлечением в те годы был прилавок букинистического магазина, заваленный старыми французскими книгами. И друзья у меня были такие же фанатики, как и я. Мы назначали друг другу свидания в букинистических магазинах. Мы могли часами говорить о книгах...

Все кончилось в тот самый день, как я принял библиотеку училища.

В моей коллекции с тех пор не прибавилось ни одной французской книги.

Не могу я, оказывается, с одинаковым увлечением и для ребят книги собирать и собственную коллекцию пополнять. Не хватает меня на это.

— Мы на гранит перешли,— говорит Филиппов.— С гранитом работать тяжело, зато он характер воспитывает; гранит упрямый, а я еще упрямей!

...Из всех новичков один только Володя Купцов, мраморщик, не брал у меня книг, хотя я и спускался не раз к нему в мастерскую, ласково с ним беседовал, приглашал в библиотеку.

Он мило улыбался, говорил, что придет, но почему-то не приходил.

Я обратился за помощью к Юре Петрову и Виктору Филиппову из той же группы мраморщиков.

— Он очень застенчивый, — сказал Юра. — Он боится к вам идти.

— Что же мне делать? — говорю я. — Не вести же мне его сюда за ручку?

— Мы его сами приведем, — сказал Филиппов.

Через пять минут дверь в читальный зал с грохотом распахнулась и в библиотеку ввалились три парня.

Юрка и Виктор, держа Купцова под руки, поставили его перед стойкой.

— Принимайте, — говорит Филиппов. — С пылу с жару.

Я засуетился — последний из могокан как-никак! Я так разволновался, что даже улынуться ребятам не могу, поблагодарить их за помощь.

Купцов стоит у стойки, крайне смущенный. Филиппов радостно улыбается. Юра задумчиво смотрит на меня.

— Мы пошли, — говорит Юра. — Нам в мастерскую пора. До свидания.

Он очень чуткий, Юра. Сразу почувствовал, что мне нужно остаться с Купцовым наедине.

— До свидания, — говорю я рассеянно.

Все мои мысли заняты Купцовым. Как приручить его? Какую дать ему книгу?

Нужно такую повесть или роман подобрать, чтобы он через неделю примчался и сказал: «Дайте еще что-нибудь вроде этого»...

Есть книги — ледоколы. Они ведут за собой к читателю караваны книг.

Ребята говорят: «Дайте, пожалуйста, еще что-нибудь вроде этого».

Женя Савчук смотрел мне жалостно в глаза.

— Пожалуйста, может, у вас все-таки найдется что-нибудь о животных? Посмотрите, пожалуйста.

Он перечитал в библиотеке все, что было о животных, включая рыб и насекомых. Других книг он не признает.

Я топчусь у «зоологической» полки. Что делать? Он все перечитал. Все книги до одной.

А что если я ему Пришвина дам, мелькнула мысль, и я помчался к «советской художественной литературе».

Женя с опаской взял в руки однотомник Пришвина и стал настороженно его перелистывать.

— Это о животных? — спрашивает он.

— Есть и о животных, — отвечаю я уклончиво.

Он замер вдруг над распахнутым томом. Читает рассказ из «Лесной капели». Улыбается.

Я тоже улыбаюсь. У меня будто гора с плеч свалилась. Как это я раньше не подумал о Пришвине?

Женя пришел в библиотеку дней через десять и говорит:

— Дайте еще что-нибудь вроде этого.

Я дал ему Аксакова — «Детские годы Багрова внука».

Проходит неделя, и он снова просит «что-нибудь вроде этого».

«Казани» Льва Толстого — вот какую книгу я дал ему в тот день! Я люблю эту повесть с юношеских

лет и был счастлив, когда узнал, что она понравилась Жене.

Он стал образцовым читателем. Читает Тургенева, Чехова, Паустовского... Обожаемых зверей своих он не забывает, и я специально для него покупаю новые книги о животных.

Попадется хорошая книга, обрадуюсь — вот Женяка будет доволен! Я спешу с этой книгой в училище. Загляну в мастерскую, где работает Женя:

— А у меня есть для тебя кое-что новенькое.

— О животных? — спросит Женя.

— Да, — скажу я, — о животных.

— Спасибо, — ответит Женя. — Я приду. Вы только никому не отдавайте. Хорошо?

— Не отдам, — пообещаю я. — Ты приходи.

— Я приду, — скажет Женя.

Ребята приходят в училище совсем маленькими — чуть над стойкой возвышаются.

Они просят сказки, «что-нибудь о ребятах», «что-нибудь про шпионов», просто «что-нибудь»...

Идут дни, недели и месяцы.

Ребята растут и взрослеют, но ты этого не замечаешь, потому что они растут у тебя на глазах. И вдруг однажды с изумлением обнаруживаешь, как выросли ребята.

Первого сентября, после летних каникул, они приходят в библиотеку загорелые, широкоплечие, возмужавшие.

— У вас есть «Фауст» Гёте? — спрашивает один.

— Дайте, пожалуйста, «Коммунистический Манифест», — говорит другой.

В библиотеку ворвался первокурсник и в диком восторге закричал:

— Ну и книгу вы дали — ребята животы надорвали от смеха! — Уже из-за двери, убегая, он крикнул: — Спасибо! Спасибо вам большое!

«Танкер «Дербент» Крымова — одна из самых моих любимых книг. Ребята редко поэтому отказываются, когда я предлагаю им прочитать эту повесть.

Чем больше нравится мне книга, тем легче бывает «продвинуть» ее к читателю.

— Дайте что-нибудь трудное, пожалуйста. Что-нибудь научное...

Шарапов гордится своим пухлым библиотечным формуляром.

— Кто-нибудь в училище прочитал столько, сколько я? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я. — Ты у нас рекордсмен.

Он читает, будто семечки грызет. И книги выбирает, похожие на семечки.

Я много раз пытался подсунуть ему что-нибудь яркое и глубокое, но у него удивительное «чутье» на талант. Совершенно безошибочное.

Полистает книжку, усмехнется.

— Дайте что-нибудь легкое, — скажет. — Чтобы не думалось...

Сколько раз я убеждался, как мало толку от назидательных бесед о пользе «разумного» чтения, и все-таки нет-нет да потянет на нотацию. Уж очень легко и приятно поучать. Научить значительно труднее.

...В одной крупной юношеской библиотеке я увидел «индивидуальные планы чтения» — типографским способом отпечатанные списки книг, которые дают последовательное и систематическое знакомство с какой-нибудь областью знания, темой, проблемой. Эти «планы» вкладываются в формуляр читателя. «А почему бы и мне не попробовать?» — подумал я и составил несколько «планов чтения» — «Книги о революции», «Великая Отечественная война», «Античное искусство», «Итальянское Возрождение», «Передвижники», «Книги о животных», «Радиотехника»... Отпечатал эти «планы» на машинке, вложил в ящик, поставил на стойку.

Каждому читателю предлагаю этот ящик.

Согласились читать «по плану» только трое. Один брал книги о революции, другой — по истории античного искусства, третий, радиолубитель, стал читать книги по радиотехнике.

Я с большим почтением отношусь к этим ребятам. Сам я никогда не мог заставить себя читать вот так целеустремленно, все разбрасывался, увлекался то одним, то другим.

Я очень гордился своим успехом, хотя долго еще в училище было всего три «целеустремленных» читателя.

К концу учебного года таких читателей стало больше — человек семь, наверно.

Среди них был и я.

Он вынул из кармана записную книжку, полистал ее и спросил:

— «Микеланджело» у вас есть? Ромена Роллана?

— Есть.

— Дайте, пожалуйста, «Микеланджело» и еще какой-нибудь справочник по столярному делу. Только, пожалуйста, толковый! Самый полный, какой у вас есть...

Стоит и ждет, серьезный, сосредоточенный.

«Ну, все! — подумал я. — Без книг он жить уже не сможет!»

У Виктора Синицына тощий читательский формуляр. В него не подшито ни одного дополнительного листка. На неполных двух страницах выстроились в ряд Пушкин, Байрон, Гейне, Лермонтов, Гёте, Шиллер, Блок, Маяковский, Шолохов...

Когда на душе у меня тяжело и я недоволен собой, я беру в руки библиотечный формуляр Синицына и с великим наслаждением смотрю на корявые строчки, написанные моей рукой...

У Вити голубые глаза. Он маленький, подтянутый, очень аккуратный. Стоит у стойки и говорит:

— Дайте, пожалуйста, Тютчева...

Он всегда знает, что ему нужно. Он никогда не говорит: «Дайте что-нибудь интересенькое».

Это взрослый человек.

Я отношусь к нему с глубоким уважением. И мне часто хочется выйти из-за стойки и пожать ему руку.

Это не принято, к сожалению.

Я смогу это сделать только на выпускном вечере...

Некоторые библиотечные инспекторы интересуются прежде всего тем, сколько было выдано общественно-политических книг. Если их было выдано много, они приходят к выводу, что библиотека со своими воспитательными задачами справляется успешно.

К сожалению, «мой» инспектор из городского управления тоже страдает этой арифметической бо-

лезнью. Я сказал ему однажды, что, на мой взгляд, в юношеской библиотеке «Овод» Войнич — несомненно политическая книга, хотя мы и относим ее в нашей статистике к «художественной литературе». Он поморщился — к чему, мол, эта демагогия? — и снова повторил (в который уже раз), чтобы я «обратил особое внимание»...

Я побаиваюсь своего инспектора, и в то же время мне его жалко: у меня ребята, у меня книги, у меня живое дело, а у него лишь голые цифры, которые поставляем ему я и мои коллеги.

Я понимаю, что он сам во всем виноват. Никто ведь не велел ему ограничивать себя сбором цифр. Он мог бы почаще бывать в библиотеках. Не как начальство, которое проверяет и поучает, а как старший товарищ. Он приходил бы ко мне, смотрел бы, как я работаю. Постоял бы со мной у стойки, поговорил бы с ребятами. А потом поделился бы со мной своими наблюдениями. И дал бы несколько дельных советов. А напоследок, уже прощаясь, сказал бы: «Загляните к такое-то училище. Там работает замечательный библиотекарь. — И с улыбкой бы добавил: — Не удивляйтесь, если к вам будут приходить молодые библиотекари. У вас тоже есть чему поучиться».

Он этого никогда не скажет, к сожалению. Не такой он человек. Полистает мой библиотечный дневник, произнесет пару кислых фраз, ммуро со мной попрощается и уйдет, сохраняя на желтоватом лице брюзгливо-начальственное выражение.

Сколько бы он мог принести пользы, думаю я, прожывая его до дверей.

Какая увлекательная могла быть у него работа, если бы его действительно волновало наше общее дело...

Снимаю с полки «Овод» Войнич и в задумчивости иду в читальный зал, где меня ждет парнишка, которому столько лет, сколько мне было, когда я впервые прочитал эту книгу.

Мне было тогда четырнадцать лет.

Помню жаркий летний день, каникулы... Я лежу на земле, прижавшись пылающим лицом к прохладной траве, и мечтаю о мировой революции. Вижу себя вождем этой революции... Погибаю в решающем бою. Благодарное человечество провожает меня в последний путь... Я вижу толпы людей, море красных знамен. Слышу пламенные речи... По щекам моим текут слезы...

Меня ждет у стойки мальчишка четырнадцати лет.

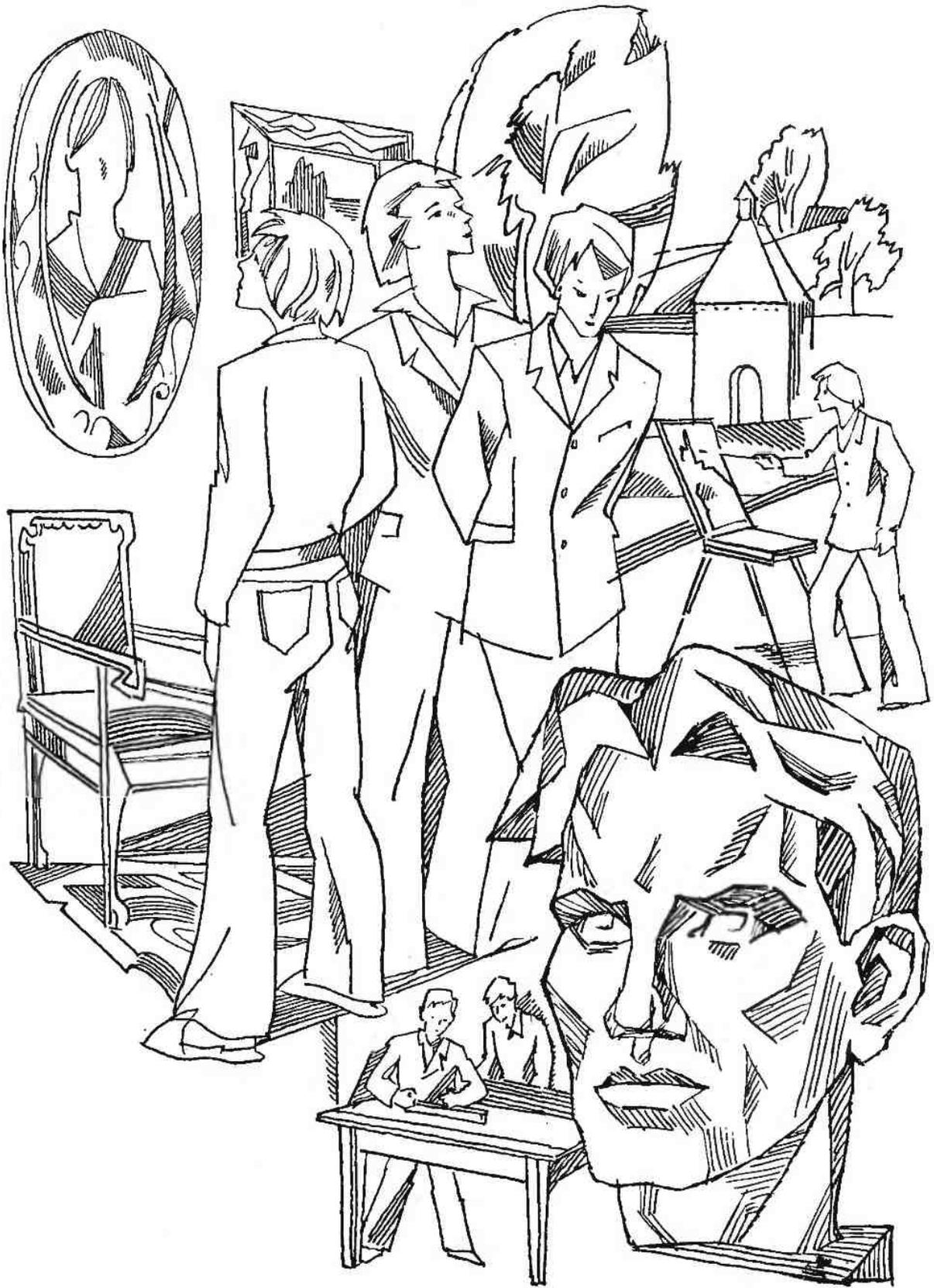
Мой ровесник.

Мой единомышленник.

В каждом деле есть главное, есть сердцевина дела. Если не видишь эту сердцевину, не понимаешь, что же главное в твоём деле, то как бы усердно ни работал, пользы от твоего усердия будет мало. Что же главное в моем деле?

Я должен научить ребят разбираться в книгах.

Выдаешь ребятам книги, пишешь каталожные карточки, отправляешь в переплет потрепанные книжки... День идет за днем. Не успеешь оглянуться — лето наступило. В библиотеку приходят проститься с тобой ребята, с которыми ты сроднился за три года. Они крепко жмут тебе руку, и ты им говоришь: «Не забывайте нас, ребята. Заходите». Они спускаются вниз по лестнице, грохоча тяжелыми ботинками, а ты идешь к окну, чтобы проводить их в дальний путь.



Они выходят за ворота училища. Выходят в самостоятельную жизнь.

Обернулись. Заметили меня в окне.

— До свидания,— кричат.— Не поминайте лихом!

Юра Петров смотрит в глубь книгохранилища на бесконечные ряды книг за моей спиной.

— Хочешь туда? — спрашиваю я.

Он улыбается.

— Да.

Я распахиваю перед ним дверку, отделяющую читальный зал от книгохранилища.

— Спасибо,— говорит Юра.

Я показываю ему наши богатства, вожу его по узким проходам между стеллажами и объясняю, где что стоит: вот книги по истории искусства, вот художественная литература, история, география, учебники...

Мы обошли все стеллажи, и я сказал:

— Вот стремянка, стол, стул... Найдешь интересную книжку, снимай ее с полки, присаживайся к столу и наслаждайся в свое удовольствие. А я поработаю еще немного. Хорошо?

Он улыбнулся и сказал:

— Хорошо. Спасибо.

Мне нужно «расписать» несколько свежих журналов. Работа эта требует внимания и сосредоточенности. Я откладываю ее на вечерние часы, когда основной поток читателей прошел и можно хоть пять минут посидеть спокойно за столом.

Перелистываю журнал, бегло просматриваю статью. Затем беру плотную каталожную карточку и пишу круглым библиотечным почерком заглавие статьи, название журнала, номер, год, страницы...

Поскрипывает стремянка, слышатся осторожные шаги Юры. Отрываюсь от журнала. Вижу, как Юра бережно вынимает из своего ряда книгу, перелистывает ее и ставит на место. И так книгу за книгой, все подряд. Иногда он недолго застывает с книгой в руке, иногда тут же ставит ее на полку. Он медленно идет вдоль нашего самого большого стеллажа, занимающего всю торцовую стену.

Из читального зала доносится негромкий разговор ребят. Вечером в библиотеке они говорят обо всем на свете, легко перескакивая с искусства на спорт, с международной политики на свои ребячьи дела.

Сидят за большим столом, переводят на желтоватую кальку орнаменты и беседуют.

Слова, проникая из читального зала в книгохранилище, теряются в книжном море, поглощаются рядами стеллажей. До меня доходит лишь тихий шелест голосов.

Иногда этот шелест сменяется шумным спором, криками, хохотом.

Тогда я иду в читальный зал и строгим голосом говорю:

— Ребята, потише!

Они ненадолго замолкают. Совсем молчать они не могут. Они устали молчать на уроках.

Часов в семь ребята уходят из библиотеки.

Уходят все разом, весело переговариваясь и с наслаждением потягиваясь.

Мы остаемся с Юрой вдвоем в опустевшей библиотеке.

Я сижу за столом и бездумно смотрю в окно, вытянув гудящие от усталости ноги.

За окном зимний вечер. Желтыми пятнами мерцают фонари на пустынной улице.

Юра сидит на верхней ступени стремянки, высоко, под самым потолком. У него на коленях огромная книжища. Он улыбается. Глаза у него счастливые-счастливые.

Смотрю на Юру и завидую ему. Вынимаю из заветного шкафчика драгоценную книгу — великолепно изданное собрание офортов Рембрандта.

Перекидываю плотные страницы и... ничего не вижу. Все расплывается, тонет в сером тумане.

Устал. Пора домой.

— Юра,— говорю я,— пошли домой.

Закрываю библиотеку. Спускаемся вниз, одеваемся и выходим на улицу.

Идем по нашей тихой улочке, и Юра рассказывает о родной Кубани, о своих московских родственниках.

Маленькие, приземистые домишки, доживающие последние дни, приветливо смотрят на нас теплыми окошками. Впереди темной глыбой застыл недостроенный дом. За ним начинается шумное, ярко освещенное Ленинградское шоссе.

А здесь тишина и покой, высокое черное небо, деревянные заборы, палисадники, на калитках грозные таблички: «Осторожно! Злая собака!»

Тишину и покой нарушают лишь озорные мальчишки, барахтающиеся в снегу.

Курносый парнишка в огромных валенках и в разлапистой шапке развалился на сугробе. Он изображает убитого в сражении. Его приятели смеются. Их шубы искрятся. Искрится сам воздух.

Юра взглянул на ребят и улыбнулся.

Когда мы вошли в метро, он замолчал. Ему легче беседовать со мной на ходу, в темноте.

В метро светло и многолюдно, а на людях говорить ему трудно, он и без того немного стесняется.

Уж на что ребята не любители восторгаться вслух красотами природы, и то не выдержали.

— Ну и ну! — сказал Леня Коробов.— Вот это да! — Он взглянул на своих приятелей: — Давайте, ребята, здесь устроимся. Вон там, внизу, у пруда... Три художника отделиваются от нашей группы. Придерживая рукой подпрыгивающие на боку этюдники, бегут вниз по склону...

Стоят последние дни бабьего лета. Абрамцевский парк впереди — как огромный костер под синим синим небом.

Мы идем к милому серому дому, с которым у каждого из нас так много связано.

В вестибюле надеваем поверх ботинок матерчатые туфли.

Бесшумно скользим по паркету. Даже самые неутомимые мальчишки притихли. Ходят из комнаты в комнату, взволнованные, молчаливые. Здесь жил Гоголь. Он был гостем Аксакова. Он ходил по этим комнатам, сидел в этом кресле... Здесь бывали Тургенев и Тютчев... А потом, уже при Мамонтове, здесь гостили замечательные художники и артисты...

Первокурсники рассматривают все подряд — мебель, портреты, рисунки, цитаты из Гоголя и Тургенева... Старшие ребята подолгу стоят у рисунков Серова и Нестерова, у майолик Врубеля. Шепотом делятся с Зоей Михайловной своими впечатлениями, расспрашивают ее. И она тихим голосом рассказывает им историю этого дома. Она взволнована и очарована, будто пришла сюда впервые, как и ребята.

Зоя Михайловна преподает у нас историю искусства, «историю стилей», как говорят в училище. Почти все воскресные дни в мае, июне и ранней осенью она отдает ребятам — показывает им Коломенское, Троице-Сергиев монастырь, Звенигород, Кусково, Останкино, Абрамцево...

Осмотрев особняк, выходим в парк. На поблекшей траве лужаек — желтые, оранжевые, красные

листья... Идем по тихим аллеям к скамье Врубеля, потом к «избушке на курьих ножках» Васнецова.

Зоя Михайловна собирает кленовые листья. Женя Савчук ходит под кленами и выбирает самые красивые листья. Соберет небольшой букет и несет его Зое Михайловне.

Старшие ребята степенно ходят по дорожке, негромко беседуют об искусстве.

Внизу, у пруда, три темные фигурки. Это наши художники.

— А ребята все пишут,— говорит Женя Савчук. — Эээ-ей! — кричит Крутихин и машет рукой.

Художники не шелохнулись, продолжают работать. Не слышали, наверное.

Ребятам хочется посмотреть, что там получилось у их товарищей. Они прощаются с Зоей Михайловной и со мной — программа поездки исчерпана, а до Москвы они и сами доберутся. Не маленькие.

Бегут по узкой дорожке тесной плотной группой, как на соревнованиях по бегу на большие дистанции. Ускоряют темп, и вот уже группа распалась, рассыпалась — кто-то вырвался вперед, кто-то отстал.

Они устали от тихой прогулки по аллеям парка. Бегут с веселым ожесточением, стараются обогнать друг друга...

Леня Коробов возвращает первый том «Войны и мира».

Я сижу за маленьким столиком у стойки. Я устал, у меня болит голова.

Леня протягивает книгу. Я делаю пометку в его читательском формуляре.

— Ну и книга! — тихо говорит Леня.

Леню Коробова терпеть не могут преподаватели и мастера производственного обучения. Они говорят, что такого нахала свет еще не видывал.

А мне он нравится. В нем нет ни капли робости перед взрослыми. Он говорит со всеми, как равный с равными. Именно это и нравится мне в нем. Мне надоело быть воспитателем среди воспитуемых.

С Леной можно поболтать по-дружески. От него можно услышать слова: «А вы неправы. Вы глубоко ошибаетесь...»

От этих слов приходишь в ярость и начинаешь орать, доказывая свою правоту.

Кричишь, размахиваешь руками, не думая о том, педагогично это или нет...

Я зашел Леню Коробова в книгохранилище и оставил одного среди книг.

Он вышел ко мне в читальный зал часа через два. Глаза у него сияли.

Подошел ко мне и сказал:

— Я вам завидую. Честное слово!

За окном дождь. Надвигается вечер. Я зажигаю свет. Просторный мир за окном становится лиловым, холодным, красивым.

Смотрю на часы. Пора закрывать библиотеку, пора домой.

Иду в читальный зал.

Из коридора доносится дробный стук дамских каблучков.

Выхожу посмотреть, кого это занесло в училище в столь поздний час.

В коридоре никого нет, но дверь в кабинет

истории искусства чуть приоткрыта, и там горит свет.

У большого шкафа, где хранятся наглядные пособия, стоит Зоя Михайловна.

— Что это вы в такую погоду в училище вернулись? — спрашиваю я.

Она машет рукой.

— Не говорите, я такая дура!

Она прижимает к груди крошечный букет цветов. Подошла ко мне, положила цветы на стол. Цветы завяли, поблекли. Они кажутся жалкими и несчастными.

— Это мне чеканщики подарили,— говорит Зоя Михайловна.— Они сидели у меня сегодня тихо-тихо. Я даже подумала: может, они заболели. Когда прозвонил звонок на перемену, Леня Коробов подошел и протянул мне цветок. И что-то такое сказал. Ребята встали, и у каждого в руке по цветку. По очереди подходят и протягивают цветы. И все такие серьезные. А потом все рассмеялись...

Она взглянула на меня исподлобья и спросила:

— Вы не будете считать меня сентиментальной бабой?

— Нет, не буду.

— Цветы эти собрал в лесу Сережа Антонов. Он мальчик очень застенчивый и никогда бы не решился преподнести мне этот букет. Кому-то из ребят пришла в голову мысль: букет будет от группы, и каждый преподнесет мне по цветку. Так будет справедливо, решили они. Без подхалимажа... Они мне сами все рассказали. А я забыла поставить цветы в воду,— продолжала она.— Так устала, издергалась — у меня сегодня тяжелый день: восемь часов уроков. Думала к вам забежать, попросить у вас стакан, да ребята отвлекли. Пришла домой и вдруг вспомнила, что цветы остались без воды...— Она опустила голову, говорит быстро-быстро: — Я разнервничалась ужасно. Все время о цветах думаю. Даже вижу эти цветы — они лежат в шкафу, в темноте, без воды, и гибнут. Я вижу, как они сохнут, осыпаются... Лев Семенович говорит: «Поехали в училище. Ты все равно спать не сможешь». Вот мы и приехали...— Она робко взглядывает на меня — не смеюсь ли, потом улыбается весело: — Поехали домой? Вам давно пора закрывать библиотеку.

— Поехали,— соглашаюсь я.

Она идет в читальный зал и говорит моим последним читателям:

— Ребята, пора домой! Собирайтесь!

Ребята с готовностью встают, словно они только и ждали этого призыва. Они сдают книги и покидают читальный зал.

Я запираю библиотеку. Мы спускаемся вниз.

Муж Зои Михайловны меряет шагами вестибюль. Зоя Михайловна знакомит меня с ним. Я надеваю плащ, и мы выходим в холод и сырость промозглого осеннего вечера.

Впереди идут ребята в своих тонких курточках. Одеться теплее им не позволяет мальчишеское тщеславие.

— Ребята,— кричит Зоя Михайловна,— поспешите скорей в метро — вы простудитесь!

— Что вы, Зоя Михайловна!

— Бегите, вам говорят! — строгим голосом повторяет Зоя Михайловна.

Они побежали.

— До свидания,— кричат.— До свидания!

Юра Петров сказал:

— Покажите все, что у вас есть о Маяковском. Книги о нем, его портреты, фотографии...

— Зачем это тебе нужно?

— Я хочу сделать портрет Маяковского. Это будет моя дипломная работа.

Дипломная работа мастера по художественной обработке камня—декоративная ваза или копия с «чужой» скульптуры. А Юра на портрет замахнулся!

Он взял у меня гору книг и исчез.

Я месяца два его не видел, а прежде он каждый вечер заходил в библиотеку.

Я встретил его однажды на лестнице. Он бежал куда-то с озабоченным видом.

— Я достал маску,— крикнул он и умчался.

Вскоре после этой встречи он пришел в библиотеку и сказал:

— Хотите посмотреть, что у меня получилось?

Мы спустились на третий этаж.

— Я работаю в этой мастерской,— сказал Юра.— Мне директор разрешил работать здесь по вечерам и в выходные дни.

Он открыл дверь и сказал:

— Проходите. Вот здесь...

В углу мастерской на высокой подставке массивная, раза в два больше натуры, голова.

Когда мы спускались на третий этаж, я приготовил пару поощрительных фраз. Теперь молчу, не могу слова произнести.

На меня смотрит Маяковский, мой любимый поэт, мой герой, человек, которого я люблю, как самого близкого и родного.

Глина теплая, живая... Голова чуть повернута на высокой крепкой шее...

Я долго стоял у этой живой и теплой глины. Стоял и молчал, взволнованный, потрясенный.

— Хорошо, Юра,— произнес я наконец.— Прекрасно.

Он обрадовался, улыбнулся.

— Вам нравятся?

— Да. Очень. Спасибо тебе большое.

Мы распрощались, и я пошел домой. И долго шел пешком через всю Москву. Часа полтора шел. Мне нужно было успокоиться, прийти в себя.

Я стал заходить к Юре в мастерскую, не дожидаясь приглашения. Я спрашивал:

— Можно?

Он говорил:

— Заходите.

Я не произносил оценочных слов: «хорошо», «плохо», «лучше», «хуже». Я просто смотрел. Минут пять постою у «Маяковского», скажу: «До свидания, Юра»,— и уйду. На улице оглянусь на окна мастерской, в которой только что был,— лишь эти окна светятся на черной стене училища— и иду к станции метро, и думаю о Юрке, желаю ему счастья и успехов, мечтаю о том дне, когда он станет знаменитым скульптором.

Эти мечты о Юркиной славе делали меня нетерпеливым. Мне хотелось, чтобы эта слава пришла скорей, а Юра все работал и работал каждый день до глубокой ночи.

Мне казалось, что он слишком много работает. То он неделю с подбородком мучается, то глаза ему не нравятся, то уши...

«Маяковский» потускнел, утратил теплоту и человечность, стал плакатным, заурядным, тысячу раз виденным.

«Юра, остановись!— хотелось мне крикнуть.— Ты губишь свою работу».

Я молчал. Какое я имел право давать советы художнику?

Он пришел однажды и сказал:

— Я сломал «Маяковского».

Я не поверил.

— Нет, серьезно,— подтвердил Юра, а сам улыбается.— Хочу отдохнуть немного. Я сделаю потом все заново.

Он взял у меня «Тихий Дон» Шолохова. Чтобы отвлечься немного, как он сказал.

Для меня наступили тяжелые дни. Я каждый вечер ждал Юру, а он не появлялся.

Он пришел, когда я перестал уже ждать.

У меня пересохло во рту от волнения, когда я входил с ним в мастерскую.

Он зажег свет.

Все следы мучительного труда исчезли, портрет был ясный, цельный.

— Молодец, Юра,— сказал я.— Молодчина.

Он стоял рядом со мной и смотрел на свою работу.

— Я думаю вырубить портрет в граните,— произнес он вполголоса.— Мрамор Маяковскому не подойдет, мне кажется. Гранит будет серый, с грубой фактурой. А куб я отполирую. Он станет черным, блестящим. На передней грани куба я выбью вот эти слова...

Он тихим голосом прочитал:

Я вижу —

где сор сегодня гниет.

где только земля простая,

на сажень вижу —

из-под нее

коммуны

дома

прорастают.

Он читает просто и очень тихо, и я подумал: вот это и есть главная мысль портрета.

Маяковский смотрит на меня. Он смотрит на меня и вдаль, вперед, в будущее. Он отдал себя этому будущему.

Это лучший портрет Маяковского, который я когда-либо видел, подумал я.

Юра добавил:

— Я хочу показать «Маяковского» Георгию Константиновичу. Он обещал посмотреть и поправить, если будут ошибки. Я ведь слаб в анатомии.

Я должен был сказать: «Юра, неужели ты не можешь обойтись без помощи Каретникова? Его нельзя подпускать к Маяковскому и на пушечный выстрел».

Я промолчал...

Два года назад на заседании педагогического совета мы умоляли Каретникова создать в училище кружок скульптуры.

Я говорил о ребятах, которые буквально бредят скульптурой.

— Георгий Константинович,— сказал я,— сделайте доброе дело. Ребята вам по гроб жизни будут благодарны.

Он встал, погладил черные усы, откинул назад красивую гордую голову.

— Я должен сказать,— произнес он с достоинством,— что я принципиально против подобного кружка. Мы с вами готовим мастеров художественного ремесла, исполнителей, а не художников. Если мы начнем учить ребят скульптуре, живописи, мы только собьем их с толку. Они вообразят себя художниками, и им будет скучно заниматься тем делом, к которому мы их готовим...

Мы упрасивали его, убеждали, стыдили. Он слушал нас, поглаживая свои усы, и нагло улыбался. И мы поняли вдруг, что напрасно стараемся—

он из тех людей, которые палец о палец не ударят без расчета на быструю и ощутимую выгоду для себя лично. А какая была ему выгода от кружка скульптуры «на общественных началах»? Уж лучше он своих кургузых человечков будет лепить — его посильный вклад в один из тех пышных монументов, единственная радость от которых — замечательные гонорары их создателей...

Вскоре после того заседания педагогического совета Каретников сам напросился на работу, которая поначалу выглядела как вполне общественная.

Директор собрал всех преподавателей рисунка и лепки и спросил, кто бы взялся сделать экспозицию выставки моделей машин и станков и художественно эту выставку оформить. Это поручение Государственного комитета нашему училищу! Поручение ответственное — выставка всесоюзная! Модели машин и станков изготовлены в технических училищах, в кружках «Умелые руки».

Каретников встал и сказал: «Я готов. С большим удовольствием». Директор спросил: «Есть еще желающие?» В ответ ему было молчание — желающих работать вместе с Каретниковым не оказалось.

Директор назначил ему в помощь двух мастеров производственного обучения.

Каретников не ошибся, конечно, не прогадал. На выставке его заметили из Государственного комитета, потому что в присутствии большого начальства Каретников становился обворожительным, энергичным и даже талантливым, как это ни странно. Он получил премию, а потом и повышение — стал заместителем нашего директора.

Первым его подвигом на этом посту была беседа с корреспондентом газеты, которому поручили написать очерк о нашем училище.

Каретников водил корреспондента по мастерским, поддерживая его под локоток, шутил, улыбался, заливался соловьем.

«Ну и ну! — говорили друг другу преподаватели. — Чего это он так старается?»

Ответ на этот вопрос мы получили в одном из ближайших номеров газеты.

Вместо очерка о нашем училище мы с изумлением прочитали маленькую, но очень прочувствованную статейку о молодом скульпторе, который «весь свой незаурядный талант отдает воспитанию мастеров художественного ремесла»...

Я должен был сказать Юре, что я думаю о Каретникове, но проклятая педагогическая этика заткнула мне рот.

Прошло недели две, а может, и больше. Не помню точно. Был один из последних дней апреля. Через полчаса начинался первомайский вечер. На всех этажах гремела музыка.

Я закрыл библиотеку, спустился на третий этаж. Вхожу в мастерскую, в которой работает Юра. Вижу Зою Михайловну.

— Зоя Михайловна, — говорю, — здравствуйте! С наступающим праздником!

Она молча взглянула на меня, ничего мне не ответила.

Я увидел спину Каретникова.

Высокий, широкоплечий, в новом дорогом костюме, он стоит, растопырив локти — чтобы не испачкать пиджак, — и что-то лепит своими длинными крепкими пальцами.

Я закрыл за собой дверь и прошел к окну.

Каретников притомился. Опустил локти, откинул руки ладонями вверх, пошевелил пальцами, измазанными глиной. Отшел назад, любитесь своей работой.

Я увидел «Маяковского».

Вокруг мускулистой шеи развевается шарфик, символизируя стремительное движение вперед, навстречу ветру.

Я обернулся к Зое Михайловне: что это такое?!

Она не ответила на мой взгляд.

Рядом с Каретниковым стоит Юра. По контрасту с внушительной фигурой скульптора он кажется невзрачным.

Сильные пальцы Каретникова мнут глину.

Он отступил немного назад, развел руки — боится испортить дорогой костюм.

Громкоговорители на этажах замолкли, потом заговорили голосом Анны Ивановны, помощника директора по воспитательной работе.

— Праздничный вечер начинается. Прошу проходить в актовый зал...

Каретников вздыхает. Обернулся к Юре. Его красивое лицо освещает мужественная улыбка.

— Теперь хорошо, по-моему. Как ты думаешь?

Юра молчит.

Каретников оборачивается к зрителям, показывает свои руки, измазанные глиной.

— Пойду приведу себя в порядок, а то Анна Ивановна уже призывает.

Он направляется к дверям, бережно неся перед собой драгоценные руки мастера.

Мы молчим, с тоской смотрим на то, что осталось от «Маяковского».

Выходим в коридор.

Юра остается в мастерской.

Он пришел ко мне на следующий день и положил на стойку книги, которые взял у меня полгода назад.

— Я сломал портрет, — произнес он тихо. — Буду делать вазу...

В читальном зале тихо, пусто: идет последняя неделя каникул.

Я устал без ребят, устал от тишины. Меня угнетают унылые ряды столов и стульев.

Кто-то стучит в дверь. Я говорю:

— Войдите.

Входит Толя Иванов, краснодеревец со второго курса.

Он вырос, окреп, загорел, неузнаваемо изменился за лето.

Толя спрашивает:

— Вы книги выдаете?

— Выдаю.

Он вздохнул.

— Я устал не читать. Дайте мне что-нибудь интересное, пожалуйста...

Девять часов вечера. Все читатели разошлись по домам. В библиотеке пусто и тихо. Я сижу за одним из столов в читальном зале и прислушиваюсь к дыханию училища.

Где-то на втором этаже хлопнула дверь, и до меня доносится истошный вопль циркулярной пилы.

Снова тишина.

И снова отчаянный вопль пилы.

Чьи-то голоса на лестнице. В мастерских занимается вторая смена.

Я сегодня дежурный по училищу. Захожу к лепщикам, к чеканщикам, подошел к мастерской, в которой работают краснодеревцы третьего курса.

В нерешительности останавливаюсь.

Каждый четверг я прихожу в эту мастерскую и рассказываю ребятам о последних событиях в жизни страны и мира. Это мое партийное поручение.

Я не был у ребят недели три, наверное.

Мне совестно. «Может, не заходить?» — мелькает трусливая мысль.

Тяну дверь на себя.

Навстречу вырывается вопль циркулярной пилы. Когда входешь в мастерскую, всегда немного теряешься. Все заняты работой. Пилят, строгают, что-то собирают, что-то переносят. И никому нет до тебя дела. Ты стоишь у дверей и в растерянности смотришь на ребят.

— Здравствуйте! — кричу что есть силы.

Ко мне подходит Василий Степанович, старый мастер производственного обучения.

— Что-то вы давно у нас не были, — говорит он, по-волжски напирая на «о».

Кто-то выключил пилу. Мастерская сразу стала меньше и уютнее.

Ко мне со всех сторон идут ребята.

— Вы нас совсем забыли, — говорит комсорг группы Вася Деревягин.

Я чувствую, что начинаю краснеть.

— Давненько вы у нас не были, — кричит из дальнего угла краснощекий Алешинский.

— Виноват, — говорю я.

— А вы сегодня п-п-приходите, — говорит Никанкин, с трудом преодолевая заикание.

— Я же не готовился, — говорю я.

— А в-вы п-п-просто расскажите, что з-з-знаете. Расскажите про Вьетнам.

— Приходите в десять, — говорит Василий Степанович. — Мы будем вас ждать.

Ребята возвращаются к верстакам.

Я бегу в библиотеку. Беру подшивку «Правды», последние номера «Нового времени». Читаю, размышляю, пишу на листке бумаги тезисы беседы.

В десять часов спускаюсь к ребятам. Они усаживаются вокруг меня на полу, поджав колени к подбородку. — краснодеревцы любят почему-то сидеть на полу. Я волнуюсь, поглядываю в листок с тезисами, теряю нить мысли.

Увидел устремленные на меня глаза парней и успокоился — ребята слушали меня очень внимательно.

Я увлекся, забыл о бумажке с тезисами, и беседа пошла сама собой.

Ребята задают вопросы, и я не на все вопросы сумел ответить.

— Мне нужно заглянуть в энциклопедию, — говорю я, сгорая со стыда. — Я в следующий раз расскажу.

— Хорошо, — говорят ребята. — В следующий четверг.

Прощаясь со мной, они говорят:

— Не забывайте нас, пожалуйста. Приходите к нам каждый четверг...

В библиотеку зашел Саша Еремин, мраморщик. Он в прошлом году окончил училище.

Я обрадовался, вышел к нему из-за стойки, и мы обменялись рукопожатием.

— Как живете? — спросил Саша.

— Хорошо. Спасибо.

— Все с ребятами воюете?

— Воюю.

Он поглядывает на меня и улыбается. Он здоровенный, веселый, высокий. Смотреть на него — одно удовольствие.

— Как ты живешь? — спрашиваю я. — Где работаешь?

— В скульптурной мастерской.

— Работой доволен?

— Доволен. Платят только мало.

— Сколько ты получаешь?

Он называет сумму, которая в полтора раза превышает мою заработную плату.

— Это, по-твоему, мало? — удивился я.

— А разве много? — удивился он, в свою очередь. — Вы знаете, сколько получают ребята, которые на кладбище работают? Памятники рубят, надписи высекают?..

— Знаю. Много получают.

Он называет сумму, в три раза превышающую мою заработную плату.

— Вот это я понимаю, — говорит Саша. — Так жить можно.

— А тебе уж и жить нельзя. Вон как принарядился!

Он ухмыляется.

— Есть ведь пословица: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.

— Это как понимать, что «лучше», что «хуже», — сказал я. — Можно много денег зашибить, не доливая пива в кружки. Говорят, некоторые ловкачи на пивной пене даже дачи строят. Ты поменял бы свою скульптурную мастерскую на такое прибыльное дело?

Он смеется.

— Нет, не поменял бы.

— Ну вот, а ты говоришь: глубже, лучше...

Он задумчиво смотрит на меня и молчит.

Он положил локти на стойку, смотрит мне в глаза.

— Если не секрет, сколько, интересно, вы получаете за свою работу?

Я растерянно молчу.

Он ждет ответа.

Что делать — отвечаю.

Он вытаращил на меня глаза.

— Вы это серьезно?

— Да, — говорю я. — Серьезно. — Я пытаюсь объяснить ему, почему он зарабатывает больше, чем я. — У тебя работа тяжелая. Ты целый день киянкой машешь, каменной пылью дышишь, вот тебе и платят больше...

И еще чего-то я говорил ему, но без особой признательности, убежденности. Свою работу я не считал легкой.

Он качает головой.

— Чего же вы здесь сидите? Поискали бы себе что-нибудь получше. Неужели вы лучше работы не найдете?

— Не найду, — сказал я.

Я резко раскритиковал книжонку, которую с восторженной улыбкой вернул парнишка с небесно-голубыми глазами.

В голубых глазах — обида и разочарование.

Ни бельмеса он в книгах не понимает, думает парень. Гнать таких надо к чертовой матери!

Когда я был «рядовым» читателем, я не задумывался, насколько полезна или бесполезна та или иная книга. Одни книги мне нравились, другие не нравились. Одни я перечитывал, другие не дочитывал.

Только в училище я понял, какая это сила — книги — и какая это ответственная должность — библиотекарь.

От сознания возложенной на меня ответственности меня порой бросает в дрожь.

«Вечер встреч» в нашем училище проводится в первую субботу января. Это мой самый большой

праздник в году. Я толкаюсь среди мальчишек, с которыми сроднился за те годы, что они были моими читателями, и по которым скучаю, как скучают по родным и близким. «С Новым годом! — говорим мы друг другу. — С новым счастьем!»

Они уже не мальчики, конечно, а взрослые люди, мужчины, но я не могу забыть, как эти мужчины просили у меня сказки, смущаясь и краснея. Они не знали, что я тоже любитель сказок, особенно восточных.

Они крепко жмут мне руку, и я вижу, что они так же радуются встрече со мной, как я радуюсь встрече с ними.

— Где работаешь? — спрашиваю. — Где учишься? Как жизнь?

Один художником стал, о нем пишут в газетах. Другой женился. У него сын и дочь! Он показывает мне фотографии.

Третий только что действительную отслужил, в партию вступил. Серьезный, солидный человек...

И все учатся — вот что замечательно!

Кто на курсах мастеров, кто в художественной студии. И в техникумах учатся и в институтах... В каких только институтах не учатся наши ребята! В архитектурном, в строительном, в политехническом... А Федя Лапов в медицинский поступил, хочет быть детским врачом.

Я слушаю одного, другого, третьего...

Только человек, который работает или работал в школе (в самом широком смысле этого слова), может понять, какое удивительное, ни с чем не сравнимое волнение охватывает тебя, когда ты, после года разлуки, встречаешься на таком вот вечере со своими воспитанниками...

Задумался. Замечтался.

Со мной это и сейчас случается — вдруг отключусь, замечтаюсь, как в далекие детские годы, когда я мог мечтать настолько «освязаемо», что иной раз по щекам моим текли слезы, и я слизывал их кончиком языка.

Вдруг почудилось, что я стою на палубе корабля, он мчится вперед на всех парусах.

Корабль этот — моя страна.

Я забился в дальний темный угол актового зала и смотрю оттуда на ребят...

В движении корабля есть капля моего труда.

Всего лишь капля, но моего труда!

Петрушин взял книгу, сказал «спасибо» и умчался, хлопнув дверью.

Спустя минуту дверь тихонько приоткрылась, и в узкую щель просунулась розовая физиономия.

— До свидания, — сказал Петрушин. — Я забыл с вами проститься...

— Дайте что-нибудь жизненное, — попросил Андреев.

— А что ты называешь жизненным? — спрашиваю я. — «Анна Каренина» — жизненная книга?

— Хочется что-нибудь про нашу жизнь почитать, понимаете? Про то, как мы живем... Жизненного чего-нибудь хочется, одним словом...

— Тут где-то рядом твое училище, — сказала де-вушка, которая год спустя стала моей женой.

— Да, — ответил я, — совсем близко.

— Зайдем?

— Зачем?

— Мне хочется взглянуть на твою библиотеку

Я молчал.

— Сегодня воскресенье, никого же нет в училище...

Я упорно молчал.

— Ну, пойдём! Я очень тебя прошу!

Я уступил.

Мы поднимаемся по лестнице. Я рассказываю:

— Эту декоративную вазу вырубил мраморщик третьего курса... Розетки на потолке — работа лепщиков... Люстры делали чеканщики... Стены расписали альфрейщики... Почти вся мебель в училище изготовлена нашими краснодеревцами. На первом курсе они делают табуретки, на втором — столы, на третьем — великолепные книжные шкафы...

В училище стоит воскресная тишина. А воскресная тишина в училище — это мертвая тишина. В ней есть что-то противоестественное.

В читальном зале чисто — посетителей вчера было на редкость мало, — даже столы и стулья стоят на своих местах, на полу не видно ни одной бу-мажки.

Она вошла в читальный зал, оглянулась:

— Ты стоишь за этой стойкой и выдаешь книги?

— Да, — сказал я.

— Куда можно плащ повесить? — спросила она. — Я чувствую себя здесь как-то неловко в плаще...

Я провел ее в книгохранилище и повесил ее плащ и мой тоже на тот гвоздь, на котором сиротливо болтался мой черный рабочий халат.

— Как у тебя тут хорошо! Просто замечательно! — прошептала она.

— Ты еще ничего не видела.

— Все равно хорошо. Я чувствую, что хорошо...

— Вот книги по искусству, — говорю я, — а вот художественная литература...

Она медленно идет вдоль полок, бережно прикасается кончиками пальцев к корешкам переплетов.

Она улыбается. Она счастлива. Она напоминает мне мальчишек, которым я разрешал иногда порыться в книгах — «в награду» за помощь или просто так: чтобы увидеть радость на мальчишеском лице. У нее даже щеки покраснелись.

— Покажи мне читальный зал, — попросила она.

Мы вышли из книгохранилища. Она встала за стойку, на мое рабочее место, и обвела взглядом читальный зал.

— У тебя здесь очень симпатично, — сказала она. — Как-то по-домашнему уютно. Ребята, наверное, с удовольствием приходят к тебе по вечерам.

— Да, вечером здесь полно ребят. И выставить их отсюда бывает очень трудно.

Она прошла в зал и села за один из столиков.

— Ты счастливый человек, — сказала она. — Я завидую тебе, если хочешь знать...



**НИКОЛАЙ  
УШАКОВ**



## «...ВЕСНА ПОЗДНИХ ЛЕТ...»

Казалось, нет поэта с более устойчивой, проверенной десятилетиями поэтической репутацией, чем Николай Ушаков (1899—1973). С первой книгой «Весна Республики», вышедшей в далеком 1927 году, пришла к нему слава не только сложившегося мастера, но и певца «второй природы» — строительных площадок и лабораторий, паровозных депо и шахт, бункеров и самолетных рулей. Поддерживаемая каждой новой книгой поэта, она держала в плену такого прочтения не только критиков, годами писавших об Ушакове как о своеобразном «инвентаризаторе Вселенной», но и самого поэта: и свои размышления о поэзии и сами стихи он подчас слишком жестко ограничивал сформулированным им однажды и долгое время назавшимся универсальным принципом: «История поэзии — это история вхождения жизни в поэзию», — понимая при этом под жизнью ее вещественные приметы.

При жизни поэта вышло около сорока его сборников. Последний, который он успел еще увидеть, «Мой век», был самой большой, итоговой книгой. Но, вчитываясь в хорошо известные строки, вдумчивый читатель этой книги вдруг понимал, что перед ним не просто итог долгой поэтической жизни, но и открывающаяся новая, неизвестная ее страница.

Стихи, оставшиеся на письменном столе Ушакова после его внезапной смерти, стали бесспорным доказательством этого. Но то, что нам, читателям, представлялось неизвестной страницей, в действительности было результатом долгого и противоречивого пути «проб и ошибок», поисков, свершений и недоосуществленности, которым идет каждый честный художник, независимо от масштабов дарования и резонанса творчества. Недаром Ушаков в одной из дневниковых записей заметил, что поэт рождается дважды или не рождается вовсе.

И, перелистывая теперь страницы его рабочих тетрадей, вчитываясь в неразборчивые строки пона еще никому не известных стихов, написанных в разные годы, отчетливо видишь ту сложную работу, которая совершалась — незаметно для постороннего глаза — в душе художника на пути к самому себе.

Публикация Евг. АДЕЛЬГЕЙМА  
и Ирины ГИТОВИЧ

☆☆☆

Какая тишина и негет!  
Какие солнечные дни!  
Но белая полоска снега,  
как ландыш молодой в тени.  
Еще в оврагах снег белеет,  
хоть в зелени стоят холмы,  
но свежестью спокойной веет  
в себе уверенной зимы.

1950.

## Вдохновение

Мерцал весь Харьков в отдаленье,  
Госпром сиял в ночном окне.  
Как лучшее стихотворенье,  
Как счастье, ты пришло ко мне.  
Как в сказке, ангел белокрылый,  
Ты, освещающая ремесло,  
и розами меня укрыло  
и лилиями занесло.  
И было горько мне и сладко,  
и я не мог поднять руки,  
я стал ручьем и без остатка  
ушел в огонь и ледники.  
И было грустно мне и мило,  
и высказалось, как река,  
все, что страдало и любило,  
но не имало языка.  
Все стало ярною приметой,  
что к выражению рвался,  
что этой песнею неспетой  
в тумане тлело и зажглось.  
И стало ясно яснее,  
чем существует белый свет.  
И был я музыкай овеян,  
которой и названья нет.

1935.

☆☆☆

В такое время года  
дни хороши подряд.  
Два белых парохода  
под музыку трубят.  
Уходят в воздух синий,  
всей белизной горя...  
Волна, как хвост павлиний,  
горит из-под руля.  
Два парохода дышат,  
один трубит, другой...  
Два штурмана запишут  
о встрече под яйлой.  
А мы сошлись бесцельно,  
о нас мы не прочтем  
ни в книге корабельной,  
ни в дневнике твоём.

1943.

## Весне

Хотя меж нами расстояния,  
хотя меж нами времена,  
но прежнего очарования  
ты на мгновение полне.  
Мое видение минутное,  
как прежде, кажешься простой,  
и душенька твоя уютна  
сияет ризой молодой.

Мной передуманная заново,  
протягиваешь руку мне,  
и бледная рука до самого  
туманного плеча в луне.

1950.

☆☆☆

Опять весну переживешь...  
Хотя апрель похож на лето,  
хотя на август он похож.  
От электрического света  
звезды вечерней не уйдешь,  
и снова ты весны примета —  
очаровательная ложь.  
Очаровательного цвета  
земля и небо, ну так что ж! —  
Хотя ты не весне, а лето,  
но теплый вечер так хорош,  
что говоришь сповами Фета:  
«Еще весну переживешь!»

1951.

☆☆☆

Нам смерть ревнивая внимала,  
подстерегая нас двоих.  
Пока меня ты обнимала,  
она коснулась рук твоих.  
Ушла соперницею грозной.  
И ты, обняв меня, спала,  
А я проснулся слишком поздно,  
Ты рук уже не развела.

1923.

## Старость

Вы — молодость, вы — благодать,  
А у него — виски седые,  
И он не смеет целовать  
Ладони ваши молодые.  
Минута счастья истекла,  
Томленья тянется веками,—  
Ведь даже тонкого стекла  
Бог не оставил между вами.

1948.

☆☆☆

Если можно было бы сначала  
жить начать одним прекрасным днем.  
Я б хотел, чтоб иволга кричала,  
чтобы набухал простор дождем.  
Чтобы плакал мир его слезами,  
чтоб от слез мне было бы светло.  
Жить с сухими, жесткими глазами  
слишком, слишком, слишком тяжело.

1946.

## Русская осень

Желто-коричневые дали,  
сине-малиновый закат...  
И озими твои привяли,  
и твой румянец сероват.  
Но я люблю тебя, как прежде,  
всегда одну, везде одну,—  
ведь ты равна моей надежде  
на ненаглядную весну.

1947.

## На атолле

На атолле, в океане теплом,  
позабить тебя я не могу.  
Все летит душа к холодным ветлам,  
где на лыжах бродишь ты в снегу.  
У атолпа в теплом океане,  
в чуждальной теплой стороне,  
как на перламутровом экране,  
ты скользишь по льющейся волне.  
В теплом океане на атолле  
позабить тебя я не могу.  
Гребень теплых вод не оттого ли  
для меня, как ты, всегда в снегу!

1947.

## Море трагическое

Ступеньки ведут в глубину—  
в тугие и влажные своды.  
Эпроновец сходит в волну,  
в тяжело-зеленую воду.  
Медузы с огнем голубым  
скользят, как трава голубая,  
и рыбы проходят над ним,  
холодным хвостом задевая.  
Как странно в зеленом лесу,—  
лишь тень корабля шевелится.  
Стоит водолаз на весу  
в хрустальной и тихой гробнице.  
Подняться торопится он,  
да только такая обида,—  
доносит к нему телефон  
тягучий напев панихиды.  
Все ближе, все громче поют  
напев свой торжественно-жуткий,  
и пеннию тон задают  
унылые боцманов дудки.  
Весь царский затопленный флот  
в стеклянной пред ним плащанице  
себе отходную поет,  
висит в вышине, шевелится...

1938.

## Куст на косогоре

С зимою нам беда и горе:  
Смотри, как белый снег глубок.  
Смотри, какой на косогоре  
С сухими листьями дубок!  
Что может быть для нас печальней,  
чем белый снег, чем синий лед,  
чем этот куст сентиментальный,  
который нас переживет!

1941.

☆☆☆

Меж туч все больше свежей бирюзы.  
Все больше голых веток—черных кружков.  
Вот самолет — не больше стрекозы —  
в осенней промелькнул лазурной луже.  
Ты занавеску подняла, глядишь —  
а самолет исчез, замолк — и значит,  
опять такая наступила тишь,  
что слышно, как душа поет и плачет.

1952—1954.



ЭЛЬДАР  
БАХЫШ



## МУЖСКАЯ РАБОТА

**Н**ебольшой дом у самого краешка суши. Когда задувает норд, жесткий песок летит в лицо, стучит по брезенту спецовок.

Песок и морские волны, голубые под солнцем, черные в ненастье. И пазванье у острова подходящее — Песчаный. Правда, определение «остров» успело устареть — от суши на Песчаный пролегла мощная дамба, день и ночь спуют по ней машины. Рядом начинается эстакада, простирающая руки далеко в открытое море.

Домик на берегу — цех капитального и подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления (НГДУ) имени Серебровского. Здесь и работает бригада Фируддина Велиева.

Нефтяники Каспия многим похожи на моряков. Обветренные скулы, восходящий загар, походка вразвалочку — это приметы внешние, есть вещи поважисе. Болши, от которых ходуним ходит эстакада,

залитый водой скользкий настил, беспощадное солнце в штить — море, оно и есть море, тем более такое своеправное и суровое, как Каспий. Он бывает спокойным в этом районе месяца три в году, но больше. Понятно, что характеры проявляются тут видней и резче, чем на суше, — специфика работы такова.

Здесь нет профессий легких, каждая требует выдержки, сноровки, порой самоотверженности. И все-таки ремонтникам приходится, пожалуй, труднее других. Слишком много в их работе неожиданностей. Собственно, она во многом и строится на неожиданностях. Их работа — своего рода «Скорая помощь» в море. То песок забил скважину, то, наоборот, обводнение... А каждый час простоя — многие тонны потерянной нефти.

Конечно, существует подробно разработанный технологический ремонт. И все-таки талант мастера, его чутье, глтуущия значат в ремонтном деле очень много.

Чтобы приобрести настоящий класс ремонтника, нужны годы. И потому я, признаюсь, немного удивился — Фируддин Велиев, которого отрекомендовали как одного из опытейших и умелых мастеров, выглядел, пожалуй, моложе своих двадцати шести лет. Внешность, впрочем, обманчива. С виду кажется, что Фируддин родился и прожил всю жизнь у моря — так по-хозяйски идет он по эстакаде, так, почти не глядя, прыгает на скачущую палубу катерка...

А в действительности Фируддин Велиев вырос в далеком азербайджанском селе Чалгущу (по-русски «певчая птица») и в детстве видел море только на картинках.

Отца Фируддина в селе звали «квishi». И дома звали «киши» — есть у азербайджанцев такое слово. Означает оно — мужчина, хозяин. Слово уважительное, во всех так зовут. Никогда соседи Фируддина не спрашивали «как папа?». Всегда: «как хозяин?» Немало в Чалгущу и в окрестных селах живет ровесников старшего Велиева. Со многими они с молодых лет дружен. И никто из них его иначе, как Мирзаджав-квishi, никогда не называет.

Как-то, еще мальчишкой, Фируддин у отца спросил, отчего его так зовут. Тот посадил малыша на колено.

— Слушай, сынок! Топор наточить, огонь разжечь, камень тесать, траву косить, либо грядки прополоть, дерево окопать — все это вместе называется одним словом: работа. Это большое слово, сынок, ведаюм говерят: у работы вмя тяжелое, а ноги легкие.

Работу искать не надо, она повсюду. Опусть голову — перед тобой котлован для фундамента дома. Фундамент зальешь, после стены подвимаешь, строишь, кровлю ладишь, а однажды оглядишься — и видишь, что ты уже внутри дома стоишь. Все это и есть мужская работа. Я в жизни работы не боялся. Шел арык рыть — брал самую тяжелую лопату,

шел траву косить — там косил, где гуще. Я хочу, чтобы и ты жил так...

Вот какой был разговор, и Фируддин его запомнил. Тем более что поговорить с отцом нечасто удавалось. Приходил мальчишка домой, спать ложился — отца нет, просыпался утром — его кровать уже пустая. Спрашивал у матери:

— Где мужчина наш?

— На работе.

Воскресными вечерами всей семьей садились за стол. Отец во главе, братья по бокам. Самым разговорчивым в семье был Аллахверав, старший брат. И, как заговорит, все о море да о море, и слова другого нет.

Когда был маленьким Фируддин, ему казалось, что либо Аллахверав — хозяин моря, либо море — вроде бы член семьи: настолько разговоры о нем были привычны.

Мать, бывало, ворчала:

— Совсем с ума сошел. Видишь, как море ему в голову затесалось?

А Фируддин слушал и мечтал о море... И вот повезло.

Познал его как-то отец: «Сынок, что-то мне нездоровится. Садись-ка на жеребца, поезжай, искупай его в озере. Только далеко не езд!»

Фируддин пулей вылетел из комнаты. Взобрался на коня, натянул поводья — только ветер в ушах зашвистел. В себя пришел уже на морском берегу. Он тогда не знал стихов о море, которые теперь часами может читать, он не знал нрава моря, его капризов, привычек, редких ласковых дней. Но уже тогда море не было для Фируддина чужим — с этой встречи, ради которой он впервые в жизни нарушил отцовский запрет.

Мирзаджав-квishi встретил сына сурово:

— Ты где пропадал? Мать уже тревожится... Долго ли коня выкупать? Или к морю ездил, отвечай?

— Нет...

И тут отец неожиданно улыбнулся:

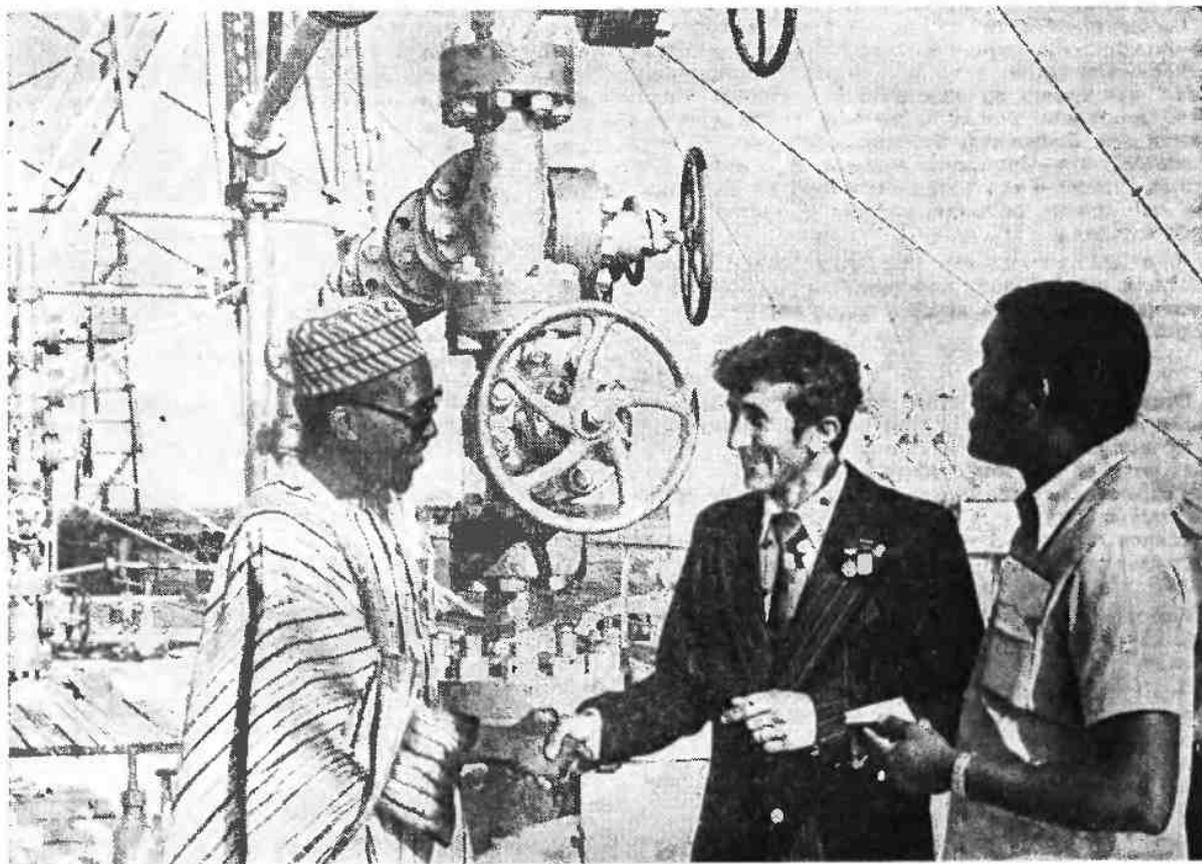
*«Улдуз» по-азербайджански «Звезда». «Звездой надежды» называют наш журнал читатели. И думаю, что справедливо называют. Многие наши авторы — молодежь, люди самых разных профессий. Например, Шахмар Гусейнов — актер, Рафик Тагиев — врач районной больницы, Фуад Исмаилов — рабочий завода бытовых кондиционеров, а Саяд Будагов — строитель. Они делают самые первые шаги в литературе, и, выступая под рубриками «Первые стихи», «Первые рассказы», не без основания связывают свои надежды на будущее с «Улдузом». Здесь у нас получили путевку в жизнь многие ныне известные в республике литераторы, такие, как Акрам Айлисли, Фикрет Годжа, Мамед Исмаил и другие. Эта известность и уважение дальше нелегко. Они результат кропотливого труда и, что совершенно очевидно, активной творческой помощи наставников из редакции. Только один пример. Рассказ восьмиклассницы Таране Мамедовой был впервые представлен у нас в «Улдузе». И этому представлению предшествовала кропотливая работа.*

*О чем пишут молодые на страницах «Улдуза»? Поэма Малика Фарруха «Запах земли» — о знатном механизаторе Сардаре Имралиеве. Повесть Неймата — о нефтянике Нерафиле Гусейнове. Поэт Талех Бабаев пишет о строителях Шамхорской ГЭС, над которой «Улдуз» вот уже несколько лет шефствует.*

*И публицистика журнала — в самой гуще жизни, на самом ее острове. Подаром, например, статьи Вагифа Ибрагима о БАМЕ удостоены премии Ленинского комсомола республики.*

*Сегодня мы знакомим читателей «Юности» с работами журналистов «Улдуза» и рисунками нашего художника Адалата Гасанова — в надежде, что с литературными произведениями таких мастеров, как Анар Эльчин, Иса Меликзаде, Сабир Азери (впервые они тоже печатались в «Улдузе»), вы успели познакомиться в русском переводе.*

Юсиф Самедоглы,  
главный редактор «Улдуза».



И а с н и м к е: оператор Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) имени Серебровского Фирруддин Велиев с участниками международной научной конференции.

— Ну, а по правде? Ты ведь еще только к дому подъезжал, а я уже понял, в чем дело. У нашего Белого (так жеребца звали) норы известный: если он в озере купается — после ушами прыгает, а если в море — ногами перебирает, танцевать ему охота...

И добавил строго:

— Смотри, чтобы больше этого не было.

Фирруддин тогда не понял недовольства отца. Только потом, когда старше стал, разобрался. Знал отец, что рассказы брата для мальчишки бесследно не проходят. Но не хотел, чтобы и второй сын покинул родной дом. И село. И работу — ту самую, простую и трудную, которую Мирзаджан-киши ценит выше любой другой. Ту, которую своими руками делаешь, и видишь ее плоды. Мужскую работу.

Аллахверан приехал из Баку с большим чемоданом. Чемодан был битком вабит. И как всегда, Аллахаверан достал из него гостинцы, подарки... Всему семейству и соседям тоже. Опустел чемодан, только брата вещи остались — их совсем немного было, да книжка с картинками. «Календарь», — прочел Фирруддин на обложке.

Замечательные снимки там были: дома, деревья, мосты — цветные, красивые. А самое главное, что

все это было на синем фоне, над водой, о таком Фирруддин никогда не слышал.

Аллахверан повесил эту штуку над диваном. Спросил брата:

— Ну как, в снимках разобрался?

— А чего разбираться? Это море, мосты, дома...

— Эх, ты... Море... мосты... Это целый город в море, на сваях! И не мосты это, а эстакады...

Аллахверан не жалел красок:

— Представляешь, целый город в открытом море. «Нефтяные Камни» называется. Из Баку туда несколько часов надо теплоходом плыть. А как красиво там! Многоэтажные дома, улицы светом залиты, кинотеатр, клуб, цветы...

— А что там делают?

— Как что? Работают...

— Кто работает?

— Нефтяники. Нефть добывают со дна моря.

— В нефтяники всех берут?

— Ну нет, не всех. Кто достоин.

Тут Фирруддин набрался смелости:

— А из меня выйдет нефтяник?

Брат поглядел на него оценивающе:

— А почему же? Может выйти... — И тут же спохватился: — Только что же получается, дорогой ты мой? Я моряк, ты в нефтяники пойдешь, а кто же в деревне останется?..

Фирруддин настаивать не стал.

— Да нет, — сказал, — я так... Просто спросил.

Конечно, брат вскоре забыл о разговоре. Мальчишке четырнадцать лет — в эту пору увлечения меняются чуть не каждый день. Могло бы так и с Фируддином произойти, конечно, хоть он о море мечтал всерьез. Но вышло иначе.

Перед окончанием восьмилетки классный руководитель завел с ребятами в классе Фируддина разговор о будущем. Зохра сказала:

— Я хочу стать врачом.

Эйваз:

— Я инженером на строительстве.

Дошла очередь и до Велиева. Он растерялся — говорить, не говорить? И бухнул:

— А я нефтяником буду!

— Значит, по стопам брата решил идти?

— Вот еще! Он моряк, я нефтяник. Где одно, где другое...

Очень запальчиво он это сказал, потому что все засмеялись — и учитель и ребята.

Но для Фируддина с этой минуты выбора уже не было. Вслух сказал, значит, делай.

Мирзаджан-киши не раз говорил: «У мужчины, запомни, одно слово».

Фируддин окончил восьмилетку в Чалгушу на пятёрки и четвёрки. Казалось бы, есть смысл учиться дальше, но отец возражал. Мужчина, хозяин рассуждал так: оковчат сына десятый класс, уедет в Баку, в институт, и в деревню не вернется, а уж очень хотелось Мирзаджану-киши, чтобы сын работал в деревне. Чтобы дом построил, чтобы деревья сажал. Чтобы детей, к примеру, учил и видел плоды своих трудов, и от земли не отрывался: стал бы, к примеру, сельским учителем...

А поскольку у мужчины слово с делом не расходится, забрал отец документы Фируддина и поехал с сыном в Шемаху, в педагогический техникум.

А дальше было вот что: отец вернулся домой, а Фируддин на следующий день отправился к директору техникума.

— Верните, пожалуйста, мои документы.

— Почему, ай бала!

— Я хочу быть нефтяником.

— Если ты хочешь быть нефтяником, зачем же принес документы в педагогический?

— Это не я... Это отец принес...

Больше всего боялся Фируддин, что директор откажется вернуть документы. Но тот только головой покачал, открыл сейф...

С документами в руках Фируддин вышел на улицу, впервые предоставленный самому себе. Он своего добился... Все последнее время только и думал, как избавиться от этого техникума. Ну а дальше? Куда идти? Этого он решительно не знал. Побрел куда глаза глядят и незаметно очутился около автовокзала. Там его окликнули — Сулейман, одноклассник, весело махал рукой с подвожки автобуса.

— Ты куда?

— Я в Баку. Давай со мной!

И Фируддин сел в автобус, потому что назад возврата не было.

Отец, правда, обиделся крепко. Еще бы, вся деревня звала, что его сын будет поступать в педаго-



гический техникум. А он, сопляк, смотрите-ка, свою волю диктует. Отца осрамил перед всем народом. Едва ли не в первый раз в жизни Мирзаджан-киши не сдержал своего слова, не по своей вине, впрочем. Сын пошел в него характером, крутой, своервный. Но отец даже разговаривать с ним не хотел. А потом, когда стал разговаривать, все равно не забывал Фируддину истории с техникумом. Долго не прощал...

Много воды утекло, и настал день, когда Мирзаджан-киши приехал к сыну в гости, на Песчаный.

— Хочу на твою работу посмотреть...

Фируддин вызвал катер.

— Пойдем на отдельное основание. Там ремонт сложный, а отдыхать везде, не устанешь, ай киши?

— Постыдись...

Фируддин Велиев считался к этому времени уже одним из лучших мастеров по ремонту в НГДУ, был награжден Золотым Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», сфотографировался в Москве у Звameви Победы, стал лауреатом премии Ленинского комсомола республики... А для отца оставался непослушным сыном, сбжавшим в город от настоящей мужской работы.

Отдельное основание — это металлическая этажерка в открытом море. Сквозь щели в дощатом настиле видно, как волны лижут обросшие зелеными подорослями ржавые трубы. Площадка тесная — в какой угол ни стань, все равно ты у кого-то на пути.

День погожий. Солнце жарит нещадно. Ребята, голые по пояс, в черных и рыжих потехах от тавота и ржавчины, ведут ремонт, опускают в «захворавшую» скважину трубы... Промывка, продувка, подъем — и снова и снова... Пот струится по лицам. Мышцы вздуваются от напряжения.

Мирзаджану-киши тоже жарко, а тени нет. Но больше всего он не от жары страдал, а от того, что стоит без дела, когда рядом работают. И помочь не может — все мудреное, и непонятны фразы,

<sup>1</sup> Вала — мальчик.

которыми перебрасываются ребята. Да и не пужна им помощь, а лишним он себя чувствовать не привык.

Солнце уже село низко, когда наконец Фируддин утер лоб ладошкой.

— Всё на сегодня!

Подошел, уперся руками в перила.

— Смотри, отец, какое море красивое!

И Мирзаджан-книш ответил:

— Очень красивое, сынок...

Молчаливое призвание отца значило для Фируддина не меньше иных высоких наград. К нему лежал долгий путь...

После трех лет армии и окончания нефтяного техникума Фируддин стал работать помощником у известного ремонтника Рафи Фатуллы. У того за плечами большой стаж и опыт. «Теория — это хорошо, — говаривал мастер Рафи, — по только практика, она, брат, не менее ценна».

А чему он учил Фируддина? Умению организовывать работу? Да, конечно. Но, кроме того, он учил его подмечать мелочи, нюансы, детали, не очень заметные со стороны.

Все это пригодилось, когда представился случай проявить себя. Фируддину тогда было двадцать два года. На отдельном основании потребовалось срочно провести ремонт колонны в скважине. Случай рядовой, однако требующий опыта и умения — такие работы вели самые опытные мастера. Но все ведущие бригады ремонтников оказались в тот момент заняты, а Фируддин — нет. Вот начальство и решило послать его, исходя, видимо, из того, что хуже не будет, а так — кто знает, может быть, и успеют ребята сделать что-то перед приходом опытных ремонтников.

Фируддин с товарищами успел все. И уложился по времени в две трети отведенной нормы — результат для молодого мастера прекрасный. Сам Фируддин считает, что успех решил четкая оценка ситуации и как следствие — верная организация работ. Это так, но, думаю, дело не только в этом.

Когда ремонтников на основаниях застает штормовая погода, сидят в будке, степки фаверные скрипят, волны бьют о сваи, но, кажется, нигде и никогда не бывает разговоров теплее и откровеннее. Шторм — дело долгое, обо всем можно переговорить.



На снимке: далеко в море шагнул нефтяной «город».

И тогда Фируддин начинает читать любимые строки из Расула Рзы:

Море — как человек!  
И море еще — как время...

Но вот волны начинают стихать, становится светлее, ветер еще хлещет, холодный, пронизывающий. И тогда уж так неохота выходить из будки, где тепло от табачного дыма и от жарких споров. Но выходить все-таки надо.

Обычно это бывает так: Фируддин замолкает, первым надевает свою робу и говорит: «Я пошел, ребята». И толкает дверь. Он никого не приглашает с собой ни словами, ни взглядом. Он просто раньше других выходит в непогоду, и остальные идут за ним. А поскольку работа морская по специфике своей тяжела, думаю, фактор энтузиазма и сплоченности тут «работает» сильнее, чем где бы то ни было.

Вечером уютно горят лампы в общежитии. Занавески колышутся, дует сквозь щели в окне. Из репродуктора на стене звучит медленная, протяжная мелодия азербайджанской народной песни.

Переживая с ребятами шторм на основании, я грешным делом подумал, что после таких вахт они должны бы отдыхать подалее друг от друга, — трудно ведь видеть один и те же лица... Но нет, почти вся бригада здесь — Ильяс Садыгов, Мехман Чилибиев, Шахрза Гусейнов... И Фируддин здесь. Он долго жил в общежитии, да и теперь тут частенько остается.

Прислушиваюсь: сейчас речь о хоккейном турнире. Я заставал здесь ребят и за жаркими спорами о комсомольских делах, о международном положении...

А год назад видел, как каждый вечер упорный

Фируддин заперлся в комнате с молодыми помощниками бурльщика Гарагулу Таировым и Мамедом Мамедовым — помогал им готовиться в институт. Даже вместе с ними пошел потом документы сдавать...

Думал не раз, откуда в совсем молодом человеке такая озабоченность судьбой молодых — такое приходит обычно с годами, с опытом...

Или не может он себе простить того, что уехал все-таки из Чалгушу, хотя и не мог поступить иначе... Отец ведь хотел, чтобы молодые оставались для настоящей мужской работы. А у Фируддина такая работа здесь, в море. И не может он примириться с тем, что мало молодых идет на морские промыслы. Что ж, если Баку уже не нефтяная столица страны и если в республике втягиваются развиваются перспективные отрасли промышленности — электротехническая, радиоэлектронная, труд нефтяника не стал менее почетным, и молодые на промыслах нужны никак не меньше, чем прежде.

Об этом говорил Фируддин, выступая на XXX съезде комсомола республики в марте 1978 года. Его выступление отметил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиевич Алиев. Сейчас комсомол Азербайджана объявил морские нефтепромыслы ударной стройкой. Туда решено посылать

лучших представителей молодежи. Это решение уже претворяется в жизнь. А в памятные дни съезда Фируддин был избран членом бюро ЦК АКСМ Азербайджана.

Недавно мне попалась на глаза записная книжка Фируддина. Коричневый потертый переплет, заляпанные странички... С разрешения Велнева я открыл книжку. Одна из обычных дней. Десять пунктов, аккурратно записанных и потом зачеркнутых второпях разными чернилами. Среди них: профилактический осмотр фильтра на 114-й буровой, проведение цехового комсомольского собрания, подготовка статьи для газеты, посещение общежития...

И я вспомнил рассказ о детстве Фируддина. «Приходил домой — спать ложился, отца нет, просыпался утром — его кровать уже пуста. Спрашивал у матери: «Где мужчина наш?» «На работе».

— А твой сын где родился? — спросил я у Фируддина. — Наверное, в Чалгушу?

— Нет, друг, — сказал Фируддин, положив мне руку на плечо. — Как раз не в Чалгушу, а здесь. Открыл глаза — и увидел море. Наверное, морским человеком станет, как я...

Перевод  
Ирны ДВОРКИНОЙ



## ПЕСНЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

Беседа с Поладом  
Бюль-Бюль Оглы

— Известно, что эстрадная песня сегодня — один из самых популярных жанров. Какой, по-вашему, она должна быть?

— Трудный вопрос вы мне задаете. Сколько песен я написал и спел — и все равно ответить нелегко. Собственно говоря, спросите не только композитора — поэта, писателя, вообще художника о том, каким должно быть его произведение, и окажется, что ответить ему впросто. Но поскольку вопрос задан...

Все вроде бы согласны с тем, что песня должна быть выстраданной, находить отклик в душе слушателя, доставлять ему эстетическое наслаждение. Однако каждый добивается или, вернее, стремится добиться этого своими путями. Мне современная эстрадная песня представляется своего рода новеллой. В ней не должно быть ничего лишнего, за несколько минут исполнитель должен раскрыть, так сказать, характер песни. А для этого необходимы высокая исполнительская культура, мастерство, свободное владение всеми формами сценического движения. При этом, конечно, важно, чтобы мироощущение композитора, его музыка, его язык были современны.

Я всегда думаю о диапазоне, о возможностях песни. И задаю себе один и тот же вопрос: как и из чего возникает она? Думаю, что и другие композиторы время от времени спрашивают себя об этом. К сожалению, по нашему радио и телевидению, в концертных залах звучит столько сухих, холодных и невыразительных песен, мелодий которых похожи одна на другую. Конечно, такие песни не могут встретить у слушателя эмоционального отклика, а, наоборот, бессодержательная, ремесленная, «проходная» портит вкус молодых слушателей, не умеющих порой отличить подлинное от поддельного.

Я сказал, примерно какими, по моему разумению, признаками должна обладать настоящая эстрадная песня. Добавлю еще, что она непременно должна опираться на прошлое, на какую-то эмоциональную информацию, нравственный опыт слушателя. Я стараюсь, чтоб мои песни-новеллы были, так сказать, одной ногой в прошлом, а другой — в настоящем. Разумеется, все это для будущего, для будущего песни и ее слушателей.

— Часто приходится слышать справедливую критику в адрес певцов-исполнителей. Вроде бы недостатки всем очевидны, а изживаются они очень медленно. В чем тут дело?

— Вопрос в принципе совершенно правдив, и честно скажу, что проблемы повышения мастерства исполнителей у нас очень остры. Можно сказать, что занимаются ими бессистемно, если вообще занимаются. Но тут еще вот в чем дело: в печати нередко публикуются мнения самые разноречивые. В противоречиях нет беды, если за каждой из сторон — обоснованная, весомая позиция. Ну, а если это, как часто бывает, случайная, заурядная публикация, отклики «по поводу»? Тогда читатель вполне справедливо спрашивает: кому же верить? Вопросы, связанные с эстрадной песней, перешли в довольно опасную категорию проблем, в которых все считают себя специалистами. Однако нет ничего хуже дилетантских представлений о работе музыкантов.

— Припоминается такой случай. Однажды мне поручили написать о концерте одного молодого дирижера. Я добросовестно «высидел» концерт, потом поговорил с дирижером и с оркестрантами, позанимался дома с литературой, подобрал несколько подходящих цитат. Материал, в общем, как у нас говорят, складывался. Я его написал. И вышел материал гладкий, ровный, ни к чему не обязывающий. Что-то меня, однако, в нем тревожило. Газетная статья — это пища для размышлений десяткам тысяч читателей. Для нее нужен серьезный повод. А что же в данном случае? Неоперившийся дирижер, которому самому надо еще много учиться, совершенно заурядный концерт... А где же повод для выступления газеты, что произошло, о чем, собственно, говорить?

И я без сожаления отложил материал...

— Действительно, хорошо, что так случилось. Но сколько подобных статей выходит... Полное отсутствие профессионализма, убогий словарь... Сколько раз я пытался себя уговорить, что реагировать на подобные выступления не следует, — никак не могу. Как только читаю — в очередной раз, — что «у такого-то есть свой мир», просто диву даюсь.

Свой мир действительно есть у каждого человека, тут возражений нет, но мир певца, мир художника — это, согласитесь, довольно ответственное понятие. А тут бывает, что у человека и голос толком не прорезался, а рецензент спешит говорить о его мире,

причем мира этого в статье или рецензии при всем желании разглядеть не удастся.

Наши критики привыкли, что есть исполнители и композиторы, которых надо хвалить, есть те, о которых нужно умалчивать. А критиковать — это, мол, дело благодарное. Предпочитают обходиться без критики. Конечно, это достаточно простой путь, но плодотворный ли?

Сегодня в нашей стране и во всем мире немало прекрасных певцов. Благодаря телевидению их творчество в буквальном смысле слова у всех на глазах. Надо это использовать и учиться лучшему. Однако у наших певцов сценические движения чаще всего примитивны, однообразны. Примитивный иллюстративный стиль поведения на сцене: «вздыхание» рук, закрывание глаз или прижимание ладоней к сердцу — все это одинаково плохо, бледно, плоско, шаблонно. Певец должен быть актером. Правда, те упрёки, которые я сделал, относятся не только к исполнителям. Нередко режиссеры концертов и передач настоятельно требуют от них именно такой трактовки.

У наших исполнителей, по мой взгляд, две беды. Первая — стремление к чрезмерному форсированию голоса, часто без всякой на то нужды. Оно порой диктуется только желанием «показать» голос. И второе — неумелое, сильно связывающее впечатление загромождение со зрительным залом.

Что сказать? Было время, когда голос был основой в исполнении народных мелодий, особенно это касается искусства исполнения мугамов. Я за национальные традиции, без них хорошую современную песню не напишешь. Но ведь надо понимать, что природа, архитектура, образный строй современной песни совершенно иные, чем мугам.

Французские певцы-шansonье — тихий речитатив, разговорные интонации — на первый взгляд ничего особенного. А прослушаешь песню — и видишь, как много тебе сумел рассказать большой мастер.

Хочу привести пример. Не так давно я был во Франции. Друзья много рассказывали мне там о популярном молодом шансонье Жюльене Клэре. До того много, что я, признаюсь, проникся к нему некоторым предубеждением. С таким настроением я пошел в концертный зал «Олимпия».

И вот начался концерт, и я обо всем забыл. Играл прекрасный ансамбль, а Жюльен Клэр так пел, так прекрасно двигался по сцене, что я чувствовал себя, словно со мной разговаривал старый добрый знакомый.

Так вот я расстался с одним из своих предубеждений, зато утвердился во мнении, что настоящее искусство разрушает любую предвзятость.

Хочу сказать и еще об одной важной проблеме — взаимоотношения зрителей с исполнителем. Тема эта трудная, но говорить об этом надо. Бывает, зрители ведут себя бестактно, тут и неуместные выкрики, и просьбы повторить, и попытки навязать исполнителю волю зала — кто из певцов этого на себе не испытал?

Я прошу прощения за то, что говорю так резко, но говорить об этом спокойно не могу. Ведь человек начинает нервничать, если от него требуют снова и снова петь, к примеру, одну и ту же песню. У исполнителя есть свой план, свой рисунок концерта, и повторять ту или иную песню или исполнять другую, быть может, менее близкую ему, которую зал настойчиво требует, он не может. Импровизация — это редкий дар, это высокий талант, и далеко не все им обладают. Это, казалось бы, ясно как дважды два четыре. Однако история повторяется...

— Полад, хотелось бы поговорить с вами о наших эстрадных певцах, услышать ваше мнение о них.

— Должен сказать, что с эстрадными певцами дело у нас обстоит не лучшим образом. Ведь подготовка эстрадного певца специфична, она в корне должна отличаться от подготовки, скажем, оперного солиста. У эстрадного певца должна быть линия, стиль и по меньшей мере свой репертуар. К сожалению, у нас в республике я таких певцов из числа молодых почти не знаю. Или этот жанр не нужен? В полуторамиллионном городе Баку нет до сих пор молодежного вокально-инструментального ансамбля — я имею в виду достаточно профессионального.

Понятно, если нет заботы о воспитании молодых талантливых исполнителей, откуда им взяться?

Удивительно, что при такой постановке дела несколько талантливых ребят, которые в перспективе могут выйти на союзную аудиторию, у нас все-таки есть — это Джавашир Алиев, Заур Нуруллаев. К ним можно прибавить от силы еще несколько имен. Вот я и думаю: сегодня мы гордимся Муслимом Магомаевым, вокальным квинтетом «Гая» — они широко известны и у нас в стране и за рубежом, и творческий почерк их, думаю, в комментариях не нуждается. Они — гордость нашего сегодняшнего дня. Но кто же позаботится о завтрашнем?

— Кто, по-вашему, сейчас относится к лучшим эстрадным исполнителям Союза?

— Очень трудный вопрос. У нас немало замечательных певцов, и тут у каждого, наверное, свое мнение — кому что ближе. Лично мне из лучших советских исполнителей нравятся Иосиф Кобзон, София Ротару и Алла Пугачева. В их исполнении сильны элементы драматургии — то, что лично я очень ценю в эстрадном пении. Хотел бы отметить еще лауреата конкурса «Золотой Орфей» Розу Рымбаеву. Она очень интересно поет, даже удивляешься, откуда у этой хрупкой девушки такой сильный голос, такая проникновенная манера. Среди ансамблей нравится новый состав московских «Самоцветов».

— Полад, говорят вы работаете над записями вашего отца, народного артиста СССР Бюль-Бюля.

— Да, я принимал участие в работе по реставрации магнитофонных записей отца. Фирма «Мелодия» выпустила альбом стереофонических грампластинок «Искусство Бюль-Бюля». На этих дисках много народных песен. Я отношусь к ним как к точке отсчета и не очень, признаюсь, люблю вариации на их темы. Народные песни сами по себе незабываемы. В азербайджанских народных мелодиях столько полета, столько чистоты, столько прекрасного, столько святого духа памяти народной. Всем нам есть что черпать из этого неиссякающего источника, и как бедны те, кто проходит мимо.

— Расскажите о ваших последних работах и творческих планах.

— Планы прежние — работать и работать. Написал несколько новых песен, цикл «Мужество» на стихи Николая Добронравова... Обратился к стихам поэта Роберта Рождественского — написал на его стихи три песни-монологи. Работа для меня новая и не вполне обычная. Интересно, что стихи еще при чтении захватили меня, я почувствовал, что буду писать музыку. Но формы этих стихотворений, их внутренний ритм

резко отличаются от привычно песенного. Многие удивлялись, говорили, что на эти стихи песен написать нельзя. Но... монологи написаны, слушатели уже слышали их — я цел их на Центральном телевидении.

И, конечно, как прежде, продолжаю совместную работу с азербайджанскими поэтами. Написаны песни «Азербайджан», «Журавли», «Я иду с первой встречей» на слова поэта Мастана Алиева. Писал песни на слова Наби Хазри, Джабира Новруза, Фикрета Годжа и продолжаю сотрудничать с этими поэтами, так что будут и новые песни.

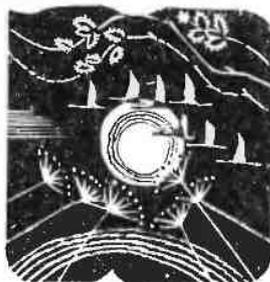
— Бы ведь написали музыку и для многих фильмов азербайджанской киностудии.

— Да, я написал музыку к фильмам режиссера Эльдара Кулиева: «Попутный ветер», «Сердце, сердце». Мне очень нравится, что Кулиев отводит музыку в фильме важнейшую роль. Очень доволен этим сотрудничеством. Написана музыка и к последнему фильму Эльдара «Бухта радости». Фильм, кстати, удостоен Государственной премии Азербайджана. Сейчас пишу музыку к двухсерийному историческому фильму «Бабек».

— И последний вопрос. Кому вы доверяете исполнение собственных песен?

— По-разному бывает. Конечно, не все свои песни я пою сам — для каждой песни характерен свой рисунок, свой голос, своя исполнительская манера. Я рад, что за исполнение моих песен берутся как известные, так и молодые певцы. Но есть и такие, которые пою сам. Согласитесь, мало кто может лучше композитора почувствовать до конца то, что он сам написал.

Беседу вел Видади МАМЕДОВ  
Перевод Александра ГРИЧА





МАРК ИМШЕНЕЦКИЙ

# ДОНСКИЕ АТОМЩИКИ

**В**ернешься из командировки — близкие, друзья, коллеги обычно спрашивают: «Где был?»

— На БАМе, — отвечаешь, к примеру.

— А-а, на БАМе, — понимающе тянет твой собеседник. — Понятно, понятно.

Что ему может быть понятно, если БАМ — три тысячи километров с гаком, а он даже не повтребовался, на каком участке магистрали довелось быть? Если на одном плече дороги — горы, на другом — болота, если в Нижнеаигарске живут буряты, а в Беркаките — якуты!

Так же было и в этот раз. Встречаюсь с одним.

— Где был? — спрашивает.

— На Атоммаше.

— А-а, ясно, ясно.

— Что тебе ясно?

— Ну, завод грохают такой. Где-то на Дону или на Волге...

— В Волгодонске, на берегу Цимлянского водохранилища...

— Во-во, правильно! Видел я фотографии: цехи какие-то необыкновенные строят...

— Уже кое-что построили. И продукцию начали давать. Станки работают. И Атоммаш уже не завод, а производственное объединение, завод-институт. Ты слыхи нижеперев, рабочих: токари, термисты, сварщики...

— Вот я и говорю, видел на фотографии сварщика. Приподнял он щиток и где-то там, на верхотуре, улыбается, тыкает куда-то электродом...

— Нет, сварка там не ручная, а плазменная. И сваривают детальки весом в сто, двести, а то и триста тонн. А цеховые краны могут поднять «детальку» и в шестьсот тонн...

— Ну?!

— Вот тебе и «ну»!

Только не в этих, конечно, «слоновых» весах и габаритах дело, а в самом современном техническом оснащении завода. Там работают и монтируются не только первоклассное отечественное оборудование, но и станки из Италии, Франции, Швеции, Японии, Швейцарии, США. Но «нафаршировать» цехи ультрасовременными станками — это тоже еще поддела. Сложнее другое: накопить людской потенциал, за короткий срок создать из приехавших со всех концов страны производственный коллектив. Вот почему Атоммаш напоминает сейчас гигантский реактор, только процессы там идут посложнее, чем в атомном. Создаются цепочки устойчивых связей между подразделениями, выпаривают:

На снимке: токарь-варусельщик Владимир Гореликов (слева) и подручный Валерий Гольцов.

Фото Б. ТИЛКИНА.

ся ложные цепности, выпадают в осадок рвачество и хаотичность. И мало-помалу устанавливается между людьми цепная реакция веры в свой Атоммаш, надежды на успех работы Атоммаша, любви к делу, которым живет Атоммаш. И кристаллизуется новый коллектив — донские атомщики...

Удивительный самолет ЯК-40: легкий, верткий, а в то же время — отличный плапер. Поэтому и взлетает он чуть не вертикально, а на посадку идет, как кенгуру, большими скачками. Только что а в иллюминаторе было ослепительное в своей космической первозданности солнце, голубовато-фиолетовое небо, как вдруг — скачок вниз, и мы уже под облаками. Туман окутал море рваным одеялом. Одеяло старое, грязно-серого цвета. И лед на море тоже серый. И степь по берегу тоже серая. И чувствуешь себя сиротой и одиноко в этой бескрайней, унылой степи, обнявшей скромный бетонный кубик с надписью «Аэропорт Волгодонск».

Весна еще только проклюнулась. Сошел снег, пабухают почки на тополях, вытянувшись вдоль дороги, ведущей из аэропорта. Но вет пока ни листочка, ни зеленой травинки, которые бы расцветили серое однообразие. Умом, конечно, понимаешь: еще и месяца не пройдет, как ярким ковром заиграет степь во берегам Цимлянского моря, запереструют разноцветные треугольники парусов на воде, наберут желтизны от солнца песчаные отмели. Какое уж уныние, когда кругом такая благодать! А пока... Ну, что тут поделывать? Кажется, что забросила тебя судьба в степную пустыню, где все начинается с колышка, где предстоит тебе жить долгие годы и строить загадочный завод-гигант «Атоммаш»...

Автобус бежит все дальше и дальше. Постепенно пропадает ощущение одиночества и уныния. Вот уже дорога пробирается между порядками аккуратных краснокирпичных домиков; вот уже мимо замелькали мощные конструкции плотины Цимлянской ГЭС, рядом слева — гигантские захлопнувшиеся створки шлюзовых ворот Волго-Донского канала, а справа — вдалеке, на гранитных постаментах шлюза № 15, казаки с пашками вздыбли могучих донских жеребцов.

Еще десять минут — и автобус едет городской улицей: пятиэтажные дома, клуб, новое здание железнодорожного вокзала, институт, порт, над причалами которого, как добросовестные ученики, подыали руки многометровые краны.

И снова несколько километров незастроенного пространства, «нейтральная земля», как в шутку говорят здесь, словно парочно оставленная, чтобы эффективнее почувствовать разницу между старым Цимлянском (Цымла — так называли эту донскую станцию) и новым Волгодонском, городом будущего, таким, как Набережные Челны, Тольятти, Усть-Илимск. Сейчас, проезжая мимо первых шестнадцатиэтажек, мимо внушительно-мраморных стен кафе «Надежда», мимо высоченной трубы ГЭЦ, обгоняя маршрутные троллейбусы, спешащие к проходной первого корпуса, поверить в город будущего не так уж трудно. Но сколько надо было иметь веры в успех, сколько надежды, что «город будет», сколько любви к этой бескрайней степи тогда, в августе 1975-го, когда бетонировали первую буронабивную сваю! Или тогда, в феврале 1976-го, когда сдали под отделку первый дом Нового города. Или тогда, в апреле 1976-го, когда уложили бетон в первый фундамент под оборудование. Вера, надежда, любовь — на этих трех китах выросли корпуса Атоммаша. Но это лишь начало. Закладывается новый завод, еще бо-

лее крупный по масштабам — «Энергомаш». Предполагается, что в 1983 году население Волгодонска достигнет полумиллиона человек. Вот тебе и казачья станица Цымла!..

Есть у меня дома памятный сувенир из города Обнинска. Небольшая шестигранная призма из органического стекла. Сквозь прозрачные плоскости виден упрятанный внутрь черный цилиндр, на торце которого надпись: «Графит реактора первой АЭС». Когда читатели познакомятся с этими строчками, страна как раз будет отмечать юбилей этой новой отрасли энергетики: четверть века назад, 27 июня 1954 года, начала работать первая в мире АЭС в Обнинске. Ее мощность сегодня представляется смехотворной: 5 тыс. квт. Атоммаш будет выпускать оборудование для АЭС общей мощностью до 8 млн. квт в год.

Сейчас на Атоммаше по-прежнему широко ведутся строительные работы, монтаж оборудования. Но параллельно уже действует и основное производство: к концу 1981 года первый атомный реактор в комплекте должен быть поставлен заказчику. Первоначально завод будет производить оборудование для атомных электростанций с реакторами на тепловых (медленных) нейтронах. Затем — такая конструктивная возможность заложена при проектировании Атоммаша — начнется производство оборудования АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. «Быстрые станции» удовлетворят потребность в энергии в любом районе страны и в любом количестве...

Теперь к обнинскому черному цилиндру графита я добавил еще один «атомный» сувенир — фиолетовую спираль-стружку первого донского реактора. Обработка его деталей началась в корпусе № 1 в бригаде Юрия Ивановича Тихонова 15 августа 1978 года (эта дата — важная веха в истории Атоммаша). Я разыскал тех ребят, которые в тот исторический день легким нажатием кнопок и поворотом рычажков привели в действие карусельный станок, начав обработку первой донской «атомной» заготовки.

Володя Гореликов и Валерий Гольцов — экипаж, обслуживающий этот карусельный станок. По возрасту и по квалификации — типичные атоммашевцы. По убеждениям и настроениям — донские атомщики, связавшие свою судьбу с Волгодонском надолго. Скорее всего, навсегда.

Чтобы попасть в корпусный цех, надо миновать проходную первого корпуса, спуститься в подземный переход и долго топать светлым, красиво облицованным коридором, конец которого теряется где-то вдалеке. Пологая лестница выводит на широкую площадку — иначе не назовешь, — обрамленную стенами с показателями, обязательствами и фотографиями передовиков. Первое впечатление, когда оказываешься на пролете, — ощущение своей малости. Ну прямо-таки чувствуешь себя попавшим в страну великанов. Крыша пролета теряется где-то в поднебесье, там же, на гигантской высоте, скользят ярко-оранжевые махины мостовых кранов с пугающей надписью «Грузоподъемность 250 тн». Станок, на котором работают Гореликов и Гольцов, довольно скромный по габаритам. Правда, когда я подошел, на его рабочем вращающемся столе (это и есть «карусель») «каталась» деталь, напоминающая корпус космического корабля, весом 95 тонн. Неподвижно закрепленные резцы толщиной с ногу снимали с заготов-

ки увесистую стружку не в переносном, а в прямом значении этих слов. Программа была задана, никаких сбоев в работе станка не наблюдалось, поэтому карусельщик и его подручный курили, пристроившись у пижного пульта. Я попросил ребят рассказать о себе.

**ВОЛОДЯ ГОРЕЛИКОВ:** — Можно, конечно, и рассказать, если кому это интересно. Тем более, что время терпит. Эта обещанка — в чертежах она называется «Зона патрубков» — будет стоить вес на нашем станке 72 часа. Трое суток. «Похудеет» на 25 тонн. А ведь ехала к нам издалека, с Ижорского завода, из-под Ленинграда. Нет своих заготовок, говорят, закладывается новый завод «Энергомаш», а пока все в копейку обходится: ведь 25 тонн металла, которые мы перегоним в стружку, — это одна перевозка во что станет?! А зачем стружку туда-сюда возить?

**ВАЛЕРИЙ ГОЛЬЦОВ:** — Чего ты, Володь, все о производстве? Тебя же просили о себе рассказать...

**ВОЛОДЯ ГОРЕЛИКОВ:** — О себе что ж рассказать? Жил я в Перми, работал на заводе карусельщиком. Пятый разряд, все вроде нормально. Сыну Витке уже два с половиной, дочка родилась, Ниной назвали. Атоммаш уже тогда гремел, но как новостройка ударная. Многие пермяки уезжали, но молодежь в основном, двадцатилетние. А мне тогда уже двадцать шесть стукнуло. Крепкая профессия в руках. Хотелось, конечно, мир посмотреть, но куда ж со своим детским садом ехать за приключениями? Друг в конце семьдесят шестого года попадает мне на глаза объявление: «Для работы на гиганте атомного машиностроения требуются квалифицированные рабочие следующих специальностей... Квартира в благоустроенном доме предоставляется в течение шести месяцев...» Пошел я в бюро по трудоустройству, павел все справки. Точно, нужны карусельщики. Пришел домой, говорю жене: «Ну, что, Надюха, где наша не пропадала? Рискнем?». «Давай», — говорит. — Только сначала один на разведку поезжай. А потом и вас заберешь». Вот так в феврале 1977-го я оказался в Волгодонске. Как сейчас помню, приехал на День Советской Армии, 23 февраля, значит...

**ВАЛЕРИЙ ГОЛЬЦОВ:** — А мне и советоваться не с кем было. Я, между прочим, холостой. Станочек свой токарный тоже было бросать не жалко. Подумаешь, «I K62», таких малышей на каждом заводе пруд пруди. Я и до армии на нем работал. А когда послужил в танковых войсках, вернулся в Калугу к своему «I K62» — тихой лошадкой мой станочек показался. Хотелось чего-нибудь помощней, посильней. Да я тянуло на новые места, хоть я и калужский сам. Ну, думаю, Циолковский из меня не выйдет, надо попытаться счастья в Волгодонске. Теперь не жалею...

**ВОЛОДЯ ГОРЕЛИКОВ:** — Теперь, конечно, у нас красота. А тогда, в феврале 1977-го, помню, не очень весело было смотреть на наш корпус: стены, правда, уже были, а до крыши еще дело не дошло. Хотя недолго я любовался на родной цех. Как только оформился, сразу же отправили на стажировку в Колпино на Ижорский завод. На целых полгода...

**ВАЛЕРИЙ ГОЛЬЦОВ:** — Здесь все прошли стажировку, пока цех достраивался. Я, например, шесть месяцев работал на заводе, осваивал карусельный станок.

**ВОЛОДЯ ГОРЕЛИКОВ:** — Короче говоря, возвращаясь через полгода, дают комнату в благоустроенной квартире а Новом городе. Вызвал я Надежду с ребятами...

**ВАЛЕРИЙ ГОЛЬЦОВ:** — Это тебе повезло, другим

по полтора года ждать пришлось обещанного жилья...

**ВОЛОДЯ ГОРЕЛИКОВ:** — Тебе, выходит, тоже повезло: холостяк, а получил отдельную комнату. Да, нам с тобой во многом повезло. Возьми хоть наш станок — первым на пролеге смонтирован, первую заготовку для АЭС начали обрабатывать мы с тобой. А может, не везения тут дело. Ведь мы с тобой считай, ветераны Атоммаша, хотя и два года всего работаем. Но у нас в счет другой, не Ижора, где рабочие династии свой трудовой стаж не десятками, а сотнями лет меряют. Может, это и смешно, но я себя и впрямь ветераном чувствую. Тогда, вернувшись с Ижорского завода, я несколько месяцев проболтался на разных строительных работах, а в июне прошлого года мы начали монтаж станка. Все тут на нем — от фундаментных болтов до последнего винтика — опробовано, прочувано своими руками. Итальянцы очень удивились, когда увидели свой станок в сборе. «Такого», — говорят, — в нашей практике еще не бывало». Наладку мы вели вместе с ним, и 15 августа станок запустили с большой pompой...

**ВАЛЕРИЙ ГОЛЬЦОВ:** — Наш станок вообще-то предназначен для чистовых операций. Для грубой обдирки заготовок значительно надежнее вот такой, как у наших соседей — с Коломенского завода тяжелых станков. Наш — неженка, зато у него очень чувствительная индикация, высокую точность обеспечивает. Но, пока еще не все станки смонтированы, приходится и нам снимать по 25 тонн стружки.

**ВОЛОДЯ ГОРЕЛИКОВ:** — Повезло мне с подручным. Быстро освоился, иной раз меня со станка выгоняет, чтоб самому поработать. Валера всем интересуются, не тратят свободное время на бесконечные перекуры. Вообще у нас бригада, по-моему, хорошая, даже, может, лучшая на участке. Я как партгрупорг участка могу об этом судить. 42 человека под бригадирством Юрия Ивановича Тихонова. 18 человек — коммунисты, 13 — комсомольцы. Работаем на общий наряд. Не просто, конечно, в один котел деньги складывать. Зато сама бригада подтягивает отстающих. Подвести бригаду невозможно: контролеров ОТК так не боишься, как осуждения со стороны товарищей. Многие в бригаде учатся. Я и сам заканчиваю второй курс Волгодонского филиала Таганрогского механического техникума. Будущая специальность все та же: обработка металлов резанием. Так что, наверно, Атоммаш — это на всю жизнь. Как говорят ребята, был пермяк, а стал казак...

Замигали сигнальные огни на пультах станка. Володя стал к нижнему пульту, а подручный подвинулся по трапу на мостик, ухватил левой рукой передвижную коробку дублирующей системы управления. Мне подумалось, что в этот момент они напоминают капитана и рулевого большого океанского корабля, умело и точно выправляющих курс своего судна. И сам Атоммаш словно прищвартовался у причала Волгодонска на берегу Цымлянского моря, сверкая бело-голубой обшивкой своих корпусов. Он так красив и огромен, и не верится, что он надолго задержится у этого причала. Да так оно и есть, ибо это корабль, плывущий в будущее, в XXI век.

**АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ,  
ЮРИЙ КОЗЛОВ**

# ХРАНИ- ТЕЛИ ОКЕАНА



**М**ожно начать наш рассказ о старшем инспекторе «Сахалинрыбвода» Александре Козлове с описания корабля рыбоохраны. Выкрашенный в белый цвет корабль, как айсберг, плавает по океану. На борту красные буквы «Fish inspection», на мачте длинный вымпел — треугольник — в центре две изогнувшиеся рыбы образуют кольцо. Удивительно красивым кажется корабль со стороны, особенно на рассвете, когда солнце перекрашивает его в розовый цвет, и рыбы на вымпеле волнуются и трепещут, словно хотят прыгнуть в воду. Сами названия кораблей рыбоохраны как бы передают их родство с живой стихией океана: «Лотелла», «Афалина»...

Можно начать с описания проверки иностранного судна, когда на мачте корабля рыбоохраны поднимается спецсигнал, а на воду спускается катер, в который сходят инспектор и матросы. По высоким волнам бежит катер. Становится бок о бок с судном. Вверх по хлипкому трапу карабкается инспектор на чужую палубу, а матросы бросают ему с катера портфель, где инспекторские документы.

Можно начать с описания процедуры проверки, когда инспектор сначала внимательно изучает документы на право ловли рыбы в нашей двухсотмильной зоне, потом снимает данные промыслового журнала, а потом спускается в трюм — смотреть рыбу и орудия лова.

— Часто они нарушают правила? — спросили мы как-то у Александра Козлова.

— Бывает, — ответил он.

— Выскаживаешься на корабль, сразу это чувствуешь?

— Бывает, чувствую. По лицам угадываю... На жаргоне своем говорить начинают, думают, я не понимаю...

— А как на чистую воду выводил?

— Это — дело долгое. Иногда целый день на их судне проведешь... Вопросы, вопросы бесконечные. «Сколько времени идете таким-то курсом?» Отвечает. Говорю: «Распишитесь, пожалуйста, под своим ответом». Быстрее, быстрее спрашиваю. Если человек правду отвечает, ничего страшного, а если обманывает, все равно запутается. Потом сижу, анализирую ответы, противоречия ищу... И нахожу в конце концов. Только так можно добиться слов: «Да, я нарушил рыболовную конвенцию. Готов заплатить штраф...»

— Значит, чтобы быть инспектором, надо не только досконально знать законы, владеть иностранными языками, но и быть психологом, уметь логически мыслить...

— Надо быть еще и дипломатом, и гидрологом, и метеорологом, знать конструкцию наших и иностранных рыболовных кораблей, знать прибрежные и морские районы — где какое дно, где какая рыба, хорошо переносит качку... Что еще? — Он улыбнулся. — Наверняка половину забыл... Вот таким должен быть идеальный инспектор! — И тут же добавил: — Но я, естественно, таковым не являюсь...

Александру Козлову — двадцать четыре года. В «Сахалинрыбвод» пришел в августе 1976-го, сразу после окончания Дальневосточного университета. Владивосток считает своим родным городом. Говорить о нем может долго. Мы тоже недавно из Владивостока...

Владивосток... В центре дома друг на друга непохожи. Особняки на сопках, деревья, деревья вокруг.

Идешь по главной улице — с одной стороны океан, корабли, краны портовые, а с другой — дома расступаются, между ними узкие переулочки, вверх на сопки стремящиеся... Мы жили в гостинице с окнами на океан и слышали прощальные гудки пароходов... А какие рассветы во Владивостоке! Слово розовые лепестки слетают с неба на океан и на город, и сразу становится светло. Солнце — сияющий воздушный шар — взлетает в небо, а океан расцветает парусами яхт. Летом много яхт плавают в океане. Белые, желтые, голубые треугольнички-паруса, подхваченные ветром, устремляются к горизонту...

— Все время мечтаю летом в отпуск пойти, но пока не получается, — вздыхает Александр. — И не полагается. Лето для нас, инспекторов, самая напряженная пора... С мая по сентябрь в море...

Мы и вели с ним эти разговоры в море на борту СРТМ «Сеймчан», арендованного «Сахалинрыбводом» как раз на летнее время. Нам очень хотелось попасть на «истинный», белоснежный рыбоохранный корабль, вроде «Афалины», но, к сожалению, все белоснежные уже давным-давно патрулировали в двухсотмильной зоне.

— Ничего, ничего, — утешил нас перед дорогой начальник «Сахалинрыбвода» Юрий Васильевич Ларискоз, — корабль, может, и не самый лучший, зато инспектор надежный!

«Сеймчан» качался на волнах, гудели двигатели, унося корабль от Сахалина в пролив Екатерины между островами Итуруп и Кунашир. Синей ниточкой тянулся за кораблем остров, но вскоре оборвалась нитка — вода, солнце и небо заполнили все видимое пространство.

Мы стояли на палубе, вглядываясь в темнеющий горизонт, вспоминая дни, проведенные на Сахалине. Впечатлений было много...

Прилетели вечером. Два с половиной часа летели из Владивостока навстречу садящемуся солнцу. Сначала внизу были синие океанские волны, потом неожиданно скалистый берег возник в белых кружевах прибоя, и такие же синие волны, только каменные с зелеными лесистыми гребнями, побежали под самолетом. В стеклянных дымчатых сумерках летел самолет.

Первые яркие звезды загорались то справа, то слева. Самолет приветствовал их мигающими сигналами на крыльях. Уже можно было рассмотреть внизу контуры города. Слово передавая какой-то тревожный сигнал, горели вокруг газовые факелы. И вот, наконец, посадочная полоса в оправе синих огней несет за самолетом...

Встречал Геннадий Иванович Саенко — начальник отдела охраны международных вод «Сахалинрыбвода». (В этом отделе, кстати, работает и Александр Козлов.) Энергично пожал руки, потом, несмотря на протесты, взвалил на плечи наши рюкзаки, забросил в «уазик». Поехали...

У Геннадия Саенко фигура боксера-тяжеловеса. И прическа под стать — короткий ежик. Широкие плечи, плотная шея. Когда хочет повернуться к собеседнику, поворачивается всем корпусом.

О погоде говорим. Погода на Сахалине — тема всегда актуальная.

— Хорошо, что самолет вовремя прилетел, — сказал Геннадий Иванович. — Задержись рейс из-за погоды хотя бы на час, не встретил бы я вас...

— А что такое?

— Как что? Красная рыба на нерест пошла! Работы сейчас выше головы! Вот довезу вас до гостини-

цы и сразу в Поронайск поеду. На почь глядя. Там браковьеров поймали. Разбираться буду...

— Когда вернетесь?

— Не знаю... — Он задумчиво посмотрел на дорогу. Темнело стремительно. Тени деревьев мелькали. Слово руками, расталкивал лучами фар «уазик» темноту. — Постараюсь побыстрее. Может, вместе с вами и с Козловым в море пойду... Соскучился... Раньше, когда инспектором простым был, все время думал: когда же на берег? А стал начальником, думаю: когда же в море? Пойдем в море, поближе познакомимся...

Но нам так и не удалось поближе познакомиться с Геннадием Саенко. Дело в Поронайске оказалось сложным, ему пришлось задержаться. В море ушли без него...

— Кстати, во многом благодаря Саенко, — уже на «Сеймчане» рассказал нам Саша Козлов, — я стал рыбоинспектором. Сама посудите: учится человек на Восточном факультете, изучает японскую филологию. Курсовые пишет по творчеству японских писателей Нацумэ Сосэки и Акутагавы Рюносэ. С чего бы ему становиться рыбоинспектором?

— А как получилось?

— Каждое лето у нас практика. В одну практику я матросом ходил на теплоходе «Байкал» из Владивостока через Японию в Гонконг и обратно. Впечатлений много было, но устал страшно. Не так легко, оказывается, матросом быть... Но в польза, естественно, немалая. Теперь матросская наука мне известна... Случалось потом с рыбаками на промысел ходить, сразу два дела делал. И как ловят, следил и обязанности матросские выполнял... Но не об этом речь. В следующую практику попал в «Сахалинрыбвод», плывал при инспекторе Геннадии Саенко переводчиком. Как-то мы с ним сразу общий язык нащли, сработались. Происшествия случались. Несколько раз рыболовные шхуны от нас в бега пускались. Мы их догаеваем, на ходу высаживаемся. Никто, конечно, на шхунах нам не рад... Как-то только выпрыгнули, с дубиной на нас капитан бросается. А я о их трап руку себе разбил. Кровь льется, капитан с дубиной летит, спасибо, Геннадий его перехватил... А в другой раз тоже на ходу высаживались, я прыгнул на палубу, а Геннадий в воду упал... Смотрю, корабли бортами стукнулись, все, думаю, пропал Геннадий Иванович, но тоже обошлось... Он нырнул, над головой у него борта сошлись, еле успел его потом вытащить...

— Значит, понравилось тебе вот так рисковать?

— Не в этом дело. Не каждый ведь день в такие ситуации попадаешь. Во-первых, я крепко подружился с Геннадием, а во-вторых, почувствовал значимость работы инспектора. Серьезность, ответственность, если угодно — даже государственность... Это — настоящее мужское дело. Не то что сидеть в библиотеке, нероглифы разбирать... Как вернулся с практики домой, повял, не получается из меня кабинетного работника. Все время море снится... Когда прощались, Геннадий сказал: «Закончишь университет, приходи работать в «Сахалинрыбвод»... Будешь инспектором, и что самое ценное — переводчик тебе не нужен!» Вот так... И сейчас, — продолжил Саша, — когда попадаю в трудное положение, всегда вспоминаю, как действовал в подобной ситуации Саенко... Я у него многому научился...

И еще один случай, связанный с Саенко, рассказал нам Саша Козлов. Зимой, плываю на «Лотелле»,

Саенко увидел в бинокль, как браконьеры убивают лежащего на льду калана. Он выстрелил в воздух из пистолета, а потом встал на лыжи и пошел в ту сторону по битому льду. Его отговаривали: утонешь, мол, а калана все равно не спасешь... Но он пошел, поднял равного калана и принес его на «Лотеллу». Калана отпоили молоком, вылечили, а потом отпустили...

— Я не понимаю, — говорил нам Саша, — как можно убить калана? Это самый доверчивый зверь из всех, каких я видел. К нему можно подплыть на лодке, он даже не пошевелится... Голову только повернет, посмотрит: дескать, чего тебе надо? Охота на них запрещена, и все равно... — Обычно добродушное Сашино лицо в такие минуты делалось мрачным. Даже очки начинали сверкать более решительно. — Сейчас много делается, чтобы их сберечь.

...Совсем стемнело. Ветерок подул. Легкий ветерок, однако сразу расхотелось стоять на палубе. Вернулись в каюту...

Ночью слышится тихий плеск воды. Не разобрать, то ли в океане вода плещется, то ли на полу в каюте.

Фосфоресцирует океан, зеленоватые блики из глубины поднимаются. А с неба серебряный лунный свет, как из ковша, летит...

...На следующий же день, как прилетели в Южно-Сахалинск, отправились в «Сахалинрыбвод». Встретились с начальником — Юрием Васильевичем Ларионовым.

Сидим в его небольшом кабинете. Время от времени Юрий Васильевич звонит по телефону. Интересный называет позывной — «Лосось». На рыболовном заводе звонят, где этот самый лосось стараниями человека в искусственных условиях вылавливается из икрянок. Но пока дозвониться не может...

— Задач у нашей организации много, — рассказывает Ларионов между делом. — Рыбкомбинаты Сахалинской области — крупнейшие в стране поставщики консервов. Один Шикотан чего стоит! Огромнейший рыболовный флот ведет промысел. Шесть комбинатов — более ста миллионов банок консервов в год! Мы же следим за тем, чтобы ловля рыбы велась правильно, чтобы не происходило загрязнения окружающей среды. Десятого декабря тысяча девятьсот семьдесят шестого года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О временных мерах по сохранению живых ресурсов и регулированию рыболовства в морских районах, прилегающих к побережью СССР». С той поры наши инспектора начали патрулировать в двухсотмильной зоне. Рыбы в океане все меньше остается, рыболовное оборудование все улучшается и улучшается. А сколько иностранных судов по разрешительным билетам в нашей двухсотмильной зоне ловит! Следим, чтобы не ловили маломерную рыбу, чтобы не трогали запретные объекты континентального шельфа, то есть то, что на дне живет или растет, — крабы, моллюски, водоросли. Чтобы рыболовные суда не заходили в запретные зоны — места обитания каланов, котиков, сивучей. Нельзя там судам находиться. Глубина небольшая, зверюшки вырывают, что будет, если рыбаки тралять начнут? Паника, подавят зверюшки друг друга... И, что главное, они совсем не переносят в воде нефтепродуктов... Ну и еще в нашем ведении рыболовные заводы. В Калинино, недалеко отсюда, один, куда я сейчас звоню. Дозвонюсь, сразу поеду туда...

...Утром мы находились много восточнее Сахалина. Почти в самом оживленном районе промысла. Острова возникли на горизонте. Каланов должны мы были вскоре увидеть, красную рыбу, идущую на нерест, курильских медведей, охочих до рыбки, могучих сивучей и нерп, на свой манер инспектирующих сети траулеров и сейнеров. Рано-рано проснулись в первое утро плавания. Еще солнце нежилось в океанских водах, еще чайки не прокричали бодрыми утренними голосами, еще сивуч не сбросил в холодную воду длинное свое тело с нагретого камня... Однако инспектор Александр Козлов был уже на палубе. Он смотрел в бинокль на темные пятна на горизонте, которые при известной фантазии можно было принять за силуэты кораблей.

— Наши ловят, — сказал Саша, протягивая бинокль. Мы по очереди смотрели в бинокль, однако ничего разобрать не смогли.

— Ты что, корабли по силуэтам угадываешь? Он пожал плечами.

— Само по себе получается... Вон МРС — малый рыболовный сейнер, два СРТ — средних рыболовных траулера, два БМРТ — больших морозильных рыболовных траулера, их рыбаки «бармалями» называют...

— Наши суда тоже всегда проверяешь?

— Иногда даже штрафую... Помню, оштрафовал раз одну МРСку — они там маломерную рыбу ловили... «Что вы делаете? — кричу им. — Мальков, ловите? Через десять лет вам вообще ловить нечего будет!» А они жаловаться на меня — дескать, мы повышенные обязательства взяли, плац кварталный в семнадцать дней выполняем, а инспектор нам работать мешает... Не понимают люди, что по отношению к живой природе только одно обязательство может у них быть — охранять ее, бережно к ней относиться! — Саша огорченно махнул рукой.

Тем временем «Сеймчан» совсем близко подошел к рыболовным кораблям, и Саша велел спускать на воду бот...

...Ларионов наконец дозвонился до Калининского рыболовного завода.

Через полчаса сели в серую сахалинрыбводскую «Волгу» и поехали в Калинино. Солнце светило, в небе ни облачка. Хотели в одних рубашках ехать, но Ларионов уговорил взять с собой плащи. «Погода здесь моментально меняется...» Взяли плащи. Ларионов оказался прав. Через несколько часов плащи нам оченьгодились...

Дорога в Калинино пересекает несколько перевалов. Вокруг дороги бурая зелень. По спирали вверх закручивается шоссе, на самую верхнюю перевала. Не больно высока вершина, но почему-то в тумане. Белая кисея шевелится в ложбинках и под ногами. Холодно на вершине перевала, словно где-нибудь на Памире.

Потом вниз идет шоссе, и снова солнце светит, снова тепло. Но вскоре опять вверх, на второй перевал.

Когда спускались со второго перевала, дождь неожиданно хлынул. В сплошном потоке воды «плыла» машина. «Дворники» с трудом «разгребали» воду на ветровом стекле. Город Холмск миновали. По колесу в воде стоял Холмск. Вдоль океанского побережья тянулась теперь дорога. С другой стороны могучие склоны.

Узенькая железная дорога тоже к побережью прижимается. А дождь все сильнее. Грязные ручьи со склонов размывают насыпь. Оголенные

рельсы спронтливо выглядывают из воды. Везде трудятся ремонтные бригады в оранжевых куртках. Подправляют насыпь.

— Как бы не застрять в Калинин, — сказал озабоченно Ларнонов, — дорогу размоет, не проедем обратно... Такая вот жизнь на нашем острове. Ничего не знаешь наперед... Дожди, снега, циклоны, антициклоны, тайфуны...

А вот и поворот на Калинин. Рыбоводный завод показался. Домики, питомники... Крутом сады, сады. Вокруг сопки. Головы в тумане, словно в белых папахах.

— Здравствуйте! Приехали наконец-то. — Вышел нам навстречу директор завода Тимофей Тимофеевич Кочетков. Вид у него домашний — меховая безрукавка, шаровары в сапоги заправлены. Чувствуется, что здесь его дом. Не только усадьба, на крыльце которой он в данный момент стоит, но и весь рыбоводный завод, к которому он относится, судя по всему, с большим тщанием, нежели к собственной усадьбе. Иначе, как объяснить повсеместную ухоженность, чистоту, аккуратность?

— А я уж думал, не доберетесь, — сказал Тимофей Тимофеевич. — Только сейчас звонили, сказали, селевая лавина дорогу намертво перекрыла. Дня два, говорят, раскапывать будут...

Во время осмотра рыболовных судов мы убедились в исключительной добросовестности, с которой инспектор Александр Козлов делает свое дело. Не было угла на судне, куда бы он не заглянул. Все капитаны его знали, вели себя сдержанно. Не спорили, когда он велел в трюмах передвигать ящики или приподнимать трал, чтобы заглянуть в нижние ячейки — нет ли там остатков водорослей. Если есть водоросли, значит, трал тащили по дну, а это — нарушение. Оголять дно океана, как объяснил нам Саша, равносильно тому, что сдирать кожу с человека.

Качка началась. На каждом корабле находилась минимум по полчаса. А кораблей много. Рыбу мнотай ловят и розового пучеглазого морского окуня. До самого горизонта вытянулась цепочка кораблей. Наших, японских... Скрипят, скрипят лебедки. Ползут, ползут на палубы тралы. Вокруг рыбаки в сверкающих резиновых костюмах, в касках, похожих на шахтерские. Бьется рыба, нерпы шныряют вокруг, а в небе чайки, словно вспоролли огромную пуховую подушку...

— Чем отличаются японские корабли от наших? — объяснял Саша, пока плыл на боте от одного корабля к другому, распугивая спящих на воде сытых чаек. — У японцев, что греха таить, оборудование лучше. Но у них на корабле все одной цели подчинено — поймать как можно больше рыбы. А о том, как люди во время плавания живут, в каких условиях, — никому дела нет. Кюютки у них, как ящики, только спать там и можно... И то ноги высовываются. Едят в трюмах, прямо в рабочей одежде. И вся энергия на судне у них от главного двигателя, вспомогательных двигателей нет. Вечно он тарахтит, корабль трясется. Я, когда в рубке нерогафы пишу, всегда ногой в иероборку упираюсь, а то писать невозможно... Наматуюсь иногда по их кораблям, на наш попаду, прямо душой и телом отдыхаю... Можно хоть в каюте нормальной посидеть, в столовой чаю попить... Просторнее на наших кораблях. Люди людьми себя ощущают, а не приводными ремнями к тралу...

Ближе к вечеру мы почувствовали себя совершенно разбитыми от качки, от бесконечных прыжков с катера на траны кораблей, с кораблей обратно на катер. Ноги гудели... Волны в глазах рябили...

Совсем поздно возвращались на «Сеймчан» — по черной воде под яркими звездами. Иное здесь расположение звезд, не найти знакомых рисунков...

— Сегодня была работа... — Саша откинулся на корму. Из темноты звучит его голос. Позади освещенные палубы кораблей. Промысел и ночью не прекращается. — А случается, веделю по морю шапастешь — никого не встретишь... Словно вымерли...

— Ну и чем тогда занимаешься?

— Читаю...

— Японских писателей?

— Не только. Хотя японских тоже. Акутагаву люблю. Особенно рассказы из средневековой жизни... Они много дают для понимания психологии простого японца... Ведь рыбаки в большинстве своем — люди простые... Недавно мне один рыбак комплимент сделал: дескать, говоришь, инспектор, а на нашем северном хоккайдском диалекте... Равьше я по-другому говорил...

— Почему по-другому?

— Ну, в университете ведь учился правильному, литературному японскому. А потом все время с одними рыбаками общался. А они на Хоккайдо живут. Значит, и я, как они, говорить стал...

— Все равно ведь на пользу делу.

— Конечно. Уже не сделает вид, будто не понимает, что я говорю, что я хочу от него...

...Ночью проснулись от тарахтения катера. Инспектор Александр Козлов продолжал работать...

От одного питомника к другому по ухоженным дорожкам под проливным дождем ходим мы по рыбоводному заводу. Директор Тимофей Тимофеевич Кочетков показывает хозяйство.

В питомниках вода журчит, крупный песок и камешки под водой, а в окнах зеленые и синие стекла на манер витражей, чтобы мальки чувствовали себя, как в родной речке, текущей под сенью неба и дерев.

Дивимся необычайной чистоте. Уже, наверное, час по заводу ходим, окурка брошенного не видели.

— Какого еще окурка? — возмутился Тимофей Тимофеевич. Показал негодуяще седой головой. — Здесь же родильный дом! А разве можно в родильном окурки бросать?

Чуть в стороне от питомников острокрышье домики. Там живет персонал завода.

— По штату нам положено сорок шесть человек, — говорит Тимофей Тимофеевич, — а работают всего тридцать шесть. Высшее образование только восемь имеют. Основная должность — рыбовод. Люди в основном пожилые, молодежь здесь пока не приживается... Какие у нас условия? Воздух чистый, леса вокруг... Но этого одного мало. Развлечений никаких. Одно у нас развлечение — работа... Да и на остальных сахалинских заводах то же самое... Нет молодежи.

— Кто же виноват, Тимофей Тимофеевич, — спрашивает Ларнонов, — что рыба нерестится в самых глухих речках? Два ручья здесь, — объясняет Ларнонов нам, — Калининка и Зырянка, из этих ручьев икра берется... Двадцать рыбоводных заводов на Саха-



На снимке:  
старший  
инспектор  
«Сахалинрыбвода»  
Александр  
Козлов.

лине, и большинство в глухих местах. Ничего не сделаешь... Не мы место выбираем, природа... И потом, при всем желании для тридцати шести человек телевизионную башню не построишь...

— А надо бы,— возражает Тимофей Тимофеевич.— Помрут старики, кто дело будет продолжать?

— Найдутся энтузиасты...

— Вот именно, энтузиасты! А нужны квалифицированные кадры! Что получается, малькам условия создаем, а работникам завода...

— Ладно, не ворчи, Тимофей Тимофеевич,— останавливает директора Ларионов.— Учти людей надо. И мы будем учить. И потом разве плохой дом для твоих работников строятся? — кивает в сторону недостроенного двухэтажного дома.

«Ни разу не было,— сокрушался потом Ларионов,— чтобы я приехал и он бы всем доволен был! Ни разу такого не было!»

Дождь тем временем усиливается, мы перебираемся на застекленную веранду. Сидим за столом, смотрим, как дождь хлещет по листьям деревьев, по кустам черной смородины в саду, как капли стекают по окнам, словно прозрачные икринки неведомой небесной рыбы, ползут, ползут вниз...

— За последние годы,— рассказывает Тимофей Тимофеевич,— производительность завода выросла в двенадцать раз. В этом году намерены вырастить восемьдесят шесть миллионов мальков. Вот-вот начнется сбор икры...

— Значит, основная работа в этом году впереди?

— Не скажите. Вообще график на заводе такой. Апрель — конец июля — подготовка к приему икры. Август — половина октября — сбор икры. До января — инкубация. Январь — половина февраля — выклев икры. До апреля — подкормка. Май — выпускной вечер, совсем как в школе... — Тимофей Тимофеевич засмеялся.

— Сейчас все сахалинские рыболовные заводы выпускают в год восемьсот миллионов мальков,— сказал Ларионов.— К концу пятилетки планируем вы-

пустить миллиард! А в дальнейшем, лет через десять — пятнадцать,— три миллиарда! Если искусственно лосося не выводить, через несколько десятилетий такие рыбы, как горбуша, кета, нерка, кижуч...

— Чавыча,— подсказал Тимофей Тимофеевич.

— Чавыча,— повторил Ларионов,— редкостью станут...

— Заводов много,— сказал Кочетков,— и все разные... Хорошо бы создать единый типовой проект. Проще бы строить было. Сейчас в основном из дерева строим, а хорошо бы из стеклопластика. Он и прочнее и светлее...

...Дождь не унимался. Набросив плащи, мы пошли в сад попробовать черную смородину — сладкую, крупную, такую не встретишь на материке. Сразу за садовой оградой лес. Дрожат прозрачные капли-икринки на сосновых иголках, а под ногами уже туман рождается. Дождь не утихает. Скоро склоны сопки стали белыми.

Вернулись к усадьбе, услышав автомобильные гудки. Приехал «ЗИЛ», привез доски для строящегося дома. Тимофей Тимофеевич самовольно принялся их разгружать.

Шофер рассказал, что действительно селевая лавина перекрыла дорогу, но скоро отлив, и он надеется проскочить мимо лавины по дну морскому.

Мы распрощались с Тимофеем Тимофеевичем Кочетковым и Юрием Васильевичем Ларионовым и сели в «ЗИЛ».

Надолго запомнится эта езда на мощном «ЗИЛе», поминутно увязающем в грязи, то подталкиваемом, то вытягиваемом застрявшие встречные машины. По дну морскому, во черным водорослям удалось нам проскочить мимо лавины. Уже волны возвращались на временно опустевшее дно серыми рядами, когда наконец «ЗИЛ» выскочил на шоссе. Поздно ночью приехали в Южно-Сахалинск...

А утром снова светило солнце. Ничто не напоминало о вчерашней непогоде. Мы прибыли в порт Стародубское, где каменные причалы грызла вода, где чайки полоскались в небе, где океан был чист и

корабли темнели на рейде. Одним из этих кораблей был наш «Сеймчан»...

...Ночью погода испортилась. В шесть утра встал «Сеймчан» напротив Шикотана. Чуть попозже мы вышли на палубу. Солнце с трудом пробивалось сквозь облака. Зеленовато-пятнистым казался остров. Вершина в облаках плавает, а подножие словно в гранитном башмаке. Малые и средние рыболовные сейнеры по серой воде скользили — в бухту и обратно, сдавали на комбинаты выловленную сайру и сардину-иваси. Обрывистым казался издали остров. Не то что Итуруп — там камни, песок, а здесь зеленые малахитовые обрывы, деревья на вершине лишь угадываются...

Следом за нами на палубу вышел и инспектор Александр Козлов. Под глазами синие тени. Не высыпался...

— Ночью, слышали, катер тарахтел. Так ты и не спал?

— Ничего, потом отоспалось... В отпуск пойду и отоспалось. А сейчас спать нельзя. Кто же на работе спит?

— Сколько месяцев в году в море проводишь?

— Месяцев семь-восемь... — сказал и сам растерялся. Не ожидал, что так много.

— Так ведь и не женишься. Какая девушка семь-восемь месяцев ждать станет?

— Ничего... Моряков и подольше ждут...

Матрос подошел. Сказал инспектору, чтобы шел к капитану. Радиogramма ему пришла, или, как говорят на кораблях, «радио».

— Понятно, — сказал Саша, — сообщают, в какие районы с проверкой идти.

— И не надоедает эта кочевая жизнь?

— Пока нет. Я кочевую жизнь с детства веду. Мой отец — энергетик. Его все время с места на место перебрасывали. На Сахалине жили, в Хабаровске, в Благовещенске, во Владивостоке... Теперь вот я опять на Сахалине...

— Выходит, ты потомственный дальневосточник?

— А дед мой был гражданином Дальневосточной Республики. До сих пор кивка дома валяется с сиреневым штампом «Библиотека ДВР». Как японцы появились, дед в партизаны ушел...

Тем временем слегка прояснилось. Теперь как на ладоши был остров. Бухта — мачты кораблей торчат разноцветными прутьями. Цеха рыбокомбинатов на холмах. Поселок Крабозаводское — одна большая улица, несколько ответвлений от нее. Черные вороны над бухтой летают. Местные санитары, как нам объяснили. За убитого ворона на Шикотане — штраф десять рублей. Так и не появив, серьезно это или шутка.

— Слушай, Саша, а ведь за все плавание ни разу и не видели, как ты штрафуешь нарушителей...

— Это же замечательно! — засмеялся он. — Знаешь, по-доброму, по-человечески люди стали относиться к окружающей среде. О завтрашнем дне стали думать. Я полагаю, задача инспектора — не только штрафовать и наказывать, но и воспитывать в людях бережное отношение к природе. Я всю жизнь на Дальнем Востоке живу. Раньше часто слышал: дескать, богатства у нас здесь неисчерпаемые. Теперь об этом меньше говорят. Любые богатства можно исчерпать, если к ним не по-хозяйски относиться! И я рад, что все больше и больше людей это понимают!

Он сходил к капитану, изучил радиogramму, вернулся.

— К острову Уруп надо плыть, — сказал, — там целая флотилия рыболовная ловит...

Мы спросили, сколько времени на это понадобится. Он ответил, что неделя.

Простился с инспектором, с командой. Катер быстро домчал нас до пирса. Мы стояли на железном пирсе и смотрели, как лебедками катер поднимал на палубу, а затем выбрали якорь. «Сеймчан» развернулся и пошел в открытое море... Мы направились к диспетчеру узнавать о ближайшей «оказии» до Сахалина...

Позже, стоя на палубе буксира, который медленно, но верно вез нас к Сахалину, мы вспоминали людей, с которыми познакомились в эти дни. Вспоминали Геннадия Саенко: на лыжах по шуге, рискуя собственной жизнью, он принес на «Лотеллу» раненого калана и выходил его. Вспоминали директора рыболовного завода Тимофея Тимофеевича Кочеткова: он считает свой завод «родильным домом», а себя и остальных сотрудников «бабками-повитухами» для восьмидесяти шести миллионов мальков. Вспоминали, конечно, и инспектора Александра Козлова: для него работа и любовь к природе слились воедино. Путешествие вдоль Малой Курильской гряды открыло нам его и как незаурядного краеведа. О каждом острове, проливе, о каждой сопке он мог рассказать много интересного... Мы долго думали, как определить отношение этих людей к профессии, к избранному делу, к окружающей природе, пока не нашли наконец два простых, но очень ответственных слова: «хранители океана».

А океан плескался вокруг, и величина его и необъятность заставляли сомневаться в правомерности такого высокого определения. Мы снова вспоминали слова инспектора Козлова: «Любые богатства можно исчерпать, если к ним не по-хозяйски относиться!» И океан уже не казался нам великим и огромным, и мы понимали, что он, как и все живое на планете, нуждается в защите, в хранителях океана...



С. ОРЛОВ

# СЛАВНАЯ ЖИЗНЬ ЗАЛОМОВЫХ

*Не много отыщется в мировой литературе книг, которые по выходе в свет сразу были восприняты как своеобразный учебник жизни. В русской литературе после романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского такой книгой, бесспорно, является «Мать» А. М. Горького, переведенная почти на все языки мира, ставшая настольной книгой рабочих, борющихся за свое освобождение. Известно, что основой для этого романа послужили эпизоды революционной борьбы соромовских рабочих в 1902 году, суд над участниками перемайской демонстрации, жизнь Петра Заломова и его матери. Мы публикуем воспоминания доктора филологических наук, профессора Горьковского университета С. Орлова, в которых рассказывается о встречах с живыми героями горьковского романа, прожившими долгую жизнь, ставшими свидетелями победившего социализма.*

**В** половодье, когда разливается Волга, плещутся речные волны внизу под стенами древнего Печерского монастыря, вплотную подбравшись к месту, где когда-то стоял Курбатовский завод, оставивший о себе мрачную память.

Здесь некогда в покривившуюся хатенку своих родителей рабочий Курбатовского завода Андрей Заломов, двадцати одного года, привел молодую жену — Анну Кирилловну. Трудлюбивый, старательный Андрей сумел добиться по тем годам «высокого» заработка — получал рубль в день. Это и позволило ему жениться...

Дочь сапожника Гаврюшова, Анна, родившаяся в 1849 году, еще в детстве была отправлена в Балахию. Платить за учение средств не было. Мать кое-как выучила Анну читать, знакомый жилец стал заниматься с девочкой, пробудив в ней любовь и интерес к книге.

Работал Андрей Заломов медиолитейщиком на заводе. Вредное было производство — травились люди газам. Возвращаясь домой, кашлял, просил у жены: «Дай-ка, Аня, водки...»

А в доме не только водки — хлеба порою не было. Рождались дети, заработок оставался прежним. Изнурительный труд — работали по двенадцать часов в день, — вечные заботы сделали свое дело. Андрей умер молодым — ему не было и сорока. Осиротела семья...

---

П. А. Заломов и участники спектакля Горьковского театра драмы — заслуженная артистка РСФСР О. Д. Кашутина (Нилова) и артист Б. В. Костин (Павел Власов). Снимок 1949 г.

Дочь Заломовых, Варвара Андреевна, вспоминала: «Мать рассказывала мне, как много-много раз, прижав меня к груди, она обливала горькими слезами мою голову. Окружающие — и родные и соседи — говорили, жалея мою маму: «Хоть бы бог прибрал у тебя, Аниа Кирилловна, маленькую!» Но мы, малыши, и не думали умирать». А было тогда малышей уже семеро...

Лет четырнадцати сын Петр пошел на заработки на тот же Курбатовский — взяли в слесарные ученики. Вставал в четыре, работал с пяти утра до семи вечера, платили ему двадцать копеек в день.

У Петра на заводе вскоре отыскались верные товарищи — Яков Пятибратов, Григорий Козин, Саша Замошинов. В начале девяностых годов Петр ознакомился с основами учения Маркса, жадно и много читал. Товарищи по заводу свели его со студентом Василием Десициком, Иваном Ладыжниковым, сестрами Рукавишниковыми — членами нижегородской организации РСДРП. Нина Рукавишникова настойчиво занималась с кружковцами из рабочих.

В мае 1894 года в Слуде, неподалеку от Нижнего, в леске над Окой, состоялась первая в Нижнем маевка.

Прошло всего несколько лет. Собрание нижегородского комитета РСДРП приняло решение провести первого мая 1902 года политическую демонстрацию в Сормове, где в это время работал уже на заводе Петр. Именно ему доверили право нести знамя. На знамени было написано: «Долой самодержавие!» Петр знал хорошо, что за призыв к ниспровержению самодержавия его не пощадят; но знамя принял и понес.

День первого мая был рабочим днем, но сормовские рабочие не вышли на работу. Шел дождь, к середине дня разведрилось. К 6 часам на Главной собрались несколько тысяч. Демонстранты вышли на улицу с пением «Варшавянки».

Решительно и спокойно шли впереди Заломов и Павлов, братья Баранов и Самылин. Высоко над головой знаменосца горели слова «Долой самодержавие!». У Дарьинской проходной навстречу вышла рота солдат.

«Мы были безоружны... но ни один не дрогнул, не покинул рядов... Солдаты со штыками наперевес ринулись на нас...» — вспоминал потом Петр Заломов.

Схватенный на демонстрации полицейскими, жестоко избиваемый, он не издал ни звука. Он не дрогнул ни на допросах, ни на следствии, ни в тюрьме. Речь знаменосца на суде взволновала тогда всю Россию:

«Я сознательно примкнул к демонстрантам, но виновным себя не признаю, потому что считал себя вправе участвовать в демонстрации, посредством которой был выражен протест против тех законов, которые, защищая интересы привилегированного класса богачей, не дают рабочим возможности улучшить условия своей жизни.

...Я видел, что тяжела будет борьба для рабочих, трудно бороться с беспросветным мраком невежества, в котором насильственно держат рабочих и крестьян, что много, много будет жертв с нашей стороны. Но какой человек, у которого не вставлен в грудь камень вместо сердца, которого не удовлетворяет чисто животная жизнь, за дело своего народа не отдаст свободы, жизни и личного счастья?»

В. И. Ленин высоко оценил подвиг сормовичей на страницах «Искры»: «...пример Заломова, Быкова, Самылина, Михайлова и их товарищей, героически подержавших на суде свой боевой клич: «Долой са-

модержавие!», воодушевит весь рабочий класс России для такой же героической, решительной борьбы за свободу всего народа, за свободу неуклонного рабочего движения к светлому социалистическому будущему».

Шестеро сормовичей были высланы в Восточную Сибирь навечно с лишением прав состояния.

Петр Заломов бежал из ссылки, жил под чужим именем, участвовал в Московском вооруженном восстании 1905 года.

Все эти годы Аниа Кирилловна Заломова была первым другом сына и его товарищей, помогала всем, что было в ее силах.

В солнечный день 1934 года я навещал впервые Аниу Кирилловну Заломову в поселке Красная Этна. Этой встречи я ждал с нескрываемым волнением, и она запомнилась мне навсегда. Жила она в скромной, наверное, единственной комнатке своей дочери. Было Ание Кирилловне тогда 85 лет. Открыв с улицы дверь, я оказался в небольшой комнатке; в глубине седая женщина в очках читала роман советского писателя С. Семенова «Наталья Тарпова» — книгу, недавно вышедшую из печати. Услышав мой голос, Аниа Кирилловна повернула лицо, взглянув пристально из-под очков. Серебристые пряди волос спадали на лоб. Изрезанное морщинами лицо, глубокие, умные и живые глаза. Запомнились ее натруженные руки. Выглядела она моложе своих лет. Передо мной сидел человек огромного обаяния, простой и душевный. Пригласила присесть. Разговорились. С гордостью сообщила мне, что детей у нее было семеро, внуков — восемнадцать, а правнуков — двенадцать. О себе рассказывала мало, словно неохотно.

О Петре, о сыне, мать говорила с особой гордостью и любовью. Почти весь рассказ свелся к повествованию о нем, о его характере, выдержке и воле.

— Он упорный, сын-то. Первого мая в Сормове народу много было, а арестовали пятерых, кого — уж не помню... Второго я пошла к дочери, узнать, что с сыном... Он у ней тогда жил. По дороге какая-то женщина встречается:

— Куда идешь? А слышала, говорит, заводилу-то главного, который со знаменем был, на штыки подняли... Мало ему — его бы убить тут надо!

А я говорю:

— Неправда это. Он, мой сын, жив он, и плохого людям ничего не сделал...

...Судили его в окружном суде, а потом в остром посадили... И свидания никому не давали. Они решили голодовку объявить. Которые только не ели, а он очень упрям — и воды не пил... отказывался.

Прихожу раз в тюрьму, сторож и говорит: «Зря ходишь, баба, нет сына... В больницу его отвезли... Вряд ли живым застанешь».

Пошла я в больницу. Помощника прокурора просила, самого прокурора просила:

— Пощадите, неужели умирающего сына нельзя видеть матери? У вас собачка заболела — так вы доктора зовете...

— Сам, — отвечают, — того достиг.

Вышла на улицу, сил нет — упала я... Собралась толпа. «Дайте, — говорю, — бога ради, стакан воды!»... Принес один добрый человек.

А полицейский гонит:

— Уходи, уходи, не вайайся здесь.

Хожу около арестантских рог. Потом на хитрость решилась. Спрашиваю, где фельдшер живет.

— Вот, — говорит, — во флигеле.

Вошла... Выходит молодая женщина. Лицо доброе. Спрашиваю:

— Сын у меня — Петр, жив ли?

— Видно, удачливы вы, — отвечает, — едва отходишь в больницу его...

Обрадовалась я страшно...

— А приходилось ли вам лично участвовать в революционном движении?

Помолчав, сказала:

— Было дело... Как-то сбавка жалования ткачам прошла в Иваново-Вознесенске. Меня и попросили доставить туда листовки, сказали, что меня встретят. Приехала, пришла в указанное место — нет никого, помню, еще плотники работали поблизости. Опешила я от неожиданности — как быть? Вдруг из подвала женщина средних лет бросилась ко мне:

— Вы Анна Кирилловна? — И давай меня целовать... — Пойдемте, пойдемте скорее.

Чаем еще меня угощала... Уговаривала погостить. Потом молодой ткач пришел... листовки-то и забрал...

— Помогло ведь, — улыбаясь, говорит Анна Кирилловна. — Добились тогда ткачи своего...

А то из Печер в Сормово в ведре листовки возила. Капусту сверху положила — будто капусту везу. Стала садиться, а мне говорят: «Куда с ведрами лезешь — капусту, что ль, в Сормове нет?» А я отвечаю: «Такой нет, это у меня особая...»

В 1902 году на Ковалихе фельдшер жил Иван Павлович<sup>1</sup>. Надо было знамена перевезти от него в Сормово. Пришла к нему. Ушла в спальню, обертела их под кофту вокруг себя, выхожу... А он спрашивает:

— Что же вы знамена-то позабыли?

— Нет, — говорю, — Иван Павлович, я не забыла. Провезла ведь благополучно...

Узнав о том, что я еду в Суджу навестить ее сына, мать оживилась:

— У меня к вам и просьба будет. Носки связала ему теплые. Захватите сыну в подарок — скажите, что люблю и помню...

Поручение матери было мною выполнено тогда же. Вскоре после памятной встречи я направил А. М. Горькому, жившему в Тессели, единственное письмо, в котором сообщал о том, что Анна Кирилловна жива, просил помочь ей заменить квартиру. Дней через десять явился ко мне молодой человек, сообщив, что прибыл по поручению А. М. Горького, привез А. К. Заломовой подарок. А вскоре она переехала с дочерью на новую благоустроенную квартиру — по Грузинской улице, в центре города. Через некоторое время Аину Кирилловну пригласили встретиться с рабочими и пионерами Ленинграда. Мать была взволнована радужным приемом и гостеприимством, каким окружили ее ленинградцы. Узнав от сестры Варвары, что мать выступала в Ленинграде, Петр прислал ей письмо:

*«Дорогая мама!*

*Вара рассказала мне о твоих выступлениях. Я очень рад, одобряю и горжусь тобой. Твои выступления не менее ценны, чем доставка прокламаций, доставка знамени в прошлом.*

<sup>1</sup> И. П. Ладыжников.

*...В твоей жизни было много тяжелого, но ты можешь гордиться тем, что вырастила целую семью бойцов за коммунизм, что твоя жизнь не оказалась бесполезной, ненужной, как жизнь многих и многих тысяч мещан, живших только для самих себя.*

*Крепко тебя целую, моя мать!*

*Твой сын Петр ЗАЛОМОВ».*

В июне 1936 года умер А. М. Горький. Соседка, маленькая девочка, прибежала сообщить Аине Кирилловне полученное по радио известие.

Объединившие общей болью, мы сидим за столом, негромко беседуя. Над самой головой Аины Кирилловны — небольшая фотография близкого и любимого писателя:

— Мне бы умереть, а не ему...

С болью в душе, медленно, с трудом говорит Аина Кирилловна, разделяя общую горе:

— Так и не пришлось мне повидать его уже выросшим. Ребенком лет пяти привела его к нам Варвара, как раз когда умер отец Алеши — Максим. Вот как сейчас помню, вошла и говорит мне: «Привела своего сиротиночку... Остался после мужа...»

Только ребенком и видела.

А ведь я ему многим обязана, особенно за сына — Петра. Помогал он мне всегда, жизнью его интересовался, здоровьем. Вот, расскажу, был случай. Приехал Петр в Москву. Встретились, Петр и говорит мне:

— Если случится что, я за вас грудью стану.

А Алексей Максимович отвечает:

— А я за вас...

Вот он как к сыну моему относился! Прекрасное у него сердце.

...Рассказывала мне одна знакомая, — продолжала Аина Кирилловна, — жил у них Горький с женой на квартире. — А муж хозяйки — повар — пьяница был отчаянный. Ну, у них в доме ничего и не было. А у Алексея Максимовича три рубашки было — две крепкие, одна худая. Он тогда только что в газету поступил. Получил Алексей Максимович первые деньги — два рубля пятьдесят копеек, половику повару отдал да еще и рубашкой поделился. Чутко относился к людской нужде и горю... Мне он недавно подарок прислал — из Москвы.

Сейчас сама себе говорю: посмотрела бы хоть на мертвого, да недомогаю. Слаба стала. Старею. Мне уж самой жить недолго.

А Алексея Максимовича очень жалею. Прекрасный был человек и душевный. Мало таких на свете...

Знали и успели полюбить Аину Кирилловну многие. Школьники и студенты, учителя и рабочие писали ей, а иной раз попросту заходили в дом. Летом тридцать седьмого навестить слепнущую мать приехали австрийские рабочие. Молодая девушка, воливаясь, сказала на встрече Кирилловне:

— Ваша жизнь служит примером и вдохновляет нас на борьбу с фашизмом. Ваше имя никогда не умрет в наших сердцах...

Мать потянулась к ней, видимо, желая обнять, а гостя поцеловала протянутую руку, знавшую труд, горе и радость.

Она дожила почти до девяноста лет. Хоронили ее просто, сердечно. На похороны приехал сын Петр. Выступал с прощальным словом:

— Последний раз из-за тысячи верст приехал я к тебе, моя мать! Я приехал говорить с тобой, приехал



Анна Кирилловна  
Заломова  
(в центре),  
ее дочь —  
Елизавета  
Андреевна  
и С. А. Орлов  
(1934 год).

говорить с матерями нашей великой социалистической страны. Спи спокойно, моя мать! Ты честно прошла свой долгий, трудный, но славный путь, и ты будешь жить в моем сердце до тех пор, пока оно не перестанет биться. Прими мой последний поцелуй и прости навсегда...

Навестив Петра Андреевича Заломова в Судже в 1934 году, я познакомился с человеком, которого не сломали ни ссылка, ни царские тюрьмы, ни преследования полиции.

«Когда меня арестовали на сормовской демонстрации 1 мая 1902 года, — вспоминал позднее П. А. Заломов, — Горький оказал мне большое внимание. Он ежедневно посылал с моей матерью мне в тюрьму обед и незадолго до суда велел передать всем нам, чтобы мы не пугались царских судей, обещал свою поддержку в ссылке, обещал выслать денег на побег...

Алексей Максимович свое слово сдержал. Он присылал мне в ссылку по пятнадцати рублей в месяц и однажды выслал триста рублей на побег.

Впервые я встретился с Горьким после побега из ссылки в 1905 году на даче в Куоккала.

Чтобы не привести шпиков, я слез с поезда на предпоследней станции и дальше пошел лесом, под дождем. Подойдя к даче, я увидел во дворе высокого, крепкого, сухоощавого человека. Он шел мне навстречу. Я вспомнил портрет Алексея Максимовича, узнал его и назвал себя.

Мы, старые рабочие, видевшие начало марксистского движения на фабриках и заводах, были революционными романтиками. «Песня о Соколе» звучала для нас как боевая труба, вызывала слезы восторга. И вот передо мной стоял автор «Песни о Соколе», передо мной был живой, смелый Сокол, буревестник русской революции — Максим Горький. Он обнял меня и крепко поцеловал. Потом посмотрел на меня и сказал: «Так вот вы какой!»

Октябрьская революция застала Петра в небольшом городе Суджа, Курской губернии. По его инициативе был создан в Судже уездный совет народных ко-

миссаров. Комиссаром труда стал работать в нем сормович-революционер.

В сентябре восемнадцатого года кулацко-помещичий «союз хлеборобов» арестовал Заломова. Его привели в штаб. Там вынесли приговор: расстрелять. Почти все население города обратилось с просьбой об отмене приговора. Подписались учителя, врачи, подписался даже (как выяснилось позднее) какой-то генерал Новосильцев. Побоявшись мести населения, комиссара освободили...

Смерть смотрела в лицо еще раз. Об этом, последнем случае Петр рассказывал:

«В самом конце девятнадцатого года пришлось познакомиться с денкиницами. Ночью слышу, стучат: «Отворяй двери!»

Нагрянули с обыском. Командует сын куриловского помещика Абаза. А у меня в коридоре стояли ценные вещи французской учительницы Дабо — подружки жены. Нашли эти вещи. Все взяли — и вещи Дабо, и жалованье жены, и часы, даже самовар забрали. Утром решил я пойти жаловаться в их штаб.

— Господин комендант! Я пришел, чтобы заявить вам: по вашему приказу у меня был обыск, а потом грабеж.

— Это ложь! — вскочил, словно зверь. — Наш доблестный иркутский полк не позволит этого!

Я ему спокойно отвечаю:

— Вот этот офицер грабил. И я требую, чтобы вещи учительницы Дабо были возвращены немедленно.

Посадили меня в подвал. И здесь, в подвале, смех меня разобрал: к кому обратился! Все сделал сам, чтобы повесили... К счастью, не довелось торжествовать белым — самим пришлось спасать шкуру...»

Беседа с П. А. Заломовым в Судже, где он проживал в это время, являясь членом правления колхоза «Красный Октябрь», я имел возможность убедиться в том, насколько дорог ему Горький.

Привожу отрывок письма старого революционера к матери, написанного под впечатлением встречи с любимым писателем:

«Виделся я в Москве с Алексеем Максимовичем Горьким. Несмотря на свою мировую славу и громадные заслуги перед революцией, он остался прежним, чутким, отзывчивым человеком. Встретил меня очень сердечно. Крепко целовались и оба немного проследзились. Говорил он мне, что моя жизнь значительна и что я должен писать свои воспоминания. Говорили мы о международной политике нашей великой страны, о М. М. Литвинове, о нашем строительстве, о колхозах... Я все по старой привычке сбивался на «ты» и извинился перед ним за это, а он мне ответил: «Это хорошо...» Ни тени высокомерия, ни тени чванства своей исключительно огромной ролью в деле завоевания, в деле строительства нашей революции. Он остался, каким был, и я ушел от него с громадным удовлетворением и глубокой благодарностью за то, что он ни в малейшей степени не поколебал моего представления о нем как о великом пролетарском писателе-революционере».

В день семидесятилетия со дня первой демонстрации сормовичей и столетия со дня рождения (май 1977 года) Петра Андреевича Заломова над новым индустриальным Сормовом могуче прозвучал заводской гудок.

Из главной проходной торжественно вынесли революционное Красное знамя — овеянное десятилетиями знамя, сплотившее миллионы простых людей, и в их числе мать и ее сына — знаменосца, лучших представителей русского рабочего класса.

К памятнику В. И. Ленину, сооруженному на месте баррикадных боев сормовских пролетариев с царизмом, демонстранты возложили живые цветы. Десятки тысяч сормовичей прошли по той самой улице, где некогда победно взметнулось Красное знамя революции. Праздник продолжался весь день.

Здесь, на Волге, в среде сормовичей не раз приходилось слышать пожелание — увидеть в Сормове на месте незабываемых революционных событий 1902—1905 годов памятник матери и сыну — героям горьковского творения «Мать».

Очень хотелось бы, чтоб на сормовской улице тысячи тысяч советских людей увидели и благородное лицо горьковской Ниловны и ее натруженные руки; матери, сумевшей понять подвиг сынов и помочь их борьбе. Пусть сотни тысяч юных увидят перед собою и мужественное лицо знаменосца — лица Павла Власова, согретое мыслью о братстве рабочего народа всех стран земли. Лицо человека, готового на смерть во имя победы, уверенно и твердо бросающего своим судьям: «Победим мы, рабочие... Это будет!»

Мы вправе и обязаны это сделать.



## АРТЫК ХОВАЛЫГ

### Табун

Поутру, когда коснутся зори  
Белых юрт на родине моей,  
Кони собираются кучней.  
Издали глядишь — как шторм на море.  
Их вожак и олытен и юн,  
Машет гривой, землю бьет копытом.  
И земля дрожит в волнение скрытом,  
Если в горы он ведет табун.

### Волна и ветерок

Теплый ветер ластился к реке,  
Нежно гладил, рисовал узоры  
На ее ладони, на руке,  
Отражавшей небо, лес и горы,  
Каждую холодную волну  
Обнимал и говорил, наверно,  
Что теперь навеки он в плену  
У реки и у любви безмерной.  
А река звенела, серебрясь,  
Гибкая, во всю длину тянулась,  
Нежилась, нисколько не смутясь.  
Я, вздохнув неволью, улыбулась:  
Вспомнила, как сильная рука  
Бережно моих волос касалась...  
Шли над Енисеем облака.  
Ветерок играл с волной. Смеркалось.

### Горы

Покорили меня красотой  
Гордых скал снеговые вершины.  
Вот стоят они, как исполины  
С непокрытой седой головой.  
Жить вдаль от них невыносимо.  
Закрываю глаза, чтоб опять  
Видеть в облаке белого дыма  
Горы милые и повторять:  
Я люблю вас, люблю. Вы стоите  
На тувинской земле дорогой  
И от северных ветров храните  
Дом родительский. Значит, и мой.

Перевела с тувинского  
Ю. СУЛЬПОВАР



## АРАМАИС СААКЯН

☆☆☆

Не по тебе бывает мне, когда  
о чьей-то смерти, чуть ли не зевая,  
расскажут: мол, обычная беда,  
и всем дорога предстоит такая.

А этот человек любил мечтать,  
был магтером и жаждал долголетия...  
И разве можно так о нем сказать,  
как будто жизнь —  
всего лишь тропка к смерти!!

### В день рождения

Мать отмечает день рождения сына,  
погибшего в бою.

Его портрет  
для матери,  
согбенной от кручины,  
единственный, пусть зыбкий, в жизни свет.

Пришли друзья,  
а во главе застолья  
пустует стул — обычай...

И гостей  
мать угощает,  
но холодной болью,  
как обручем, стянуло сердце ей.

Рожают в муках женщины...  
Стократно  
больней им пережить своих ребят...  
Сын в восемнадцать пал на поле ратном.  
А ныне было бы ему за пятьдесят.

И было б это только справедливо,  
когда б свершилось чудо, и сквозь мглу  
небытия прошел он и, счастливый,  
на миг подсел бы к этому столу...

### Советчики

Мне говорят:  
не верь врагу и другу,  
не верь ничьим улыбкам и словам...  
Советчики! Спасибо за науку.  
Не верить! Ладно.

Я не верю — вам!

### Природа

В машинный век бетона и железа  
нас все сильнее влечет к живому лесу.

Подделку под очаг — электропечь  
придумали, чтоб на сердце сберечь

хотя бы отзвук сельского уюта.  
В домах, что в небеса полезли круто,

растим цветы и всякое зверье  
в квартирах держим, не щадя жилья.

Из серебра повыковали брошек —  
мух, скарабеев и сороконожек.

Что ж, время очевидное понять:  
мы — только дети, а природа — мать.

### Дочери

Тебя на свете не было давно ли!  
Тогда не угнетало это нас.  
Зато какую странной жизнью доколе,  
жизнь до тебя, нам кажется сейчас!

Ты родилась — и стала сразу прочно  
всей нашей жизнью, нашею душой.  
Сказать, что мы живем с тобой, неточно.  
Куда точнее — мы живем тобой!

Людей немногих знаешь ты покуда,  
и мало кто успел тебя узнать.  
Тебе мы всю планету, наше чудо,  
весь мир — тебе мечтаем показать.

С рождением твоим мы подобрали,  
дом стал светлее, вместе с нами рад.  
Посапывая, дремлешь в колыбели,  
а наши радость и любовь не спят.

Тебя похвалят — и необычайной  
мы гордостью тотчас озарены.  
Для нас твой взгляд и каждый жест  
случайный  
особого значения полны...

### В купе

Нас было четверо в купе,  
из четырех краев планеты,  
мы жили  
каждый по себе,  
пока на дружеской тропе  
нас не свела поездка эта.  
Всем хорошо,  
и нет помех  
для понимания и спора.  
Всем весело —  
и дружный смех  
разносится по коридору.  
Подумал я  
в который раз:  
нам в крошечном купе не тесно,  
что ж  
на земле большой  
подчас  
так люди борются за место!

Перевел с армянского  
А. КАНЫКИМ



Ю. ГАЛКИН

# АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС



*Уважаемая редакция!  
Моя любимая драматическая актриса —  
Алиса Фрейндлих.  
Я никогда не видела ее в театре,  
но с громадным удовольствием смотрю  
телевизионные спектакли  
и фильмы с ее участием.  
Умная актриса,  
Алиса Фрейндлих, тонкая актриса.  
И такие же умные и тонкие ее героини.  
Особенно я люблю,  
хоть это может показаться странным,  
«Ковалеву из провинции».  
«Юность»! Я хочу увидеть  
на твоих страницах Алису Фрейндлих!  
С уважением*

г. Томск.

Е. МЕЛИК

**П**опулярность Алисы Фрейндлих столь необычна, что объяснить ее непросто. Что ни роль, то победа. Как будто стоворились критики и знатоки искусства. И пьесы бывают малоудачные, и фильмы с ее участием бывают слабые. Но даже и в этих случаях на долю Алисы Фрунзовны выпадает успех. В чем же причина?

Алиса Фрейндлих. Вы явно преувеличиваете мою популярность. Я вам сколько угодно насчитаю актеров популярней меня. Сколько хотите? Десять? Двадцать? Не надо? Ну то-то. Да и вообще, разная бывает популярность. Вряд ли это критерии. Вернее, не единственный критерий.

А что касается побед и шумного успеха... Как вам сказать... В кино у меня побед пока не так уж много. Хочется верить — пока. Да и в театре всякое бывает. Вы не видели у нас в театре «Хождение по мукам»?

Ну, и слава богу. Я очень люблю этот роман Алексея Толстого. И с большим увлечением работала над ролью Дашы. И провалила роль. С треском провалила. По всем статьям. Нищи теперь виноватого...

Так что неумеренное выражение восторгов вряд ли уместно... А то еще взгляните...

Я в Ленинграде. Мы разговариваем с Алисой по телефону. Хожу на ее спектакли. Вижу ее после репетиций и спектаклей. Вижу одну. С мужем, Игорем Владимировым. С очаровательной голубоглазой дочкой Варенькой. С товарищами по искусству. Слушаю ее. Алиса слушает меня. Мы спорим. В чем-то соглашаемся. Местами наш разговор напоминает диалог глухих.

Наконец Алиса читает мои заметки. Читает очень добросовестно, даже капитально. Читает весь ворох черновиков, машинописный и рукописный текст — более десяти вариантов. Читает и комментирует. Иногда улыбается. Правильно, мол, попал в цель. Замечает мелкую неточность. Исправляет карандашом. Вдруг неожиданно сердится (по пустяковому поводу), по-детски надувает губы. Якобы сраженная моим неумелым замечанием, закрывает глаза, судорожно ловит воздух ртом, падает в обморок и звонко хохочет. Увлеченная игрой, рассказывает о коллетях, одним-двумя жестами изображает их.

...Только что в двух шагах от меня была Алиса, грациозная, удивительно обаятельная. Вдруг она исчезает. Вместо нее — Игорь Владимиров в быденной жизни, элегантный, артистичный, пстыи джентльмен. Затем — Лариса Малеванная перед выходом на сцену — красивая, холодовая, углубленная в себя. Взмах руки Алисы — и в комнате становится тесно. Всю ее заполнил добродушный богатырь Алексей Петренко, только что вернувшийся со съемок. Мелодична его украинская речь. Его обращение к Алисе: «Ласточка моя!» — проникнутое неподдельной нежностью... «Какая актриса!» — думаю я.

...Бруно Фрейдлих, высок, благороден, обаятелен, обладает прекрасной артистической внешностью. Его работы в театре и кино отличают чувство меры и изысканный вкус. Ленинградцы любят его. Действительно, Бруно Фрейдлих — превосходный драматический актер. Хотел ли он, чтобы его дочь Алиса стала актрисой? И да и нет. Девочка была маленького роста, невзрачная, некрасивая. Куда уж ей в актрисы...

Зато образование Алисе дали основательное, обучали игре на фортепиано, пению, хореографии. В школьный кружок драмы, которым руководила известная актриса Призвая-Соколова, девочка поступила сама. Сама поступила она в Ленинградский институт театра, музыки и кино. Там ее тотчас заметили, о ней заговорили, предвещая ей большое будущее. Отец никогда никуда не «устраивал» Алису. Он был ей добрым наставником, делился с ней богатейшим опытом актерского мастерства.

После окончания института Алису пригласили в театр имени Комиссаржевской. Первые роли, первые успехи. Алиса играла своих сверстниц, жила их тревогами и заботами. Молодежь стала ходить в театр специально «на Алису». Песенки, которые пела актриса вечером на премьере почти в каждом спектакле, утром распевал чуть ли не весь Ленинград. В этом городе понимают толк в искусстве...

Чего еще желать?

Алиса Фрейдлих. О работе в театре имени Комиссаржевской я вспоминаю с большим удовольствием. Я прошла там хорошую школу, очень хорошую. Я там не была премьершей. Там блистала превосходная актриса Эмма Попова. А мне доставалась лишь те роли, от которых отказалась Попова (бли, как говорят в театре, которые упали со стола Поповой). Я рыдала и переживала страшно, но мне не удалось сыграть Дороти в «Пятой колонии» Э. Хемингуэя.

А может, и к лучшему. Если бы мне тогда поручали сложные психологические роли, наверное бы, я сломалась и сейчас бы была посредственной актрисой. Ведь надо очень много пережить и передумать, чтобы было о чем рассказать зрителю. Я твердо уверена: любому актеру надо опыта набраться, надо много перестрадать, надо пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы стать настоящим мастером.

Так вот, для меня театр имени Комиссаржевской был стартовой площадкой. Я сыграла 12 ролей за 4 сезона. Я играла детей, молоденьких девочек, своих ровесниц. Мне все было понятно и легко. И еще я очень много была занята в массовых сценах. Так, однажды я три с половиной минуты в глубине сцены вертелась на пуантах, изображая балерину.

А если бы я начинала с Джульетты — завалила бы эту роль, утробила бы себя. Но это я теперь такая разумная. А тогда негодовала, ужасно страдала, рвалась к успеху. Хорошо, что меня попридержали...

И вот Алиса встретила человека, под обаяние личности которого поддаются почти все, кому посчастливилось с ним встречаться. Это Игорь Владимиров — сейчас известный актер, режиссер и педагог. А 18 лет назад он был начинающим главным режиссером театра имени Ленсовета.

Алиса Фрейдлих. Игорь Петрович Владимиров — мой настоящий учитель в искусстве, заботливый и строгий педагог, мой верный друг. Всеми своими достижениями в театре я обязана только ему.

Я не представляю себе актрису Фрейдлих без режиссера Владимирова. Мне даже страшно об этом подумать. Смогу ли я теперь работать в другом театре? Не знаю... Скажем, ушла бы я в БДТ. Прекрасный театр, не правда ли? А как я там буду выглядеть — трудно сказать. Ведь театр-то совсем непохожий. Другие принципы, иная школа, иная поэтика. И актеры другой выучки. Может, я там буду заштатной актрисой. А Владимиров предоставляет мне полную свободу для творчества. И знает меня и мои возможности, как никто другой. Можно сказать, режиссер Владимиров создал актрису Фрейдлих. Думаю, это не будет преувеличением.

Союз Фрейдлих и Владимирова оказался счастливым. Основные творческие достижения Алисы связаны с театром имени Ленсовета, с великолепной труппой, которая состоит из учеников Владимирова. Здесь Алиса сыграла более тридцати ролей. Слава ее росла и перешагнула вскоре далеко за пределы Ленинграда.

Так чем же Алиса Фрейдлих завоевала сердца зрителей? Почему в созвездии блестящих советских актеров она одна из первых?

Алиса Фрейдлих. Знаете, вы, кажется, решили меня со всем светом поссорить. Фрейдлих — самая первая... Хорошенькое дело! А где же Евгений Лебедев, Сергей Юрский, Иннокентий Смоктуновский, Игорь Ильинский, Александр Борисов, Игорь Горбачев, Олег Ефремов, Юрий Толубеев, Юрий Яковлев? А чем вам не по праву Ангелина Степанова, Татьяна Доронина, Зинаида Славина, Марина Неёлова?

Список этот, разумеется, можно продолжить. Я назвала тех, кто мне сразу в голову пришел.

На мой взгляд, нет ничего опаснее для актера, чем такое вот: «Гром победы раздавайся!» Как только актер уверует в то, что он первый, гениальный, национальная святыня, пиши пропало, ему как художнику конец пришел. Увы, таких примеров немало.

Конечно, звания, награды, премии, восторженные отзывы критиков — это все приятно. Но куда важнее творческое горение. Да, лучше быть в числе первых. Но это не главное. Лично для меня важно, что я актриса. Просто я люблю театр и не могу без него. И счастлива, что занимаюсь любимым делом.

А термин этот — «первенство» — давайте оставим для спортивных состязаний...

Многие считают, у Фрейдлих свой театр. В расчете на ее творческую индивидуальность во многом строится репертуар. Что ж, не диво это. Хоть редко, но бывает.

Алиса прекрасно поет. Но нет, не в этом дело. Ныне многие драматические актеры хорошо поют и могли бы работать на концертной эстраде. Например, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Михаил Боярский...

Алиса прекрасно танцует. Но у нас много отлично подготовленных синтетических актеров: тот же Андрей Миронов, Николай Караченцов, Константин Райкин, Людмила Гурченко, Марина Неёлова...

Алиса Фрейдлих. Не могу согласиться. Свой театр не у Алисы Фрейдлих, а у Игоря Владимирова. Во мне Игорь Петрович нашел исполнительницу своих творческих замыслов. Театр наш (смею надеяться, весьма необычный театр) в том виде, в котором он существует, придумал и создал режиссер

**Владимиров.** Эстрадной певицы из меня не получилось бы при всем моем желании. Нет данных. Я драматическая актриса, которая очень любит петь. И танцевать.

Может, секрет в ролях Алисы? Да, разумеется. Но судью Елену Ковалеву («Ковалева из провинции» И. Дворецкого) играли десятки актрис, певицу Елену Модлевскую («Варшавская мелодия» А. Зорина), наверное, сотни, а бессмертную Джульетту — тысячи. Более того, Фрейндлих почти всегда бывает далеко не первой исполнительницей роли. Но благодарная зрительская память зачастую запечатлевает интерпретацию Алисы в качестве своеобразного эталона.

Алиса может творить на сцене настоящие чудеса, как, например, в спектакле-концерте по произведениям классиков немецкой драматургии «Люди и страсти», созданном Владимиром специально для Фрейндлих. За каких-нибудь два часа актриса играет подюжини ролей, перевоплощаясь буквально на глазах у зрителей, поет, читает стихи. Перед нами — Елизавета, королева английская, отправляющая на казнь свою пленницу, шотландскую королеву Марию Стюарт («Мария Стюарт» Шиллера). Из победительницы актриса превращается в побежденную: Мария-Антуанетта («Вдова Капет» Фейхтвангера) уходит на смерть, так и не сумев понять, в чем ее вина перед Францией... Мыслитель и борец Уриель Акоста («Уриель Акоста» Гудкова) в трудный час своей жизни, униженный, поверженный в прах, отрекающийся от своих убеждений — мужчина в расцвете лет! — это тоже Алиса!!!

Первое впечатление — невероятно! Однако вспомним: были женщины, игравшие Гамлета. А искусством мгновенной трансформации ныне владеют актеры театра и эстрады. Хотя немногие, но владеют...

Первое появление Фрейндлих на сцене, как правило, удивляет — она незаметная, обыкновенная, даже приземленная. И одеты ее героини не броско, и манерами не блещут, да и разговор их с чудинкой: речь прерывистая, ударения все больше смысловые, согласные удивительно раскатываются. Актриса не боится быть некрасивой, даже озорно бравирует своей смелостью.

Но проходит минута, другая — и вдруг происходит то самое чудо, за которым и ходят люди в театр. Как-то неожиданно зрительный зал покоряется воле маленькой женщины.

Вот это единение актрисы и зала и есть первый секрет гипнотической силы воздействия Алисы на зрителя. Каждый зритель вдруг начинает ощущать, что сегодня Фрейндлих лицедействует именно для него. И ее героини с поразительно красивой душой и сердцем, неся на своих хрупких плечах непосильный груз ответственности, преодолевая любые жизненные невзгоды, на наших глазах обретают и утверждают себя, становятся прекрасными.

Второй секрет Алисы прост, предельно прост. Каждый свой спектакль, каждую роль она играет с такой яростной страстью, с такой поразительной самоотдачей, как будто это последний и самый важный вечер в ее жизни. Теперь или никогда нужно сказать зрителю свои самые важные, самые сокровенные слова, донести до ума и сердца сотни людей свое представление о человеческих ценностях, смысле и красоте жизни.

Как правило, в самый кульминационный момент, когда страсти достигают апогея, актриса берет в руки микрофон и выходит на авансцену. И в зал летят веселые и грустные, лирические и трагические песенки — комментарии Алисы к происходящему на сцене. Она как будто рассматривает своих героинь со стороны.



Алиса Фрейндлих в роли Малыша в спектакле по сказке А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

**Алиса Фрейндлих.** Ну, это спорно. Вряд ли мне удастся моих героинь со стороны рассматривать. У меня другая задача: слиться воедино с моей героиней. Чтобы, как говорят, между нами иголку нельзя просунуть было. Другое дело, что удастся это далеко не всегда.

Еще одно удивительное свойство Алисы: она актриса без ампула. Попросту она может сыграть абсолютно все: юную красавицу, сказочную героиню и уродливую старуху, простолюдинку и даму из высшего общества. Может и мужчин. И животных. И даже детей. (Это невероятно трудно. Тут любая фальшь — кричит!..) Дочери Алисы Варваре — 11 лет, Малышу из сказки А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» — всего 7. Согласитесь, это непросто: проработать на сцене целых 20 лет — и вдруг превратиться в ребенка, который младше твоей дочки...

Алиса Фрейндлих — актриса, остро чувствующая современность. Она современна и по своему мироощущению, и по своей раскованной манере игры, и по трагедийному накалу чувств, и по передаче тончайших душевных нюансов своих легко узнаваемых героинь. В ней каждый видит себя, свою борьбу, свои надежды и идеалы.

Алиса сравнительно редко выступает в классическом репертуаре. Ее стихия — день сегодняшний.

**Алиса Фрейндлих.** Ну, и чем же тут хвастаться? Да тут рыдать нужно. «Караул!» кричать. Это совсем не достижение, что я мало классику играла. Это беда моя.

Жестко ошибается тот, кто в простоте душевной считает, что классик — это писатель, который давно умер и которого из вежливости надо ставить к юбилею. Нет, классик — это титан, который имеет дело с напряжением 100 000 вольт, а не 220, как все простые смертные.

Одно дело — сыграть, скажем, библиотекаршу Ека-терину Елочкину («Пятый десяток» А. Беллинского), о которой я знаю абсолютно все: я тысячи раз была в библиотеке, в таких вот семьях, праздничных компаниях, взглядываясь в лица этих милых людей. Мне нравится пьеса, я люблю эту роль, но, положа руку на сердце, не так уж сложно было мне сыграть ее.

А хочешь доказать, что ты настоящая актриса, — сыграй Софокла и Еврипида. Постигни накал страстей шекспировских героинь. Проникни в высокий строй мыслей Чехова, Горького, Булгакова.

Русская актриса, которая не играла Чехова?! Смех и грех! Я очень счастлива, что мы наконец-то приня-ли к постановке «Вишневый сад», где я сыграла роль Раневской...

Еще один, последний штрих к портрету.

Владимиров и Фрейдлих искали и нашли тему Алисы в искусстве. Это тема Любви. Любовь для Алисы и ее героинь священна, это божественное чув-ство, начало всех начал, любовь — это сама жизнь.

Тема большой, настоящей любви — вот путеводная нить очень разных, своеобразных героинь Алисы. А героини эти, как правило, многосложные, трудные, и такая же трудная жизнь у них. Но они живут, страдают и борются во имя любви. Ибо без любви, как бы разни она ее ни понимали, жизнь становится тусклой, будничной и скучной. Без любви, солнечной и свободной, жизнь теряет для героинь Фрейдлих все свое очарование. Раскрывая нестареющую цен-ность и гуманистическую силу любви, Алиса показы-вает, как расцветает человеческая личность под влия-нием всепоглощающего чувства.

...Каждая новая роль Алисы — предмет пристально-го внимания критиков и театральной общественности. Внешне ее карьера кажется безоблачной, хотя у актрисы немало творческих проблем...

В течение целых 15 лет, со времени первых гастролей Алисы Фрейдлих в Москве, о ней принято гово-рить лишь в самых восторженных тонах. Посмотрите, мол, какой необыкновенный талант, божий дар. Но за судьбу таланта, особенно такого хрупкого, как Алиса, всегда тревожно. Ныне творческая судьба ее вызывает опасения. Дело в том, что актриса начала играть так называемые возрастные роли, ее героиням уже за 40. Вроде бы все закономерно. Поздно или рано этот переход должен был совершиться. Однако Алиса сейчас находится в прекрасной форме. Она все знает, все может, все умеет. И пока еще она неподражаемо играет молодых героинь. Сколько продлится этот счастливый период? Должно быть, лет 7—8, не более. А все ли сделала Фрейдлих, что могла, обязана была сделать? Увы! И половины не сде-лала...

Синтетическая актриса — это хорошо или плохо? Странный вроде бы вопрос. Особенно, когда дело ка-сается Алисы. Ведь ей подвластны любые изобрази-тельные средства. Она добивается ярких побед и в драме и в мюзикле. Но ведь рядом с Фрейдлих еще 50 актеров. Не все они умеют петь и танцевать так, как Алиса, их профессия — драма. Надо и об их судьбе подумать. Ведь театр имени Ленсовета не монотеатр Алисы Фрейдлих. И вот среди триумфов и всеобщих восторгов раздаются трезвые голоса: «А сколько можно петь и танцевать в драматическом театре?»

Алиса Фрейдлих. Меня иногда упрекают в том, что я слишком много пою и танцую. Мне стран-но слышать эти упреки. Да у нас в театре из четы-рех-пяти спектаклей лишь один — музыкальный. Но почему-то существует мнение, что я чуть ли не му-

зыкхольная актриса. А Джульетта? А Ляка? А Ко-валева? А Елочкина? О них почему-то забывают. Вспоминают «Люди и страсти» или «Варшавскую мелодию». Но ведь Гелена — студентка консервато-рии, а потом — знаменитая певица. Да, я пою и ак-компанирую себе на рояле в этом спектакле. Но ведь это не я придумала. Это Леонид Зорин напи-сал. Неужели было бы лучше запустить фонограм-му с записью польской певицы (кстати, так и посту-пают в некоторых театрах), чтобы я лишь рот ра-зевала?

И почему в конце концов я не имею права петь и танцевать? Наверное, я плохо представляю себе, что это означает — драматическая актриса. Быть может, это актриса обязательно безголосая, не умеющая дви-гаться и ходить по сцене? Для того, чтобы полностью раскрыть свои возможности, мне нужны музыка, та-нец, пение, мелодекламация. Вот здесь-то часто и бы-вает эмоциональный пик, даже смысловый пик дра-матической роли. Музыка дает актеру возможность сказать что-то свое поверх текста, что ли, помимо автора... И что же в этом плохого?

Если уж на то дело пошло, то кто виноват в том, что в репертуаре удерживаются музыкальные спек-такли? Просто очень часто мюзиклы оказываются лучше сработанными, более жизнеспособными. Мо-жет, это веление времени? Как, по-вашему, «Укро-щение строптивой» — хороший спектакль? Он 400 раз прошел. А ведь это мюзикл. «Мой бедный Марат» — драматический спектакль. Тоже 400 раз прошел, мы его 12 лет в репертуаре удерживали. По-моему, ва-жен результат. Дело в том, искусство это или нет. А жанр — дело второстепенное.

О монотеатре. Это хорошо организованное недора-зумение. Есть театр имени Ленсовета со своим твор-ческим лицом, есть актеры и среди них я, Алиса Фрейдлих. Одна из многих. Думаю, что добрый де-сяток наших актеров мог бы украсить любую труппу. Один из лучших наших спектаклей — «Левша». Там прекрасный актерский ансамбль: Барков, Розанов, Де-вяткин, Петренко (последний, к сожалению, ушел из театра, где его очень любили и гордились им). Я не занята в этом спектакле. Как не занята еще в 10 спек-таклях текущего репертуара. Попасть в наш театр на любой спектакль совсем непросто.

В кино же все иначе. В кино актер полностью за-висит от режиссера. Я приезжаю на съемки на один день и должна верить режиссеру на слово, что этот кусок нужно сыграть так, а не иначе. Проверить истинность его слов я могу только после выхода филь-ма на экран.

Сейчас мы с Игорем Петровичем снимаем в «Ста-ромодной комедии» по пьесе А. Арбузова. Великолеп-ная пьеса, а какой выйдет фильм — сказать трудно...

По счастью, массовый зритель даже и не подозре-вает о трудностях актрисы. Он любит маленькую хрупкую Алису Фрейдлих горячо и восторженно. И отвечая любовью на любовь, вновь и вновь выхо-дит она на подмостки сцены...



## ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА

☆☆☆

Живу, где лес,  
Где талый тракт укатан,  
Где март, где письма от друзей ндут,  
Скрипят полы, и умывальник каплет,  
И тихо старики мои живут.

Где облака находят,  
Где стихами  
Мне никогда богатства не добыть,  
До точки, до последнего дыхания,  
До следующей жизни буду жить.

☆☆☆

Весь день разъезжает вокруг наших мест  
Гроза на телеге порожней,  
И столько деревьев стоппилось окрест,  
Что книгу читать невозможно.  
На радость мне эта обитель дана,  
Где травы растут сквозь ступени.  
И можно часами следить у окна,  
Роман положив на колени,  
Как ливни, находят волна за волной,  
И тихо душа моя ахнет,  
Что в этих лесах все равню, как в парной,  
Распаренным венником пахнет.  
И то, что я вечно одна и одна,  
Не повод совсем для кручины.  
Я счастлива, и молода, и вольна  
Пребуду до самой кончины.  
Так слушай людей и живи меж людей,  
Мудра, как Царевна-Лягушка...  
О птицах, собирающих пух тополей,  
Невзрослая молвит подружка.  
Уже одуванчиков день ото дня,  
Что мыльных шаров на полянках.  
Так жакко, что песни поют без меня  
Родные на дружных гулянках...

## Прощание

Болота уснувшего всхлип,  
Жасмин на далеких покосах,  
Замшелых шлагбаумов скрип,  
И вереск, и дым на откосах...

Мерцающий свет деревень  
И воздух в низинах лиловый,  
Вся в каплях речная сирень  
И дождевики рыболовов...  
Дикарская юность, постой  
Со мной у ограды забытой,  
Твоей оперенной стрелой  
Давно мое сердце пробито.  
Ночные деревья, родня,  
Усадьбы, столбы и скамейки,  
Кто ходит тут вместо меня  
По рельсине узкоколейки  
И чей наступает черед  
На лодке скользить через реку,  
Кто нынче молиться идет  
В районную библиотеку!  
О, слушайте звоны в столбе,  
Ступайте на рыбную ловлю...  
А я постаревшей себе  
«Не плачь, моя девочка», — молвлю.  
Какой невозможной красе  
Всем слухом и зреньем внимаю!  
Все звуки и запахи все —  
Целую вас и обнимаю.

☆☆☆

В двухъярусных лесах, возвращенных человеком,  
В скрипучем корабле дано мне нынче плыть,  
На местных поездах летать по лесосекам  
И, сповно под столом, в глуби лесов ходить.

А по ночам глядеть на небо, как на диво,  
И наблюдать в печи движение огня —  
Как странно я живу и так неторопливо,  
Как будто вечность есть в запасе у меня.

Я вижу вольных псов внимательные взоры  
И страждущих старух покорные глаза.  
Я замечаю, что тесовые заборы  
Изъедены дождем, горючим, как слеза.

И, видимо, к письму в окно стучится птица,  
За рамою цветы стоят, едва дыша...  
И если даже то не сбудется, что мнится,—  
Я знаю, будет жизнь все так же хороша.

☆☆☆

Что вы глядите, сжимаючи ладони!  
Я и сама от печального устала...  
...Как моя доченька,  
в деревенском доме  
Грациозная музыка играла.  
И перламутровые голуби гуляли,  
Было в сугробах сияние стрекозье,  
И целый мир, как белье, прополоскали  
И, подсинивши, распяли на морозе...  
Что вы, к чему вы, зачем вам эта буря!  
Лучше наполним стакан простой водицей...  
...И сквозь узоры розового тюля  
Зорко смотрела зеленая смица...  
Ах, наведемте в самих себе порядок.  
Оборотись, чрезмерное мгновенье! —  
Как за углами во время детских прятков,  
Радостно было свое сердцебиенье!..  
Я под звездой на лесной лыжне стояла,  
А под какой — и название забыла.  
А грациозная музыка играла  
И по лицу легким пальчиком водила.



О. ВОРОНОВА

# ПРАВДА И КРАСОТА

**Б**ольшой зал московского Дома художника не вмещал желающих: теснились в соседних комнатах, у вешалки. Вечер, посвященный памяти Александра Терентьевича Матвеева и Павла Варфоломеевича Кузнецова, заставлял задуматься о том, что история искусства творится, в сущности, у нас на глазах. Художники старшего и среднего поколений хорошо помнили и неторопливого, доброжелательно-тихого Кузнецова и беспокойного, немного резкого, порой колючего Матвеева. Для одних они были товарищами, работавшими бок о бок с ними; для других — учителями. Для молодых (а большей частью собравшиеся в Доме художника были молодые) они были классиками, с произведениями которых привыкли встречаться в музеях, мастерами, чьи имена прочно вошли в историю русского советского искусства. Время становилось весомым, материально ощутимым: Матвеев умер в 1960-м, Кузнецов — в 1968 году. Сравнительно недавно? Да, но жизнь, прожитая ими, была долгой. Художники родились в 1878 году, и выставка была приурочена к их столетию.

Они были не только ровесниками, но и земляками. Оба родились и выросли в Саратове. Напомним, что Саратовщина в начале нашего века дала русскому искусству целую плеяду талантов: Петрова-Водкина, Матвеева, Кузнецова, Уткина, Карева... Истории культуры известны такие феномены (вспомним хотя бы «юго-западную литературную школу» — возникшее перед гражданской войной в Одессе соцветие поэтов и писателей). Впрочем, феномены ли? В Саратове был прекрасный — лучший в российских провинциях — музей с картинами Добинь,

Диаза, Коро, Серова, Репина, со скульптурой Антокольского и Беклемишева, с коллекцией французских гобеленов. В Саратове действовали Общество изящных искусств, любительская студия живописи и Боголюбовское — названное по имени знаменитого русского мариниста А. П. Боголюбова, основанного городской музеем, — рисовальное училище. Рисунок Кузнецов и Матвеев учились у Коновалова, свято хранившего традиции петербургского профессора Чистякова, живописи — у осевшего в России миланца Сальвини-Баракки, страстного приверженца плейэра, приучавшего учеников «видеть свет и воздух».

И, наконец, в Саратове жил Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов, живописец — мечтатель и поэт, убежденный, что искусство должно говорить языком возвышенных образов, направляя зрителя к постижению идеальной красоты. «Художник умный, культурный и взыскательный: он был требователен и суров, автор нежных и трогательных живописных вещей», — говорил о нем Матвеев (в 1900 году он исполнил его бюст, в 1910—1912 годах создаст надгробие на его могилу). Беседы с Борисовым-Мусатовым вводили молодежь в атмосферу эстетических поисков времени — знакомили ее с художественными спорами петербуржцев и москвичей, со всем, чем жило русское искусство. Немалое влияние на начинающих оказывало и его личное творчество: мягкая манера письма, стремление к поэтическим замыслам, к гармонии и изысканности колорита — все это у Кузнецова от его первого учителя. Но воздействие Борисова-Мусатова не было ограничивающим — подметив склонность Матвеева к лепке, он первый посоветовал ему заняться скульптурой.

Кузнецов и Матвеев почти одновременно расстаются с Саратовом: Кузнецов в 1897-м, Матвеев в 1899 году — и поступают в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, одив на живописное, другой на скульптурное отделение. Кузнецов занимается у Коровина и Серова, по собственному признанию, научившего его серьезному, вдумчивому отношению к натуре; Матвеев — у Трубецкого, тот приучает его думать не о натуралистической детализации, но о главном в скульптурном образе. Наконец, оба почти одновременно нащупывают самостоятельную дорогу.

Их жизни текут рядом, порой сближаясь, иногда перекрещиваясь и вновь обретая независимое течение. Оба они какое-то время пользуются поддержкой и покровительством известного московского мецената С. И. Мамонтова — впоследствии Матвеев исполнит его портрет, а Кузнецов всю жизнь будет вспоминать о «согревавшем душу кружке Саввы Ивановича». Оба в 1906 году едут в Париж, знакомятся с искусством Гогена, Родена, Матисса, Менье, Деви. Оба представлены на выставках «Мира искусства», «Голубой розы», «Союза русских художников», обоих репродуцирует журнал «Золотое руно». В 1907 году Матвеев поселяется на станции Кикерино, под Петербургом, возле керамического завода известного мастера-керамиста Ваулина — переводит в майолику свой горельеф «Сидящий мальчик» и статую «Пробуждающийся». Кузнецов постоянно приезжает к нему, следит за его работой. В 1908 году судьба сводит их и творчески — оба приглашены в Крым, в Кучук-Кое к богатому коллекционеру Жуковскому: Кузнецов украшает комнаты росписью и майоликовыми фризами, Матвеев вырубает в мраморе и инкерманском камне несколько статуй, которые ставятся украшением парка (они погибли во время Великой Отечественной войны). После победы Октября оба художника без колебаний отдадут свой талант строительству новой культуры. Куз-



П. КУЗНЕЦОВ.

Мираж в степи. 1912 г.

Из произведений советских художников  
П. В. КУЗНЕЦОВА [1878—1968 гг.], А. Т. МАТВЕЕВА [1878—1960 гг.].



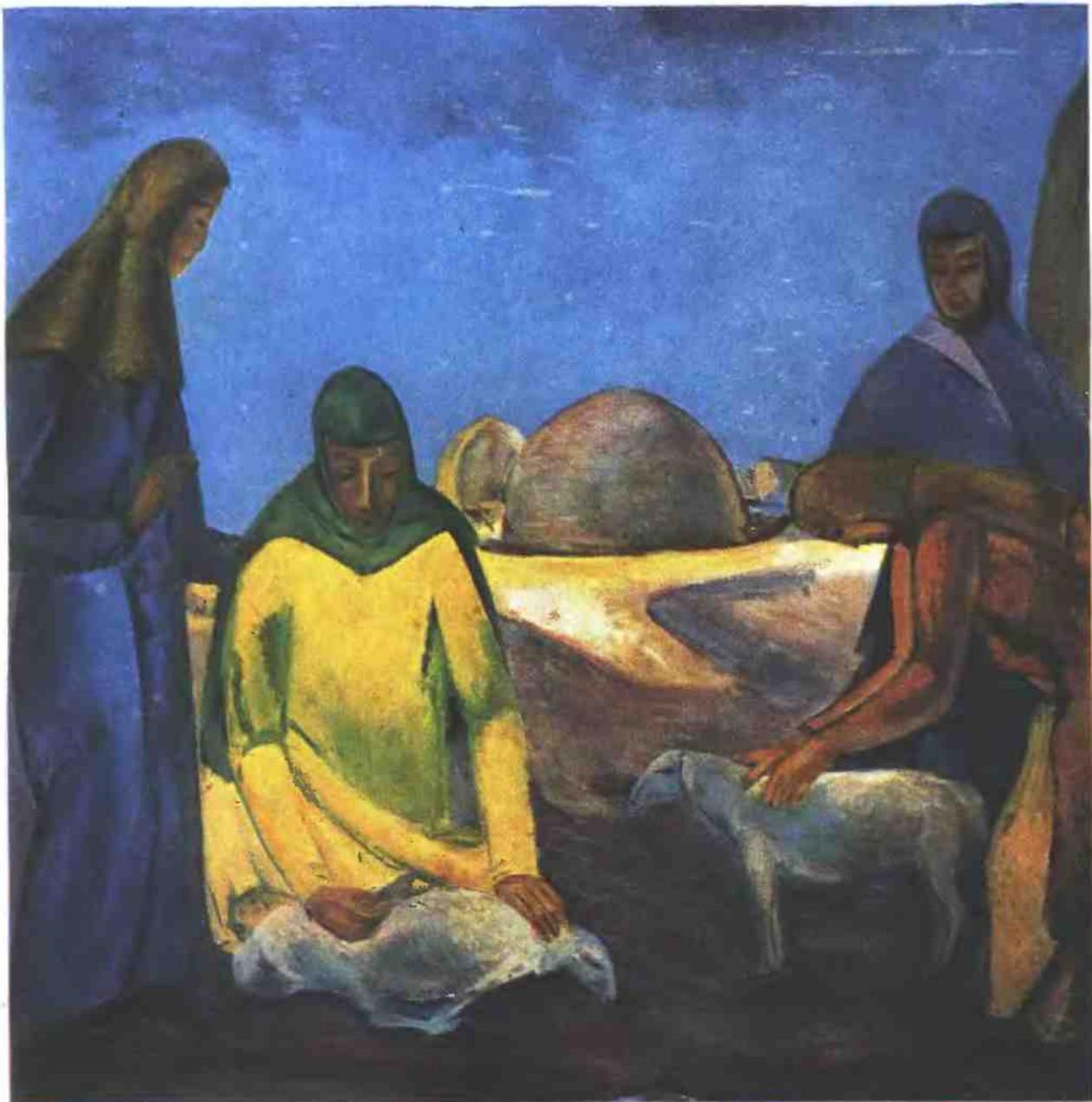
А. МАТВЕЕВ. Красноармеец. Эюад к композиции «Октябрь». Бронза. 1927 г.



П. КУЗНЕЦОВ.  
**Обработка  
Арктического туфа.**  
1930 г.



А. МАТВЕЕВ.  
**Портрет  
М. Ю. Лермонтова.**  
Бронза, 1946 г.



П. КУЗНЕЦОВ.

Стрижка барашков. 1920 г.

пецов работает председателем Солдатской секции в художественно-просветительной комиссии при Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, становится членом Комиссии по охране памятников искусства и старины в Московском Кремле; принимает деятельное участие в преобразовании Училища живописи, ваяния и зодчества; по предложению В. И. Ленина отправляется в Париж для восстановления культурных связей с Францией. Матвеев входит в состав Художественной коллегии при отделе ИЗО Наркомпроса; участвует в организации Государственных свободных художественно-учебных мастерских; создает памятник Карлу Марксу, одно из лучших скульптурных произведений эпохи осуществления ленинского плана монументальной пропаганды — 7 ноября 1918 года его торжественно открывают у Смольного.

В двадцатых годах художники регулярно встречаются на собраниях общества «Четыре искусства» (в него входят живописцы Кузнецов, Сарьян, Петров-Водкин, скульпторы Матвеев, Ефимов, Мухина, графики Фаворский, Нивянский, Остроумова-Лебедева, архитекторы Щусев, Шуко). Много говорят об архитектуре и искусстве, читают стихи, слушают музыку. Художники воспринимали музыку как искусство, дающее вторую жизнь пластическим произведениям, выявляющим их сокровенную суть.

В это время и Кузнецов и Матвеев — уже признанные метры. Кузнецов с 1918 по 1930 год преподает монументальную живопись в Училище живописи, ваяния и зодчества; в 1947 году он опять вернется к педагогике, станет заведовать кафедрой монументальной живописи в Строгановском училище. Преподавательская деятельность Матвеева началась тоже в 1918 году — сперва в Свободных мастерских, потом в Академии художеств, в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, затем он директор Академии художеств и декан скульптурного факультета вплоть до 1948 года.

Вот и все основные события жизни художников. «Никакой такой биографии у меня помимо творчества не было», — говорил Матвеев. И в ладу ему звучали слова Кузнецова: «Какая у меня биография? — уже глубоким стариком ответил он на мой вопрос. — Я картины писал». В тот день мы долго говорили о Древнерусской живописи (художник особенно ценит в ней красоту цветосочетаний и монументальность), о мастерах итальянского Проторенессанса — Джотто и его учениках («В их работах чувствуется сердечная чистота»), но больше всего о природе и людях Средней Азии. «Вы ведь были там? — спрашивал меня Кузнецов. — Что вас поразило больше всего?» «Тишина, вернее, какая-то внутренняя сосредоточенность. Мне все время казалось, что за внешним шумом базаров и споров там существует какой-то второй пласт жизни — тихой, серьезной и глубокой». Павел Варфоломеевич улыбнулся: «Это очень близко к моему восприятию, хотя объективно, возможно, и неверно». И начал рассказывать о своих поездках по Казахстану и Средней Азии.

Эти путешествия (впервые он поехал в Узбекистан в 1908-м, а в казахские и киргизские кочевья — в 1911 году) сыграли решающую роль в его творчестве — дали ему ощущение возможности гармонического слияния человека с природой, ее первозданности и беспредельности, наделили его полотно лирической прочувствованностью. Он писал женщин в кибитках; верблюдов, степенно шествующих за хозяином; степь, замирающую в ночной тишине. Но самые простые, бытовые подчас сюжеты в его исполнении перестали быть простыми и приобрели оттенок торжественности. Женщины, кормившие овец, словно исполняли древний ритуальный обряд;

у верблюдов шеи были лебедиными, а движения музыкально-ритмичными, размеренными; над бескрайней задумчивой степью голубым патром опрокидывалось такое же беспредельное небо — по нему легко и неслышно скользил серебристый месяц. И над всем этим — над людьми, животными, кибитками, над всей степью — стояла бездонная, нерушимая тишина...

...После революции Кузнецов едет в Ереван, чтобы воссоздать строительство столицы Армении — сверканье розового туфа под ярким синим небом, стремительный бег грузовиков, неторопливую, но упорную поступь быков, тянущих тяжелые арбы, эпитазм людей, возводящих прекрасный новый город. «Я стремился отразить коллективный пафос монументального строительства, где люди, машины, животные и природа сливаются в один мощный аккорд», — скажет он сам. Размах творящихся в стране изменений захватывает художника. За поездкой в Ереван следует поездка в Баку, где добывают нефть, в Узбекистан, на хлопковые плантации, в Крым — в винодельческие и овцеводческие колхозы.

Еще больше интересует Кузнецова изменение психологии советских людей. Его герои — будут ли это крымские колхозники, узбекские сборщицы хлопка или русские крестьянки — чувствуют себя хозяевами своей судьбы, в их облике есть и достоинство и спокойная уверенность в будущем. Да и живут они уже не в сказочной стране — в каждой картине истинно прочтываются и географические и временные ее рубежи.

Кузнецов работает много, интенсивно, споро. Пишет портреты, натюрморты, занимается графикой, создает театральные декорации, неустанно совершенствует технику. «Краски тончайшим слоем лежат на поверхности холста. Никто из современных художников так ревниво не следит за плавностью фактуры. Живопись приобретает характер блестящей артистической игры, выточенной без напряжения и усилий», — восхищаются на одной из его персональных выставок. Художник мечтает о стенписи, работает на холсте фресковой техникой, и хотя не имеет возможности претворить свои замыслы в действительность, многие из его станковых полотен («Пастухи на отдыхе», «Крестьянки», «Мать») легко представить в увеличенном виде на стене.

«Новый» Кузнецов? Нет, прежний, только ставший зреем и мудрее. Не изменив звездному часу своей молодости — степным и бухарским пейзажам, — он обогатил свое искусство трепетом подлинной жизни, вмещающей не только радость и отдых, но и труд и заботы. Цельность — вот слово, лучше всего определяющее творчество Кузнецова. И такая же внутренняя цельность, негибкость характерна для Матвеева. Поставив целью возродить в русской скульптуре непосредственность и серьезность отношения к классическим принципам, он обращается к труднейшему из канонов мирового искусства — к изображению обнаженного тела. Великие мастера (а величайшим из всех Матвеев считал Микеланджело) умели «оживлять» мрамор или камень, передавая в движении тела движение души. К этому стремится и Матвеев. Обнаженное тело никак не ассоциируется у него с «лю» — раздетой натурой. Он не терпит ни эротики в скульптуре, ни «академически залезавших Венер».

В скульптурах Матвеева человеческое тело может быть угловатым (так угловаты его спящие подростки), не слишком грациозным (тела работниц у него чуть тяжеловесны), но в них всегда присутствует самое удивительное чудо — чудо соразмерности, согласованности всех его частей, пропорциональности, опущение жизненной силы и весомости пластиче-

ских масс. Он добивается классической чистоты и плавности линии, умения сделать каждую из них продолжением другой, того, чтобы «одна форма входила в другую». Чуть ли не детский восторг перед великолепным механизмом движения тела проходит через его работы. Его пробуждающиеся действительно пробуждаются, встающие — встают, каждый жест исполнен жизненности.

...Коллекционер Жуковский, заказавший ему парковую скульптуру, обладал несомненным эстетическим чувством — он понял, как проникновенно воспринимал Матвеев окружающий пейзаж, как соотносил с ним создаваемые образы. Примером этому стал памятник Борисову-Мусатову в Тарусе, на берегу Оки: раскинувшийся на постаменте, еще хранящий тепло жизни, но уже почувствовавший дыхание смерти беспомощный и трогательный мальчик. Два года работал скульптор над этим памятником, собственными руками высекая его из гранита.

Он вообще не терпел помощников и все делал сам: ваял мрамор и рубил гранит, резал дерево, рассчитывал и гнул каркас, набрасывал на него глину. К каждому материалу относился почтительно, с чувством искреннего уважения. «Мрамор, — говорил он, — надо почувствовать и как-то заслужить». Скульптура была для него искусством серьезным, значительным, не допускающим мелочных ситуаций. «А стоило ли беспокоить скульптуру по такому поводу?» — спросил он одного из учеников, показавшего ему эскиз на ничтожный, почти анекдотический сюжет.

Работая над портретами, Матвеев передавал в них не только внешнее сходство, но выявлял все, что знал и думал о портретируемом. В портрете Ермоловой — воплощение строгой сдержанности и вместе с тем нравственной открытости; Кузнецова — доброты и душевной открытости миру; Пушкина — высокой творческой зрелости, поэтической сосредоточенности и мужества. Вылепил он и свой портрет, удивительное по артистичности лепки и глубине психологического анализа произведение. Автопортрет этот перерастает рамки жанра, в нем олицетворена нравственная программа художника, утверждение самоотверженности, бескорыстия и чистоты в искусстве.

Эти же самые качества подчеркивает в портрете Матвеева (исполненном в 1912 году) и Кузнецов, избравший скульптора на фоне созданных им произведений. Нет, не в единокоросте с мрамором и даже не в рабочем костюме, просто он будто зашел на минутку в мастерскую, присел и задумался, пристально, внимательно вглядываясь в его лицо. Кузнецов утверждает человеческую стойкость как этическую основу, без которой невозможно творчество.

В сущности, портрет этот рассказывает не только о Матвееве, но и о самом Кузнецове: говоря о своем друге, он одновременно говорил и о себе. Для обоих искусство было не только эстетическим, но и нравственным понятным, оба служили ему, не считая ни сил, ни времени, не обольщались успехом и не отступали перед неудачами, не знали ни компромиссов, ни сделок с совестью.

Именно благодаря этому их произведения и оказывают такое сильное эмоциональное и эстетическое воздействие. Именно поэтому на выставке, посвященной столетию художников, собралось так много молодежи: картины Кузнецова и скульптуры Матвеева оказались для них не историей, но живой жизнью искусства, сочетающего в себе правду и красоту, высокое понимание творчества и взволнованную человеческую совесть.



## СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ

☆☆☆

Здесь от могилы братской до могилы  
Попкилометра, километр от силы.  
А у высот они идут подряд.  
Здесь раньше срока люди умирали.  
Вдоль этих мест теперь проходит ралли,  
И кто-то бродит в поисках олят.  
И сколько там кукушка ни кукует,  
Их поколению скоро срок минует.  
И есть предел у долгих вдовьих мук.  
И поросли окопы лебедюю.  
Брат горевал над давнею бедою.  
Горюет сын... Сумел бы это внук...

☆☆☆

Скелет кита на берегу Анголы  
Заметный, белый, высохший, тяжелый.  
А мимо проплывают корабли.  
Взлетает водяная пыль прибоя,  
И небо океана роковое  
Вновь осеняет кроткий лик земли.  
А на рыбацком ветреном погосте  
Негленные в земле хранятся кости.  
Над ними крылья черные крестов.  
А океан крошит тела и души.  
След смерти сохраняется на суше,  
А в океане нет ее следов.  
Фрегаты окликают берег голый.  
Скелет кита на берегу Анголы,  
Как чья-то нестареющая весть.  
И морякам, красивым и беспечным,  
Он знать дает напоминаем вечным:  
Пусть нет следов, но смерть в пучине есть!

☆☆☆

Нам было некуда идти,  
а время было без пяти  
то ли двенадцать, то ли три — давно светало.  
Хоть ночи белые прошли,  
но тополя не отцвели,  
и зепень скверов белым пухом заметало.

Мы потеряли с миром связь  
и были счастливы, смеясь,  
идя по сумрачным проспектам Ленинграда.  
Ах, счастье, видимо, смешно.  
И все же было нам оно  
дано недолго. Ну а дольше разве надо!



ПОГОВОРИМ  
О  
ПРОЧИТАННОМ

ВЛАДИМИР  
ОГНЕВ

## ПОЭМЫ ЮСТИНАСА МАРЦИНКЯВИЧЮСА



**В** издательстве «Советский писатель» издана «Книга поэм» Юстинаса Марцинкявичюса. В нее вошли «Поэма начала» (перевод Б. Слуцкого), «Поэма огня», «Нотозипт» и «Поэма Прометея» (в переводе А. Межпирова). До этого они печатались в журналах, но, собранные под одной обложкой, эти произведения приобрели некое новое качество. С разных сторон высветили образ Человека, его судьбы в XX веке. Как говорится в издательской аннотации к «Поэме Прометея» (но эта характеристика относится в равной мере и к другим поэмам сборника), пафос здесь — утверждение «общечеловеческих идеалов свободы и справедливости».

В «Поэме начала» эта идея опирается на корешные начала жизни — «мы, живые... объединены хлебом», ведь «хлеба не надо больше, чем его действительно надо». Это философия труда, противостоящая философии войны. «Хлебинный нож», «ценнейшая из семейных реликвий», «философ утвари, поэт посуды» противопоставлен мечу, рвавшему нить жизни от времени Трон до «девятого круга дантова ада — Освенцима и Хиросимы». Мир будет таким, каким будем мы, «разделившие» с ними хлеб и слова о правде хлеба и эле меча.

Или мы передадим и дальше эстафету кровавой истории и мир охватит пламя, сжигающее жизнь на всей земле?.. Высохшие русла рек, лесной пожар, желтая засуха, библейские пророчества конца мира, туманные воспоминания далекого детства, где мать крестит огонь в очаге, а весною мирно гремит гроза, и снова мирный хлеб на столе, который созывает соседей и прохожих... Но недолг мирный вечер у очага — из него вырвалось пламя, выросло до неба, и слова стоит человек у древнего камня с вещим изображением: светило и змея. Такова лирическая логика сюжета в «Поэме огня». Когда-то Томас Элиот написал поэму «Бесплодная земля». Образ бесплодной земли дает и Марцинкявичюс. Но выводы Элиота глобально пессимистичны: он оставляет челове-

ство без выхода. Литовский поэт видит надежду в единении людей: «И мы держались, конвульсивно сжав, до боли стиснув сцепленные руки...»

Третья поэма, как говорит об этом и само название, — о человеке, его сути, его высоком призвании на земле. Как и в прежней, возникает здесь образ распластавшейся над человеком черной птицы — символа тревоги, зла, рока. Теперь в ней узнаем мы многим знакомый образ одной из символических картин Чюрлениса. Ребенок же, доверчиво янущий руки к песту, — не будущее ли наше, не боящееся судьбы, готовое на все испытания, — Будущее человечества и Человека?..

Книгу закономерно венчает «Поэма Прометея». Когда-то Гёте вложил в уста Прометея гордые слова: «Здесь я творю людей по своему подобию, род, на меня похожий. Пусть страдают, пусть плачут, пусть знают радость и наслаждение...» Он говорит как бог, немного свысока, этот «олимпиец» Прометей, созданный по образу и подобию самого веймарского гения. У Марцинкявичюса более «равные», демократичные отношения с героями, ведь его герой — «горный пастух», а пастуху негоже, не с руки одарять других, таких же, как он, смертных испытаниями судьбы. Но переключка с Гёте здесь в других строках: «Я верю, что недаром выпал мне нелегкий мой, благословенный жребий... что другие в свой черед пойдут за мной».

Марцинкявичюс вольно обращается с мифами Древней Греции. Но разве дело в точном следовании мифу? Уже в прологе автор дает понять нам условность приема «снижения»: дочери Океана репетируют греческий «хор», старик ворчит, поправляя их, а дальше слуги Зевса чистят до блеска стрелы, словно медные пуговицы, Зевс, робея перед разгневанной Герой, уличенный во лжи и попытке прелюбодеяния, выставляет «алиби» — «я был в отъезде», и даже невидимые Мойры не решаются оспорить «насилие», то есть ведут себя не как «хозяйки всех судеб», а как робкие заседатели в провинциальном суде. Но это «снижение» высокого тона, желание опустить на землю богов, спустить с катушек героев только приближает к нам универсальные по природе своей конфликты, заставляет читателя почувствовать, как свои, боль и муку Прометея и пагубнее, почти воочию ощутить механизм неправой Власти в лице не такого уж и божественного Зевса. Суд Зевса лицемерен, приговор заранее предрешен. Зевс приглашает публику, чтоб «вместе разобрататься», хотя тут же заявляет «попранное» «божественной неоспоримой воли». Чего ж тут «разбираться», когда вина «неоспорима!» «Приручьенье» огня, как всякое открытие гения, сначала отвергается Зевсом, затем же, убедившись в конкретной пользе огня Власть «разрешает» и это новаторство, причем делается попытка «приручить» и Прометея. Когда же это не удается, Зевс велит казнить гения, но руками толпы, уверяя потом робких и слабых исполнителей коварного замысла своего, что именно они, массы, «добровольно» отказались от огня и осудили Прометея. Брат приковывает брата — повторяется библейская притча, да не одна — об Иуде, о Канве. Земледелец приковал не только Прометея — себя самого приковывает он к рабству и вечному страху «лишиться хлеба». Гефест убежал, не приковав до конца героя, убежал с проклятиями и пастух, но они сделали свое дело — предали не только Прометея — веру свою в человека вообще. Пастух берет молот из рук земледельца потому, что не может простить Прометею того озарения правдой, которое лишь на минуту сделало его человеком...

Только прекрасная Ио — символ нравственной стойкости — согласна терпеть любые муки — она не

продается, как и свободный дух Прометея. Поэт соединил судьбы Добра, Истины и Любви как надежду мира. Неподвижно прикованный к скале или вечно бегущий под ударами бичей — у них ведь одна дорога: к будущему свету.

Прометей верит в людей, в их прозрение. Главное, что им необходимо, — освободиться от рабства. Перестать поклоняться идолам и богам. Жрецы в поэме апеллируют к богам, а хор — к человеку. Люди должны соединиться в своем прозрении, ибо боги — порождение страха, они вовсе не всесильны, какими их создала фантазия людей. «Сильные мира» уповают именно на невежество, раскол, вражду, зависть, эгоизм, возвышение одних за счет других.

...В ремарке говорится: «В середине сцены — обломок скалы, похожий на трон». Прометей, прикованный цепью к скале, вознесен памятью многих и многих поколений, памятью человечества на самый высокий «трон». Имя его остается символом неколебимой верности долгу человека — нести счастье людям. Даже если люди не готовы принять этот дар сегодня. Жертва Прометея — это путь к звездам.

Книга поэм Юстинаса Марцинявичюса подобна симфонии. В ней есть свои «темы» — ребенка, хлеба, огня, черной птицы, свой лейтмотив. Вот почему, уже в новом обрамлении прочувствованного, возвращаешься к музыкальному мотиву «Поэмы начала», к словам о будущем космосе:

Хорошо, что однажды ты его уже видел.  
Теперь будет полегче.  
Надо только как следует подумать,  
припомнить, что в нем было всего важнее...

между восприятием науки и искусства, какова, если так можно выразиться, механика познания прекрасного, того самого прекрасного, которое постигается, как говорили еще древние, шестым чувством.

Автор справедливо пишет: «Невозможность описать словами пластическое произведение искусства — тотальная трагедия искусствоведов. Ведь человек для того и берется за кисть или скрипку, чтобы сказать то, что другим способом сказать невозможно». Как и невозможно полноценно описать словами игру актера и спектакль в целом. Более того, любая репродукция, копия картины и скульптуры, как и самая старательная имитация игры замечательного исполнителя, может служить лишь напоминанием об оригинале для тех, кто его видел, и некоторым представлением о нем для тех, кто оригинала не видел.

В сочинениях об искусстве чаще, чем в каких-либо других книгах, звучит доктринерство полужнаек. Человек, у которого за душой ровно столько, сколько он высказывает, всегда безапелляционнее, потому что свое ограниченное знание он ощущает как конечную истину. Сила книги С. Образцова в том, что за ней — огромный жизненный опыт, десятилетия мучительных раздумий об искусстве большого мастера, создателя современного театра кукол. Он объездил весь мир, — за малыми и скрупулезно оговоренными исключениями, все, о чем он пишет, было увидено им вочию. Он учился живописи в знаменитом ВХУТЕМАСе эпохи гражданской войны, был актером, участником этапных спектаклей Московского Художественного театра, и поэтому его рассуждения конкретны, щедры и ненавязчивы. Не считая свои взгляды бесспорными, он приглашает к раздумью читателя.

Он пишет: «Каждый должен встречаться с искусством самостоятельно. И если у кого-то не произошла встреча с Пастернаком, Прокофьевым или Модильяни, не огорчайтесь и не жалейте этого человека. Все равно и на его жизненном пути придется огромное количество встреч с искусством, и больших, и маленьких. Не волнуйтесь, если даже кто-нибудь скажет вам, что искусством он совсем не интересуется, за дело это занятие не считает и уверен, что в наш «атомный век», когда чудеса науки возникают на каждом шагу, говорить о значении искусства просто смешно. Оставьте в покое этого человека. Дайте ему погордиться своей мнимой оригинальностью. В конце концов это ведь тоже искусство. Податься ему некуда. Все равно он, как и все люди, заражен и завоеван искусством. Искусство вне и внутри нас. Искусство — одна из форм восприятия действительности».

Однако не только воспитательную или, если угодно, утилитарную задачу ставит себе автор. Он идет значительно дальше в своем утверждении искусства. Он пишет: «Но «понимать» искусство — этого совсем недостаточно. Это иногда даже оскорбительно. Искусство надо ощущать, а для этого ассоциации должны быть эмоциональными, абсолютными. В искусстве только со справкой из энциклопедического словаря или цитатой из учебника не проищнешь. Оно гордое».

И вот С. Образцов, свободно и доверительно беседуя со своими читателями, старается определить искусство высокое или, иначе говоря, пусть и пришедшее к нам из тьмы веков, но живое и полнокровное, обязательное в своем воздействии на нашего современника, и искусство, по выражению автора, «ваходящееся в анестезии», поскольку оно говорит на языке образов и ощущений, уже непонятных нам. И тем драгоценнее в этой книге страницы, где, помимо извечного опыта, накопленного человечеством, раскрывается искусство, рождавшееся на глазах автора в те



**Н**овая книга С. Образцова называется «Эстафета искусств». В обращении к читателям автор пишет: «Вот и получилось у меня, что лучше всего поймешь каждый вид искусства в отдельности, если будешь думать обо всем искусстве в целом». В этой фразе — зерно этой особенной и такой обаятельной книги, ибо она призвана помочь читателю выработать общий подход ко всякому искусству, а точнее, открыть в себе способность глубже воспринимать и живопись, и музыку, и театр, и кино, и архитектуру, и телевидение. Автор находит простые и ясные слова для того, чтобы сделать понятным для каждого, где лежит водораздел

ураганные годы, когда хорошо было все, что непохоже на искусство прошлого, где блестящие искания Мейерхольда жили рядом с театром Станиславского и Немировича-Давченко, и взаимно обогащались, казалось бы, полярные и взаимоисключающие явления.

При всей широте художественных вкусов есть явления, к которым С. Образцов непримирим. Он отвергает посягательство классического балета на воплощение большой литературы, которая здесь лишается главной своей силы — слова.

Но, может быть, и всякое перенесение великого литературного произведения на сцену или на экран заранее сопряжено с потерями. Думаю, что только гениальный исполнитель, ставший ровень с гением автора, может возместить эти потери.

Однако это уже невольный отклик на призыв автора поспорить с ним, а следовательно, еще одно признание силы и актуальности книги С. Образцова.

СВЕТЛАНА  
МАГИДСОН

РОЗЫ

И КРОВЬ



Среди книг — лауреатов всесоюзного конкурса на лучшее художественное оформление и полиграфическое воплощение — поэтический дневник узника Маутхаузена Эйжена Вевериса «Сажайте розы в проклятую землю!» («Советский писатель», 1977, перевод с латышского Гр. Горского).

Есть книги, несущие читателю прямоту смысла, есть книги, дарующие радость общения с бывалым человеком, есть книги, раскрывающие красоту человеческой души. В произведении Эйжена Вевериса все эти качества предстают в единстве. Все, о чем написал бывший узник Маутхаузена, было! Это — поэтическое обобщение, своего рода увеличительное стекло, смело поставленное автором перед самим собой — бывшим узником одного из самых страшных фашистских лагерей смерти.

Поэтический дневник Эйжена Вевериса оформлен художником Д. С. Бисти. Большого формата книга, на кроваво-красвой обложке которой черными буквами выведено имя автора и розовыми буквами — название «Сажайте розы в проклятую землю!». Довольно скрупулезными средствами художник добывается огромной выразительности: шиши на кустах роз прочитываются как колючая проволока лагерных заграждений. А колючки на бетонных столбах кажутся паншинами роз, черных роз...

...Я познакомилась с ним в Риге, и, хотя встреча была недолгой, мне запомнилось: высокая, худощавая фигура, голова, запрокинутая вверх, пристальный взгляд, словно прожигающий душу. Он был молчалив и больше слушал собеседника, хотя ему-то было что сказать!..

Он родился в 1899 году в Риге, в семье потомственного рабочего. В семнадцать лет встал в ряды красных латышских стрелков знаменитой Двенадцатой армии, с которой участвовал в легендарных сражениях на Рижских болотах, дрался на подступах к Риге в 1919 году.

Он застенчиво признавался, что самой большой его любовью в жизни были дети; но прежде чем окочить педагогический институт, ему пришлось работать слесарем, рабочим лесопилки, грузчиком, торфодобытчиком, электромонтером, репортером в газете...

Получив диплом учителя, он уехал в далекий рыбацкий поселок Латвии. Там не просто в положенное время учил ребят языку и литературе, но и помогал им постигать мир, природу, все прекрасное. Он открывал детям смысл многих природных явлений: утром они вместе слушали песни жаворонка, а вечером читали книгу звездного неба. Учитель говорил им: «Свой смысл у всех явлений!..»

Он читал ученикам строки Ранниси, строки Древних латышских песен-дайн, стихи Пушкина, Гёте, Шекспира. Какая это была школа воспитания чувств!

...Великую Отечественную войну он встретил в Малельском районном центре Валки на посту инспектора народного образования. Будучи нашим связным, он должен был остаться в рабочем строю до конца. Предательский донос в гестапо сразил его: не потому, что ему предстояло умереть, — в предателе узнал он бывшего ученика. Страшно умирать дважды!

Да, в жизнь народного учителя вошла трагедия: его расстреливали несколько раз. Палач-предатель, усмехаясь, говорил: «Хочешь легко умереть?! Не выйдет, народный учитель... Завтра повторим все сначала».

По совершенной случайности после очередного «расстрела» конвойный загнал его не в камеру смертников, которых ждала неминуемая гибель, а в общую арестантскую. Назавтра его уже отправили в Саласпилс. А затем новый круг ада — Штуттгоф. Завершил этот круг Маутхаузен.

Самое страшное, что испытал учитель за лагерной проволокой, — невозможность оградить от смерти детей.

И через много лет, вспоминая об этом, он гневно сжимал кулаки и глотал слезы:

На меня глядят  
Две пары милых глаз ребячьих.  
Как давно не смотрел я на звезды.  
Моих заскорузлых ладоней касаются  
Легкие нежные пальцы ребенка.  
Как давно надо мной не падал  
С вишен снег аспестков,  
Вокруг весь день не смолкает щебет,  
Как давно я не слышал воробушка.  
Их звали Карелом и Боженой,  
И они ждали  
Своей очереди...  
В газовую камеру...

Эйжен Веверис встал в ряды «Интернационального Сопротивления». Узники Маутхаузена не сдавались. Рядом с Эйженом Веверисом были и легендарный генерал Карбышев и отважный разведчик Лев Маиевич-Старостин. Они — узники Маутхаузена — руководили «Интернациональным Сопротивлением».

Немногие из узников дожили до пятого мая

1945 года — дня освобождения Маутхаузена. Но среди живых, к счастью, был Эйжен Веверис.

Он свято верил, что поэтическое слово может освещать сотнями граней и действовать горячо и сильно на разум и воображение. Вот почему свои воспоминания он облек в строки стихов. Путь к единственной его книге оказался длинной в целую жизнь.

Книга Эйжева Вевериса глубоко интернациональна: она призывает всех борцов за мир объединиться в своих усилиях против новой войны. В этой книге слышится голос самой земли:

«Люди! Зажгите факел над всем, что свято! Люди! Сажайте розы в мевя, проклятую!»

Перед нами — кविга-исповедь, в ней голоса тысяч, миллионов погибших. Они, именно они, завещали автору свои думы, свои чаяния: «Доживи, расскажи!» Так слово поэта перерастает в слово судьи, слово очевидца — в слово обвинителя! Вот почему поэтический дневник узника Маутхаузена воспринимается вами сегодня как документ самой истории.



**П**ять лет — от первой публикации в «Авроре»... И вот две книги: «Голубой Остров», 1976 г., и «Четыре исповеди», 1978 г. Обе вышли в Москве, в издательстве «Советский писатель». В прозе А. Кима много экзотик: Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Тихий океан. Но суть отнюдь не в этом...

«Соловьиное эхо»... Герой повести немецкий коммерсант и философ Отто Мейснер, думающий о родстве всех живых, о прекращающемся потоке жизни, идет на берег Амура, чтобы... поговорить со своими златовласыми, не родившимися еще внуками. Он излечивает умирающую кореянку, которая становится его женой. Среди убогой, беспросветной жизни корейской деревушки начала века, накануне первой мировой войны, юному рыжеволосому Мейснеру видятся иные, счастливые времена. Но он трагически погибает... Писатель прерывает повесть звуками и звукомит вас с внуком Мейснера, художником, который пытается разобраться в далекой жизни своего деда. Словно опасаясь, что читатель вачвет «читать сюжет», А. Ким тут же досказывает, чем все кончится, что будет дальше.

Аватолный Ким «сочет» не пишет. Его интересует нечто другое (хотя и у него сюжеты имеются).

Какая тайная сила дает толчок Васе Чекину из повести «Поклон одуванчику», чтобы он вдруг понял, что каждый человек в душе — поэт, только раскрыться может не всегда? И вот Чекин придумывает путь, как каждому прийти к поэзии. Ему кажется,

что источник поэзии рядом и неиссякаем, он — в стучащем сердце. Огрызком карандаша Чекин записывает:

«Есть песня,  
которую дано тебе спеть,  
как право цветенья дано  
деревьям и травам весной.  
Спой эту песню!»

И пусть Чекин разочаровывается в своих стихах, пусть сжигает в кочегарке вороха листов и тетрадей, исписанных стихами, пусть убеждается, что рукописи все-таки горят, остается в нем главное — вера в человеческую доброту. В глубине души он по-прежнему верит, что настанет время, когда все будет причастны к поэзии и сосед будет приходить к соседу только затем, чтобы почитать свои стихи.

Главное для А. Кима — жизнь человеческой души, ее боли и радости. Рассказ «Шиповник Мёко»... Умирает молодая и красивая Мёко от неслучайности, так и не дождавшись возвращения любимого Ри Гичена. Но, словно памятуя о доброй и верной душе, дает звонкие, огненные ягоды шиповник, посаженный на ее могиле. В рассказе «Месь» Суингу размышляет о том, что торжество всей доброты человека видно только тогда, когда он закончит жизнь. Месь зародилась в начале века в заброшенной корейской деревушке. Суингу, живущий в наше время, по обычаю, должен исполнить ее. Он, мечтавший стать поэтом, уже не может думать о творчестве, ибо месь опустошила его душу. Так писатель подводит черту под давно известным, но всегда актуальным — гений и злодейство несовместны.

Большое искусство всегда радостно, говорил Максимилиан Волошин. Пусть жизненный материал, воплощенный в произведении, будет трагичен, но сама художественная ткань его, сама позиция автора содержат жизнеутверждающую ковещию. В прозе А. Кима дыхание радости и добра чувствуется в самых трагических ситуациях. Мы входим в мир, на который А. Ким смотрит глазами поэта. Не потому ли он сталкивает поэзию и прозу, начав рисовать эпитическую картину, забывает о ней, давая право выговориться в длинном монологе герою, а затем перехватывает этот монолог и уже от автора договаривает то, что хотел сказать герой, но с последним авторским словом напыляет новая картина, звучат иные голоса, и каждый голос стремится опередить другой, будто пламя бежит по веткам. Мир людей представляется писателю роem самодвижущихся факелов. И из этого композиционного, звукового и цветового разнообразия неотвратимо рождается иная логичность, присущая настоящему художнику, нудущему неповторимым путем, когда внутренняя свобода позволяет петь свою песню. Конечно, А. Кима могут упрекнуть в некой декларативности его мовологов, в композиционной усложненности. Но этот упрек не должен заслонять главного — страстного желания писателя найти свой способ выражения современного мироощущения.

Повести «Соловьиное эхо», «Собрателя трав» в особенно «Луковое поле» — о сложных нравственных и духовных исканиях людей, об их неудовлетворенности и стремлении к добру и согласию. Ибо, когда есть самоуспокоенность, стремиться некуда. Пусть внешняя сторона жизни, по словам Мейснера из «Соловьиного эха», всего лишь строчка в общей книге человечества, но жизнь души каждого отдельного человека больше, чем книга. Об этом щедром богатстве А. Ким никогда не забывает, открывая в своих героях родство «самодвижущихся душ».

Порою по первым строкам книги можно судить, стоит ли читать ее. Действует внутренний импульс,

передающийся через знаки от писателя к читателю. Достаточно прочитать первую строчку повести «Луковое поле»: «Человек, назвавший себя Павлом, стал сторожить луковое поле», — чтобы не отрываясь идти через многие страницы, через размышления и молчания героев, перипетии событий... Неужели нужно было пройти самые тяжкие испытания, какие-то неведомые миру личные трагедии, чтобы потянуться к музыке и поэзии? Эти вопросы мучат А. Кима, и он по-своему дает на них ответ в этой повести. Исследуя степень падения человека — спивающегося, безвольного, но не глупого Павла, А. Ким спрашивает, почему он стал таким. Ведь он мог жить счастливой жизнью, ведь и у него есть душа, правда, затерявшаяся, как зверек в храме, ведь он еще молод, он может обрести в себе жизненные силы. Но Павел плывет по морю жизни без цели... Однако цель появилась, когда рядом с ним встал человек, когда Павел понял, что за жизнь нужно бороться, верить в себя и в доброту людей... И по прочтении «Лукового поля» — повести мажорной и полнотональной — мы вместе с А. Кимом верим в нравственный «запас» человека, в стремление писателя во что бы то ни стало преобразить его заблудшую душу.

У каждого есть своя мечта, свой голубой остров, к которому он плывет, как плывут к нему герои А. Кима. Повесть «Собиратели трав» полна жизненности, широты и фантазии. Врачевать нужно не только тело, но и душу. Герои этой повести, заброшенные судьбою на песчаную косу, вдающуюся в океан, по воле писателя обретают первоначальную сущность — я есть. Быть может, об этом продумал всю жизнь простак, безграмотный, но счастливый старик До Хок-ро? И уже не странной покажется нам беседа безвестного русского врача с ним, когда, обращаясь к спящему старику, он скажет, что над землей скопилось огромное количество энергии, и, когда умирает хороший человек, энергия эта увеличивается, и она никогда не иссякнет...

Судьбы людей, как сюжеты книг, повторимы. Ритм души, ее боли и радости загадочны и неповторимы. Можно исчерпать сюжеты, но неисчерпаемы души людей. Поэтому, казалось бы, после «все сказанного» писателя появляется новый и говорит свое, а за ним еще и еще. В прозе А. Кима, где исповедуются герои, открывая нам сокровенное своих помыслов, отсутствует чопорная стыдливость чувств, страх оказаться непонятыми. В его творчестве, конечно, можно обнаружить параллели с творчеством таких, к примеру, разных писателей, как Платонов и Акутагава. Но «известное» у А. Кима преломляется сквозь призму личного жизненного и художественного опыта. В этом смысле его творчество зиждется на классических литературных традициях — пристальном внимании к человеческой личности, к духовному развитию человечества.

Анатолий Ким убеждает силой правдивого искусства. Произведения А. Кима всею плотью связаны с современностью — перед читателем проходит обширная галерея лиц: рабочие, студенты, колхозники, рыбаки, солдаты... — люди сегодняшнего дня нашей страны. Писатель через будни выходит на широкий простор общечеловеческого, что всегда волновало, волнует и будет волновать людей.



**ВЛАДИМИР  
ВИНОГРАДСКИЙ**



### Днепрогэс

Я знал... Но все равно, как в сказке,  
вдруг встала предо мной вся картина  
среди солнца, снега, льда—  
В морозной бахrome— великая плотина,  
И в черных кружевах—  
неспящая вода.  
Я знал... Но все равно  
вдруг сердце потеплело,  
Припомнив возраст твой,  
упрямый Днепрогэс,  
Великая звезда немеркнущего дела,  
Волшебный вечный мост  
таких земных чудес!

☆☆☆

Сняв туманных сумерек завесу,  
Синяя днепровская волна  
Ластится, навек умирощена  
Золотой гребенкой Днепрогэса.

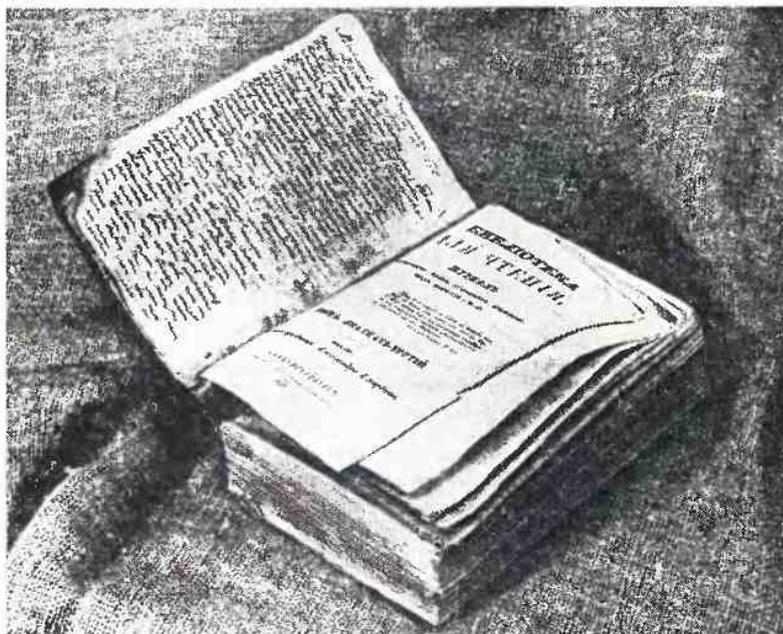
К чудесам привыкли мы сегодня.  
Но, мой друг, внимательней взгляди,  
Как горят на еликах новогодних  
Светлые днепровские огни!..

☆☆☆

Как всегда, на мостовых сплетенья  
Листья с липы упадут, светя.  
Встанет солнце в Лейпциге осеннем,  
Купол русской церкви золота.

Строили в честь пламенного духа  
Русских войск кутузовских времен.  
Служит в церкви русская старуха,  
Православных ждет со всех сторон.

О России долго говорили...  
От волнения куталась в платок.  
А потом на память подарили  
Ей альбом про Звездный городок.



АЛЕКСЕЙ ПЬАНОВ

# «И БЫЛ СЕЙ ДЕНЬ ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ...»

Неизвестное письмо  
А. С. Пушкина



Э то письмо великого русского поэта было написано им 146 лет назад в Петербурге и отправлено в тверское село Молодино. В строках и за строками дружеского послания — увлекательная история. Чтобы узнать ее, совершим небольшое путешествие «пушкинской дорогой».

Отправимся из Москвы по Ленинградскому шоссе. Минуем Калинин, въедем в Торжок и здесь свернем влево. Одолев еще четырнадцать километров, окажемся мы на берегу живописной речки Жалепки, в селе Грузины, где в прошлом веке было имение Полторацких. Перейдем арочный мост, сложенный из гигантских валунов, войдем в приусадебный парк и забудем на время, что нынче год 1979-й...

«Усадьба поражала своей громадностью. Дом... по масштабам и отделке мог бы называться дворцом. Кроме огромной с хорами залы и знаменитой внизу галереи, в его трех этажах и двух смежных флигелях было до 120 комнат. Все хозяйственные постройки соответствовали главному дому. Конный двор вмещал до 250 лошадей. Скотный двор из жженого кирпича, как и конный, с черепичной крышей, отличной старинной выделки, вмещал в себе до 600 штук рогатого скота, крупного, независимо от отдельных помещений для мелкого. В таких же размещались риги, оранжереи, грунты, мастерские и проч. Церковь во имя Грузинской божьей матери напоминала скорее собор; крестьянские даже избы и те построены вдоль большой Старицкой дороги из жженого кирпича и с черепичными крышами. Кроме того, там находился еще каменный винокуренный завод... Наконец, в довершение полноты усадьбы, перед господским домом сад с роскошными цветниками, а за ним парк на 25 десятинах земли с рекой, прудами, островами, мостиками, беседками, статуями и бесчисленными затеями».

А. С. Пушкин. Автопортрет 1836 г.  
Журнал «Библиотека для чтения» с копией пушкинского письма.

Эти описания, принадлежащие перу В. А. Полторацкого, дополняют воспоминания Анны Керн (до замужества Полторацкая). Маленькой девочкой Аня приехала в Грузины — имение своей бабушки Агафоклеи. «Жила она в Тверской губернии, в селе Грузинах, в величественном замке, построенном Растрелли. Он стоял на возвышении. Перед ним лужайка, речка, у ворот роскошной усадьбы остановилась коляска. Из нее вышел Пушкин».

Сто пятьдесят лет назад, мартовским днем 1829 года, у ворот роскошной усадьбы остановилась коляска. Из нее вышел Пушкин.

Он спешил в Москву, но в Торжке, нарушив предписанный подорожной маршрут, вдруг «своротил направо». Вероятно, для того, чтобы встретиться с кем-то из Полторацких, в семье которых у него было достаточно знакомых. Самый близкий из них — Сергей Дмитриевич. Поэт высоко ценит этого одаренного и мужественного человека — литератора, журналиста, библиографа.

Однако мы не знаем, удалось ли им встретиться в Грузинах. Да и не это важно сейчас. Для нас интересна другая встреча.

В те дни у Полторацких гостил их знакомый — учитель Мологинской школы Алексей Алексеевич Раменский...

Прервем наше путешествие, чтобы поближе познакомиться с Раменскими, ибо дальнейший рассказ связан с ними.

Корень этого рода уходит в XV век, когда на Русь был приглашен для исправления древних книг болгарин Андриан Раменски, получивший образование в Греции и Риме. В 1478 году он открыл в Москве, на Никольской улице, школу, где затем учительствовали его дети, внуки и правнуки. В XVIII веке родовым гнездом Раменских стало тверское село Мологино. Семейная хроника повествует об этом так:

«Село Мологино — древнее, торговое, дороги на Новгород, Ржев, Торжок, Москву. Раменские живут здесь без малого лет двести. По преданиям и книгам старинным, первым учителем в Мологине был Алексий. Как говорят, из болгар... Первоначально фамилия Раменских была Раменски... Учился Алексий в Москве с Радищевым. В семье Раменских хранилась реликвия — табель-календарь на 1762 г. с пометками Радищева. В 1763 г. А. Раменский выехал из Москвы с одним тверским помещиком в домашние учителя, да Тверь в тот год выгорела, и уехал Алексий под Старицу в Мологино, где открыл школу цифирную. Народ ее содержал, мужики торговые. Лет пятьдесят учил Алексий грамоте, народ его очень уважал и подарил ему пустошь — она и сейчас называется Раменки...»

После смерти Алексия стал работать его сын, Алексей Алексеевич, который до Мологина работал под Торжком, в Берпове, Ржеве и других местах. Человек он был образованный, начитанный, собрал библиотеку и был знаком со многими писателями того времени. Знаком он был и был в особенно хороших отношениях с Карамзиным, который в то время писал русскую историю. Ал. Ал. был у него корреспондентом. Он собирал для Карамзина материалы по Тверской губернии. Он объездил все монастыри Ржева, Старицы, Зубцова, Торжка, где хранились старинные книги и рукописи, изучал их и готовил материал для Карамзина, с которым был в переписке. В благодарность за это Карамзин подарил ему в 1821 году первое собрание своих сочинений...

Через Карамзина Ал. Ал. познакомился с... Пушкиным...

Знакомство это продолжилось осенью 1828 года,

когда поэт гостил у Вульфов в Малюшиках и встретился с Алексеем Алексеевичем. Семейное предание Раменских гласит о том, что от него услышал Пушкин легенду о печальной судьбе дочери берповского мельника. Обманутая князем, она бросилась в омут на реке Тьме и стала русалкой.

«Пушкин просил показать то место, где это произошло... Ал. Ал. повел Пушкина в дикий лес, где стояла старинная деревянная мельница, уже гнилая и поросшая мхом. Там никто не жил, и омут, а кругом ни души, темный лес только... Пушкину очень понравилось это место и легенда о русалке...»

Много лет спустя в окрестностях Берпова гостил художник Исаак Левитан. Он запечатлел вдохновившие Пушкина места на картине «У омутов».

Мы упомянули семейную «Хронку» Раменских. Эта рукописная книга, архив и библиотека, хранившиеся в Мологине, имеют прямое отношение к нашему рассказу.

В 1934 году по инициативе Комиссариата просвещения РСФСР была создана специальная комиссия Ржевского краеведческого музея для обследования мологинского собрания. Она работала четыре года и составила аннотированный перечень документов, хранившихся в семье тверских просветителей. Приведем несколько выдержек из этого своеобразного каталога.

«Документальными источниками по истории семьи, с которыми детально ознакомилась комиссия, являются:

а) различные архивные документы начиная с XV века, количество которых определяется в несколько сот листов;

б) библиотека, насчитывающая до 5 тысяч томов и состоящая из рукописных книг XV, XVI, XVII веков, старопечатных книг XVII—XVIII веков и журналов XVIII—XIX веков. Многие книги имеют авторские автографы, а также записи о принадлежности указанных книг и сведения об их владельцах;

в) большое количество различных воспоминаний, среди которых... воспоминания Алексия Раменского о Радищеве, его сыновей Алексея и Александра о Пушкине, Гоголе, Лажечникове, художниках первой половины XIX века...

г) громадную ценность представляют письма к разным Раменским, количество которых (писем) достигает десяти тысяч... Письмо от Болотова, А. Радищева, Попугаева, Карамзина, Е. А. Карамзиной, сенатора Козадавлева, Муравьевых, Вульфов, Степняка-Кравчинского, Паниных, Тимирязева, Попова, Жуковского...

е) исключительный интерес представляет рукописная книга-дневник, большого формата, в которую Раменские записывали не только семейные события, но и политические новости в стране, сведения об урожае, погоде, стихийных бедствиях. Книга заведена в январе 1775 года и состоит из двух частей. Первая часть с 1775 по 1818 год, вторая часть с 1818 года по настоящее время. Книга эта называется «Хронка» и является живой историей семьи и России. В ней — записи о приездах в Мологино многих людей — Радищева, Карамзина, Пушкина..., Левитана, Кипренского, Венецианова..., Дениса Давыдова, Сеславина...»

Интересным было собрание Раменских. И тем больше оснований сожалеть о его печальной судьбе: архив и библиотека почти полностью погибли в годы минувшей войны в селе, занятом фашистами. Среди того малого, что удалось спасти, что чудом сохранилось, — и материалы комиссии Наркомпроса, отрывки из которых приводились выше.

Традиции фамилии продолжают. Нынешним гла-

вой семьи является Антонин Аркадьевич Раменский — историк, инвалид Отечественной войны, персональный пенсионер, живущий в Москве, прямой представитель пятнадцатого поколения этой династии. Благодаря ему в недавнем прошлом сделаны интересные находки, которые помогли уточнить историю создания некоторых произведений Пушкина...

А сейчас, после затянувшегося, но необходимого для нашего рассказа отступления, вернемся в село Грузины, где, как вы помните, вот уже несколько дней гостит поэт. Вместе с Алексеем Раменским побывал он в Бернове, Мологине, Старце, Ржеве, Конопадине. Однако Пушкину пора покидать милые его сердцу края — дела зовут в Москву. Прощаясь, дарит он Раменскому томик взятый с собой в дорогу романа Вальтера Скотта «Айвенго». На одном из них делает дарственную надпись, набрасывает четверостишие из раннего варианта «Русалки»:

Как счастлив я, когда могу покинуть  
Докучный шум столицы и двора  
И убежать в пустынные дубравы,  
На берега сих молчаливых вод.

Затем пишет: «Грузино. 1829».

И это не единственные пушкинские автографы на страницах «Айвенго» (в старом переводе — «Иванго»). Здесь — написанные ранее, вероятно, в дороге, и зачеркнутые им самим строки десятка, впоследствии уничтоженной автором главы романа «Евгений Онегин», рисунок виселицы с телами казненных.

Пушкин уезжает из Грузин, а томик «Айвенго» занимают почетное место на полках мологинской библиотеки Раменских.

Проходит четыре года. Радостных, трудных, наполненных делами и заботами. Завершен «Евгений Онегин», написаны «Повести Белкина»... Поэта занимают другие планы, главное в которых — Емельян Пугачев и Петр Великий.

Подтверждение одному из исторических замыслов Пушкина находим в письме к А. Н. Мордвинову — управляющему III отделением, ближайшему помощнику Бенкендорфа. Мордвинову было поручено осуществлять надзор за поэтом. Приведем фрагмент письма от 30 июля 1833 года:

«В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую...

Может быть, государю угодно знать, какую имею книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии».

Этому письму предшествовало обращение поэта к царю через Бенкендорфа на предмет «высочайшего дозволения» совершить поездку в названные места. Пушкин писал шефу жандармов:

«Генерал,

Обстоятельства принуждают меня вскоре уехать на 2—3 месяца в мое нижегородское имение — мне хотелось бы воспользоваться этим и съездить в Оренбург и Казань, которых я еще не видел. Прошу его величество позволить мне ознакомиться с архивами этих двух губерний».

Разрешение было получено. Пушкин собирается в дальнюю дорогу, в те места, где гуляла в прошлом веке крестьянская вольница.

Его торопит «роман, коего большая часть дейст-

вия происходит в Оренбурге и Казани...» — «Капитанская дочка». Дальнейшая работа требовала знакомства с документами, живых впечатлений, от встреч с участниками и свидетелями пугачевского восстания.

Часть материалов у Пушкина была: «Случай доставил в мои руки некоторые важные бумаги, касающиеся Пугачева (собственные письма Екатерины, Бибикова, Румянцева, Павина, Державина и других)», — пишет он И. И. Дмитриеву весной 1833 года. Несколько позже это «собрание» пополнилось: член-корреспондент Петербургской академии Г. И. Спасский передал поэту рукопись академика Рычкова, бывшего в Оренбурге во время осады города войсками Пугачева. Но основные материалы Пушкин надеялся собрать во время поездки. Много интересного в этом плане обещало и Мологине.

Незадолго до отъезда (вероятно, в самом конце июля) он пишет Алексею Раменскому то самое письмо, ради которого мы с вами и отправились в Мологину, на берега речки Итомли.

К великому сожалению, подлинник пушкинского письма не сохранился, и нам ничего определенного не известно о его судьбе. Поэтому возможны лишь предположения: автограф или погиб вместе с другими документами в Мологине, или затерялся. Не исключено, что владельцы подарили его кому-то из тверских друзей поэта, среди которых были Полторацкий, Вульф, Оленины, Понафидимы... Но не будем гадать. Обратимся к тому, чем мы располагаем, — к копии письма А. С. Пушкина.

Копия эта необычна: она сделана на шмуцтителе 23-го тома журнала «Библиотека для чтения» за 1837 год и хранится в Москве, в архиве А. А. Раменского.

Кто же и когда переписал подлинник?

Около 1834 года (точная дата неизвестна) умер адресат и владелец письма — Алексей Раменский. Архив и библиотека перешли к его младшему брату Александру. В год трагической гибели поэта он сделал копии с некоторых наиболее ценных документов семейного архива, имеющих отношение к Пушкину (одни такой список сохранился, в нем точно указана дата — 1837 год). Для чего делались копии? В семье Раменских существовала традиция переписать (дублировать для сохранности) самые значительные документы, дневниковые записи и другие материалы на «свободные» места книг и журналов — форзацы, титулы, шмуцтителы, спуски, копцовки. Такие копии хранятся в архиве Антонина Аркадьевича. Среди них — сведения о приезде Пушкина в Мологину (на первом томе «Истории государства Российского»), записи на книге XVIII века «Первое поучение отрока», рукописные тексты из «Хронки» (на четвертом томе Сочинений Пушкина, изданных П. В. Анненковым в 1855 году).

Видимо, с этой же целью (для сохранности) было переписано в 1837 году и письмо Пушкина.

Раменские глубоко переживали гибель поэта. В «Хронике» в эти горькие для России дни они сделали такую запись:

«С великим душевным прискорбием узнали мы о... кончине великого поэта земли русской Александра Сергеевича Пушкина... Десятого февраля была совершена заупокойная литургия по боярину Александру в церкви села Мологина, на коей присутствовали некоторые известные лица — друзья и искренние почитатели этого великого человека. Мир праху твоему — Златоуст земли Российской».

Не исключено (однако это всего лишь предположение), что именно тогда Александр Раменский — в ответ на просьбу — подарил пушкинский автограф

одному из «известных лиц». А журнал с копией остался у него, затем перешел к наследникам. В годы Великой Отечественной войны книжка «Библиотеки для чтения» находилась в Мологине и разделила печальную участь собрания Раменских. Обгорел, обуглился переплет тома. Пламя коснулось многих страниц, но почти не задело тех, где находится рукописный текст. Он прочитывается легко, за исключением нескольких мест, которые можно восстановить по смыслу.

Но, не имея подлинника, мы не вправе пока публиковать этот текст, как безусловно пушкинский. Во-первых, потому, что невозможно (по крайней мере сегодня) установить подлинность утерянного письма, во-вторых, потому что даже если список делался с автографа, переписчик мог допустить неточности. А ведь речь идет о пушкинском письме. И здесь каждое слово имеет значение, требует подтверждения абсолютной достоверности. Поэтому, как ни велико искушение привести полный текст со шмуцтитула «Библиотеки для чтения», ограничимся его пересказом.

Мы помним, что в конце лета 1833 года Пушкин собрался совершить дальнюю поездку, связанную с работой над историей восстания Пугачева. По дороге намеревался заехать в Мологину, о чем и известил Алексея Алексеевича. Поэта больше всего интересовало «сундук Карамзина», в котором хранились исторические документы, выписки из летописей, собранные А. А. Раменским для Н. М. Карамзина. Поэт рассчитывал найти в Мологине материалы, связанные с Петром I, со своей родословной, с Пугачевым, с его сподвижником — ржевским купцом Долгополовым.

В тексте упоминается некая «Берновская трагедия». Можно понять, что речь идет об одном из незаконченных произведений Пушкина, которое хорошо известно Алексею Раменскому. Работа над этим произведением была оставлена ради «исторических изысканий», увлекших поэта в последние годы.

Подробно описан маршрут предполагаемой поездки — Нижний Новгород, Казань, Сямбирск, Оренбург. Сообщается о том, что получено «высочайшее дозволение» осмотреть местные губернские архивы. Выражается благодарность Раменским за «содействия в делах Ш...».

Заканчивается текст известием о том, что Е. А. Карамзина передает Раменскому с оказией два первых тома нового издания «Истории государства Российского» и что остальные книги будет высылать Смирдин; выражается надежда на скорую встречу, если какие-либо обстоятельства не изменят планы поэта.

На этот раз задуманное удалось осуществить. Пушкин выехал из Петербурга вместе с Соболевским. Погода была ужасная: над столицей бушевал ураган. Нева угрожающе поднялась, грозя хлынуть в город. Троицкий мост «стоял дыбом». Полиция задерживала экипажи и возвращала их назад; на Царскоелесьском проспекте лежали поломанные бурей деревья.

И все-таки нашим путникам удалось выбраться из города: они переправились через реку выше и выехали на московский тракт.

20 августа, в воскресенье, обеспокоенный Пушкин писал жене из Торжка: «Что-то было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения?.. Вчера прибыли мы благополучно в Торжок, где Соболевский свирепствовал за нечистоту белья. Сегодня проснулся в 8 часов, завтракали славно, а теперь отправляюсь в сторону, в Яропо-

лец... Ямщики закладывают коляску шестерней, страдая меня грязными, проселочными дорогами».

Часом позже Пушкин выехал из Торжка. Он обещал в письме Наталье Николаевне: «Коли не утону в луже, подобно Анрепу (офицер, в припадке сумасшествия утонувший в болоте.— А. П.), буду писать тебе из Яропольца». Но очередное письмо отправил раньше — из Павловского, 21 августа:

«Ты не угадаешь, мой ангел, откуда я к тебе пишу: из Павловска (поэт неточно называет село.— А. П.); между Берновым и Малинников, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, своротя на проселочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместий и решил их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу... Завтра чем свет отправляюсь в Ярополец...»

Ранним утром Пушкин покинул гостеприимное Павловское. А вскоре его встречали в Мологине: остановка здесь была запланирована заранее и хозяева извещены.

Вот как повествует об этом событии «Хроника»: «Августа 22 дня, 1833 года во вторник утром, пожаловал в село Мологину проездом из имения П. И. Вульфа великий писатель Александр Сергеевич Пушкин.

Пробыв в Мологине несколько часов и передав брату моему, учителю Алексею Алексеевичу Раменскому письмо вдовы великого русского историографа Николая Михайловича Карамзина и дар ее — первые томы трудов покойного «История государства Российского», Александр Сергеевич отбыл из села в два часа пополудни по стариковому тракту на Погорелое Городище. И был сей день великим праздником семьи нашей».

Запись эту в год смерти поэта сделал в «Хронике» Александр Раменский.

Чем же был заполнен для поэта этот день в Мологине? Обратимся к неопубликованным воспоминаниям Н. П. Раменского.

«Приехал Александр Сергеевич в Мологину 22 августа 1833 года утром в сопровождении бурмистра Вульфов... Беседа с Александром Сергеевичем... происходила на балконе, где его угощали малиной со сливками. Во время беседы Александр Сергеевич расспрашивал Алексея Алексеевича о дружбе его отца Алексея Раменского с Александром Радищевым, о его приезде (Радищева) в Мологину... Он с интересом рассматривал книги, подаренные Радищевым учителям Раменским, и рукописную книгу «Хроника», которую вели Раменские по совету Болотова с 1775 года.

...Алексей Алексеевич предложил ему одну из выписок из летописей Ржевского монастыря, которые он делал для Н. М. Карамзина, об участии в Пугачевском восстании ржевского купца Долгополова. Эту выписку Александр Сергеевич с благодарностью взял. Пушкин переписал для себя манифест Пугачева, который был принесен Алексею Раменскому в Мологину в 1773 году каким-то беглым солдатом, да так и хранится у нас...

Далее Алексей Алексеевич сказал, что в селении Погорелое Городище до сих пор проживает старый солдат, участник восстания Пугачева. Пушкин очень заинтересовался этим солдатом и сказал, что обязательно его навестит сегодня по пути или на обратном пути из Оренбурга. И говорят, что он туда ездил потом...

При отъезде его Алексей Алексеевич попросил поэта посадить на память деревцо на развилке дороги к дому Раменских, за речкой Итомлей...

Пушкин посадил молодую березку, которая к концу XIX века стала могучей душлистой березой и

была написана на картине И. Левитана, когда он жил в деревне Затыше, неподалеку от Мологина, в 1891 году и приходил к нам».

Дописать этот августовский день помогают неопубликованные воспоминания А. Н. Раменского. Приведем несколько строк из них:

«...Пушкин ознакомился с письмами Новикова, Болотова, декабристов и другими материалами, в которых упоминалось о пугачевском восстании. Как известно, многие «крамольные» люди вели переписку через нашу семью, и, в частности, существовала переписка Пушкина с его дальней родственницей Шемiot. В этот приезд Алексей Алексеевич подарил Александру Сергеевичу Пушкину старинную кявгу, в которую было переписано предсмертное письмо Радищева Алексею Даниловичу Раменскому».

Быстро пролетели несколько часов в гостеприимном Мологине. Дорогого гостя проводили до околицы. Он обещал навестить Раменских при случае. Однако заехать в эти края ему больше уже не пришлось...

А теперь вновь обратимся к копии пушкинского письма. Внимательнее прочитаем в ее строки, попытаемся понять, что стоит за ними. Текст этот не требует особой расшифровки — в нем все достаточно ясно, за исключением нескольких мест, о которых — ниже.

Итак, Пушкин планирует побывать в Мологине. Вполне естественно, что он извещает хозяев о цели своего возможного приезда: выполнить поручение Е. А. Карамзиной — передать первые тома нового издания «Истории государства Российского» корреспонденту, помощнику и родственнику историографа — Алексею Раменскому. Но это, так сказать, попутно. Главная цель — порыться в «сундуке Карамзиной». И Пушкин перечисляет, что его интересует.

С этим «сундуком» поэт уже был знаком, когда осенью 1828 и весной 1829 года заезжал к Раменским. Именно тогда узнал он о мологинском архиве, но не имел времени ознакомиться с ним. Теперь же, четыре года спустя, собирая материалы о Пугачеве и Петре I, решил основательнее просмотреть документы Раменских...

Томики «История», привезенные Пушкиным, хранятся в библиотеке Антонина Аркадьевича. На одном из них запись:

«Сня история Государства Российского сочинения Ник. Мих. Карамзина, драгоценный дар вдовы его Екатерины Андреевны, с письмом ее учителю Алексею Алексеевичу Раменскому. Первые томы были любезно доставлены в Мологину великим князем Российским Александром Сергеевичем Пушкиным проездом из Санкт-Петербурга августа 22 дня 1833 года...»

Учитель Берновской экономии Александр Раменский июня 9 дня 1837 года, с. Мологину».

Одним из самых интересных мест копии на «Библиотеке для чтения» является упоминание о «Берновской трагедии». Произведения с таким названием у Пушкина нет. О чем же идет речь? Ответить на этот вопрос помогают воспоминания А. П. Раменского, продиктованные им своей дочери Л. В. Раменской (Алексеевой) в декабре 1924 года в Симбирске. Мы располагаем копией этих неопубликованных мемуаров. Обратимся к той их части, где речь идет о Пушкине.

«Алексей Алексеевич... (Раменский. — А. П.) встречался неоднократно с Пушкиным у Вульфов, Полторацких... Существовала переписка между ними.

Осенью 1829 года Пушкин снова посетил Старичий уезд и встретился с Алексеем Алексеевичем,

передав ему небольшого формата тетрадь с набросками и рисунками, под названием «Берновская трагедия». Это был, видимо, один из первых вариантов «Русалки»... Он просил Алексея Алексеевича внимательно просмотреть и, если будет нужно, сделать свои замечания. Впоследствии эта тетрадь осталась в Мологине и исчезла в 1918 году в Петрограде. Из сохранившейся переписки было известно, что некоторые писатели проявляли интерес к первому варианту «Русалки»...

Все, что я рассказываю о Пушкине, я знаю со слов моего деда Федора Алексеевича, который был живым свидетелем отношений Раменских с Пушкиным...»

У нас нет возможности в этой статье прокомментировать воспоминания А. П. Раменского. Скажем только, что «Берновская трагедия» может иметь отношение к драме «Русалка», одним из источников которой явилась, вероятно, легенда, рассказанная Пушкину Алексеем Раменским. Если это так, тогда повято, почему поэт упомянул в письме «Берновскую трагедию». Именно «Берновскую трагедию», а не «Русалку», ибо рукопись оставшейся незаконченной драмы заголовка не вела. «Русалкой» назвали ее издатели уже после смерти автора.

Теперь несколько слов о другом «темном месте» копии письма — благодарность за «содействие в делах Ш...». Кто же такой или такая «Ш...»?

В уже приводившихся нам воспоминаниях Раменских среди тех, с кем Пушкин переписывался через эту семью, называется Шемiot — дальняя родственница поэта. Возьмем книгу Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение», где содержатся сведения о 2500 современниках, с которыми общался поэт в течение своей жизни. На странице 471 читаем: «Шемiotы: Викентий Леонтьевич — екатеринославский вице-губернатор и гражд. губернатор (1817—1825), помещик Херсонской губ., его жена, урожденная княжна Гедройц, и три дочери. Сохранились сведения о посещении Пушкиным дома Ш. (2-я половина мая 1820, Екатеринбург)».

Предположение о том, что «Ш...» — это дальняя родственница Пушкина Шемiot (высказано С. М. Дмитриевским), основано прежде всего на мемуарах Н. П. Раменского. Однако в них привоидится лишь факт переписки Пушкина и Шемiot. Об их отношениях нам ничего не известно. О том же, что отношения существовали (с Елизаветой Викентьевной Шемiot — дочерью екатеринославского губернатора и женой вятского прокурора), говорит строка письма. Конечно, если согласиться, что «Ш...» — это Шемiot. Но мы не знаем, что стоит за фразой «содействия в делах Ш...». Правда, в материалах архива А. А. Раменского есть сведения о том, что через Шемiot Пушкин переписывался с находящимися в ссылке друзьями. Имеет ли это отношение к «темному» месту письма? Возможно. Для того же, чтобы утверждать это, необходимы более убедительные свидетельства. Но в любом случае возникают новые вопросы: с кем именно из декабристов переписывался поэт? Где искать следы этой переписки?

Вопросы, вопросы, вопросы... Их гораздо больше, чем названо здесь. Главные — какова же судьба подлинника пушкинского письма и где искать его? Каким ориентиром довериться, чтобы выйти на ту единственную дорогу, которая может одарить находкой?

Вопросы, вопросы...

Но не будем отчаиваться. Будем искать. Будем верить, что однажды хотя бы некоторые вопросительные знаки удастся заметить восклицательными.



## АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ

### Тени тундры

Во мхах и травах тундры, где подспудно  
Уходят лета быстрые секунды,  
Где валуны, как каменные тумбы,  
Где с непривычки нелегко идти,—  
Тень облака, плывущего над тундрой,  
Тень птицы, пролетающей над тундрой,  
И тень оленя, что бежит по тундре,  
Перегоняют пешего в пути.  
И если как-то раз, проснувшись утром,  
Забыв на час о зеркале и пудре,  
Ты попросиша б рассказать о тундре,  
И лист бумаги белой я нашел,—  
Тень облака, плывущего над тундрой,  
Тень птицы, пролетающей над тундрой,  
И тень оленя, что бежит по тундре,  
Изобразил бы я карандашом.  
Потом, покончив с этим трудным делом,  
Оставив место для ромашки—белым,  
Весь прочий лист закрасил бы я смело  
Зеленой краской, радостной для глаз,  
А после, выбрав кисточку потоньше  
И осторожно краску взяв на кончик,  
Я синим бы раскрасил колокольчик  
И этим бы закончил свой рассказ.  
Я повторять готов, живущий трудно,  
Что мир устроен празднично и мудро.  
Да, мир устроен празднично и мудро,  
Пока могу я видеть каждый день  
Тень облака, плывущего над тундрой,  
Тень птицы, пролетающей над тундрой,  
И тень оленя, что бежит по тундре,  
А рядом с ними—собственную тень.

### Отец

Меняет время цвет лица.  
Различны старики, и все же  
Они на моего отца  
Чуть-чуть становятся похожи.

Где их теперь ни встречу я,  
Мне в каждом видится родное,  
Так, летом разные, края  
Зима равняет белизною.

Быть может, славы и ума —  
Дороже право первородства:  
Пусть и во мне найдут с ним сходство,  
Когда придет моя зима.

☆☆☆

Прислушивается к себе поэт.  
В груди стараясь дудочку услышать,  
Глядит в окно с надеждою на крыши,  
Часы идут, а дудочки все нет.

Прислушивается к себе больной  
В ночи больничной, душной и бездонной,  
С опаскою, как город осажденный,  
К потусторонним звукам за стеной.

И женщина, сосуд живой воды,  
Несущая живот свой осторожно,  
Прислушивается к нему тревожно,  
То счастья ожидая, то беды.

А на дворе мигают фонари,  
Становится погода холоднее,  
И внешний мир смолкает и бледнеет  
Пред тем, что совершается внутри.

### Годовщина прорыва блокады

Прорыв блокады всех иных  
Дороже годовщин,  
Поминки всех моих родных —  
И женщин и мужчин.  
Там еле тлеет, как больной,  
Коптилки фитилек,  
И репродуктор надо мной  
Отсчитывает срок.  
Я становлюсь, как в давний год,  
К дневному шуму глух,  
Когда из булочной плывет  
Парного хлеба дух.  
Сказать не смею ничего  
Про эти времена,  
Нет мира детства моего —  
Тогда была война.

### Матюшкин

Лицейский первый ученик  
Князь Горчаков и гений Пушкин.  
Всех дальновиднее из них  
Был мореплаватель Матюшкин,  
Что, поручив себя волнам,  
Сумел познать все страны света,  
И жаль, что он известен нам  
Лишь как лицейский друг поэта.

Не дал он — не его вина —  
Законов мудрых для державы.  
Его в былые времена  
Не обнимал старик Державин,  
Но вне покинутой земли  
Такие видел он пейзажи,  
Каких представить не могли,  
Ни Горчаков, ни Пушкин даже.

Жил долго этот человек,  
И много видел, слава богу,  
Поскольку в свой жестокий век  
Всему он предпочел дорогу.  
И к тем же нас зовя местам,  
От всех сомнений панацея,  
Зеленый бронзовый секстан  
Пылится в комнатах Лицея.

Рисунки  
И. ОБФЕНГЕНДЕНА.

«С тарик ловил неводом рыбу... Раз он в море закинул невод, пришел невод с одною тинной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морскою. В третий раз он закинул, пришел невод с одною рыбкою...»

Здесь мы сказку оборвем. А дальше начинается быль. Рыбкато действительно золотая — золотая в том смысле, что усилия на ее добычу обходятся весьма и весьма недешево. Ведь, помимо Старика, этим делом занимались и занимаются экипажи сотен и тысяч промысловых судов, летчики разведывательной авиации, коллективы десятков научно-исследовательских институтов и т. д. и т. п.

Помните, векая дама советовала молодым хозяинкам: если к вам неожиданно нагрянули гости, не смущайтесь, спуститесь в свой погреб, достаньте кусок копченой свинины, нарежьте ее ломтиками... А ведь мы так и поступали до сих пор: «заглядывали» в океан, как в свой погреб, в свою казавшуюся неисчерпаемой кладовую и брали оттуда, брали без конца, пока ложка вдруг не застучала о дно — запасы неожиданно истощились...

Парадоксально, но очевидная истина — в кладовую надо сначала что-то положить, чтобы потом взять, — вообще-то пришла людям, живущим на земле и не связанным с морем, уже давно. лет, этак, десять — двенадцать тысяч назад.

Нашему предку, жившему у опушки леса и черпавшему оттуда пропитание себе и семье, все чаще приходилось ходить подальше, подальше бегать за зверьем, дважды и трижды посылать жену и детей за плодами. Но когда и эти меры перестали приносить желаемый результат, он сделал то, что мы называем сегодня неолитической революцией: принял за возделывание земли и разведение скота.

А вот бескрайние и бездонные просторы океана все еще казались полными запасов пищи. Правда, поскольку любителей рыбы



ИГОРЬ  
РУВИНСКИЙ

## ПРАВДА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ, ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ В ОКЕАНЕ



становилось все больше, то и им приходилось все время «бегать подальше». В результате человечество обзавелось огромными траулерами-морозильниками, оборудованными эхолотами, подводными локаторами, телеметрическими и телеуправляемыми системами, которые обеспечивают дистанционное управление траулом, и прочими чудесами современной техники лова.

Как-то мне довелось побывать на супертраулере Севастопольского производственного объединения «Атлантика». Это огромный корабль, который одновременно является и плавучим заводом по переработке рыбы. Мощностъ всех его автоматических линий — сто тысяч банок консервов в сутки. Каюты отделаны под красное дерево. Ноги ласкает мягкий ворс ковра... Ощущение совершенства настолько сильно, что трудно прийти к мысли, что с точки зрения функционального назначения все это великолепие — не что иное, как продолжение все той же пращи или острога, которой пользовался наш предок десаток тысяч лет назад. Ибо все это рассчитано на то, что принцип «заглянем в кладовую» будет торжествовать вечно.

А принцип этот уже не срабатывает. Слишком велики затраты на это великолепие и слишком мал эффект.

И хотя уловы все время растут, но в том-то и заключается парадокс, что через какой-нибудь десяток лет (уже не десяток тысяч, а просто десяток!) они сравнятся с тем количеством ресурсов, который океан способен воспроизводить естественным образом. По отдельным же видам животных мы уже подошли к кригической величине, за которой можно ожидать лишь спад численности. Об этом с тревогой писали и пишут такие видные советские ученые, как члены-корреспонденты Академии наук СССР А. Капица, П. Бунин, В. Богоров. Да, океан уже практически не может восполнять тот урон, который наносит его фауне мощный рыболовный флот десятков государств.

Так что Старик, пожалуй, поступил дальновидно, отпустив золотую рыбку в синее море, — забота о воспроизводстве рыбьего поголовья сама по себе достаточно благодарна, чтобы поступить так, даже не считывая на исключительную признательность именно данной особи морской фауны.

Собственно, сама идея искусственного воспроизводства рыбных запасов родилась, конечно, не сегодня и не вчера. Рыбоводные заводы (правда, главным образом, для речной рыбы) существуют уже многие десятилетия. Они делают весьма нужное дело, которое необходимо всячески поощрять, поддерживать, расширять. Но если мы хотим заглянуть подальше, вперед, то вся подобная деятельность предстает уже как кустарщина, как латание дыр на давно устаревшей одежде. В наш век одежду не латают: совершенствование технологии изготовления нового изделия сделало ремонт (или по крайней мере сделает это завтра) ненужной и слишком дорогостоящей затеей. Надо не латать дыры на старых методах воспроизводства живого богатства океана, а разрабатывать принципиально новые методы, новый подход к освоению продовольственных ресурсов океана, который, по расчетам советских ученых, способен дать в тысячу раз больше пищи, чем все существующие на земле сельскохозяйственные угодья.

Об этом пишут сегодня все чаще и чаще. Океан — вообще «выигрышная» тема для журналистов, литераторов. Бескрайние синие дали, белоснежные красавцы корабли, коралловые рифы, экзотические острова... Что ж, это действительно красиво. Красиво и... дорого. Но, к счастью (или — к сожалению, это зависит от точки зрения), вслед за романтиками-пернопроходцами обычно идут трезвые «деловые люди». Их задача как раз в том и состоит, чтобы освободить труд морских пахарей от «романтических» перегрузок. Слово «поиск», столь излюбленное всеми пишущими на научные темы, они заменяют скучным и прозаическим «планом оргтехмероприятий» или в лучшем случае «координационным планом работ».

Почти пять лет назад на страницах «Юности» (№ 6, 1974) уже рассказывалось о том, каким видят океан экономисты. Представители этой самой трезвой на свете профессии прикинули тогда на счетах (на арифмометре, на ЭВМ) и, как дважды два, доказали, что пора позаботиться о воспроизводстве пищевых ресурсов океана.

Рекомендация ученых — серьезное предупреждение. Что произошло за эти годы? И не пора ли уже пойти дальше — посмотреть на те же бескрайние и замаяченные голубые просторы как на еще один продовольственный цех народного хозяйства, причем цех современный, высокоавтоматизированный и в то же время тесно связанный со всеми другими производственными цехами?

Прекрасен и величествен Севастополь — город молодежи. В спокойные воды бухты по-прежнему задумчиво глядят суровые рavelины Северной стороны — немые свидетели подвигов человеческого духа в двух прославленных оборонах города-героя. По вечерам густеют сумерки в темных аллеях Приморского бульвара. При свете фонарей гускло блестит золото погонов и нашников...

А днем по бульвару то и дело торопливо пробегают стайки восторженных туристов. Поглядывая на корабли, на старые крепостные стены на противоположном берегу бухты, они почти бегом спускаются в аквариум, успевая мельком прочитать на стене здания имена Н. Н. Миклухи-Маклая и А. О. Ковалевского.

Да, это и есть знаменитая биологическая станция,

связанная с именами этих великих ученых — одно из старейших научных учреждений России, ныне Институт биологии южных морей Академии наук УССР. Здесь один из форпостов совершающейся сегодня революции в океане.

Здание устарело, стало слишком тесным, даже несмотря на то, что часть института перебралась в недавно построенный новый корпус. С трудом найдя свободную комнату, мы долго беседуем со старшим научным сотрудником института, кандидатом биологических наук Александром Викторовичем Чепурным. Он возглавляет работы по изучению и развитию аквакультуры.

Аквакультура... Вчера еще незнакомое слово все чаще мелькает сегодня в «декретах» повой революции в океане. Вчера оно попросту было бы невозможным, ибо только сейчас мы овладеваем, точнее, начинаем овладевать системным, комплексным подходом к любой повой проблеме. А аквакультура и предполагает именно такой подход: комплексное освоение всех богатств, которые может дать людям океан. Аквакультура — совсем новая сфера деятельности человека со своими, только намечающимися сегодня законами, своей линией поведения, своими традициями, своими машинами, своей технологией. Ведь человек впервые — впервые за всю свою историю — начинает по-настоящему осваивать чуждую для себя среду — водную. (Интересно, что это совпало по времени с освоением еще одной повой для него среды — космической, причем космическое направление развивается куда более интенсивно.)

Но нервемся на землю, точнее, на воду. Малоизвестное и потому романтическое слово «аквакультура» нередко соседствует с уже привычным, обыденным и теперь вполне прозаичным словом «ЭВМ». Да, разведение водорослей и морских рыб здесь сразу же пытаются «поставить на поток», на конвейер, придать всей работе, как уже говорилось, характер заводского цеха. Надо научиться выращивать рыбу так, как сегодня выращивают бронированных цыплят, — максимальная механизация всех производственных процессов от появления животного на свет и до его переработки в товарную продукцию. Словом, никакой романтики — проза и инженерный расчет.

И потому здесь и слова предпочитают попроще, попроще. Так, весь план развития аквакультуры разбивается на три этапа:

— получение жизнестойкой молодежи с наибольшим процентом выживания;

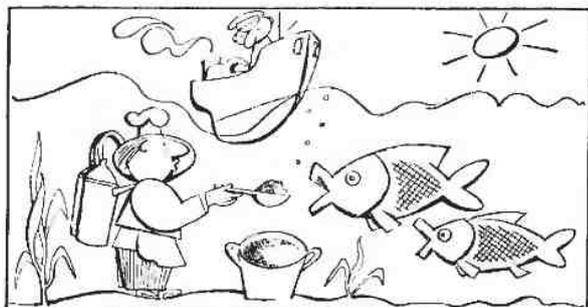
— товарное выращивание малька (в бассейнах, лагунах, заливах, лиманах и т. п.) при искусственном кормлении;

— создание полного замкнутого цикла интенсивного рыболовного хозяйства, комплексное использование рыб, морских животных, водорослей с одновременной переработкой полученной биомассы и товарную продукцию.

Александр Викторович занимается пока первым этапом, готовится ко второму и мечтает — как мечтают об этом во всем мире — о третьем. А сейчас он показывает мне бычков (да, да, те самые — «Бычки и томате»). От десяти самок этих не слишком изящных на вид рыбок получено 30 тысяч мальков. Выживаемость — сто процентов.

— Сто процентов! — повторяет Александр Викторович с нескрываемой гордостью, а я гляжу на большой открытый аквариум, где плавают самки. Небольшие, невзрачные, они глупо тычутся мордами в его стенки.

Главное детище института по координационному плану развития аквакультуры, охватывающему десятки научных учреждений страны, — акватрон. Это большой закрытый аквариум для рыб с управляемы-



ми параметрами среды. Первый образец акватрона был сооружен руками институтских умельцев без единого кусочка железа, без единого болтика — плексиглас, клей, смолы — словом, никаких материалов, противопоказанных морской среде. Температура внутри акватрона, освещаемость, содержание кислорода, щелочей, кислот, минеральных веществ, давление — все это контролируется датчиками. Настоящая — не математическая, а полнокровная, с цветом и запахом — модель микромира, где живут обитатели моря.

Однако прежде чем построить модель в натуре, создавалась именно математическая. А еще раньше — практически все свое более чем вековое существование — коллектив севастопольских ученых-биологов изучал жизнь, среду и поведение морских обитателей: какое давление «любит» испытывать камбала во время своей нергикальной миграции, какова среда и период метаморфозы нкринок кефали, как микрофлора влияет на фитопланктон — мельчайшие водоросли, а те, в свою очередь, на зоопланктон — мельчайших морских животных и т. д. Нужно было вникнуть в закономерности почти не изученных дотоле экосистем, тысячи сложнейших взаимосвязей, существующих в природе, разложить на простейшие составляющие, доступные формализованному языку современной вычислительной техники.

Так задолго до революции в океане подготавливались, накапливались силы, чтобы сегодня или не позже чем завтра разразиться новым качественным скачком в развитии производительных сил человечества. Так создавалась модель этого нового, еще малознакомого людям мира. В основу ее легли труды многих ученых института — В. А. Водяницкого (ныне покойного), Т. В. Дехянк, З. З. Финенко, А. А. Калугина, Л. И. Сажинной, Л. С. Овен и других. Модель заложил в ЭВМ — универсальный инструмент нашей эпохи — и «прокрутили». Были получены параметры среды, соответствующие оптимальным условиям жизни обитателей моря.

Здесь следует подчеркнуть, что с самого начала речь шла не о воспроизведении естественных, а о создании именно оптимальных условий существования. Например, в естественных условиях у той же камбалы выживает 0,01 процента потомства — один камбалевок на десять тысяч потенциальных братьев и сестер. В экспериментальных условиях выживаемость достигла 66 процентов! Лозунг «Назад, к природе!», получивший ныне распространение кое-где на Западе, здесь был отвергнут сразу. «Борьба» с природой столь же вредна, сколь и обожествление ее.

В перспективе управлять замкнутым микромиром, этим «кусочком» океана, заключенным в пластиковую оболочку, будут ЭВМ. Это не просто дань «моде»: только с помощью современной вычислительной техники возможно создание микромоделей океана со всеми его сложнейшими связями. Правда, первая

опытно-промышленная установка, которая уже изготавливается сегодня в Киеве по заказу севастопольцев, рассчитана не на автоматическое управление — до автоматике, как говорится, руки пока не дошли.

В то же время уже более или менее ясно очерчены контуры второго этапа развития аквакультуры. Так, например, в лиманах между Одессой и Измаилом намечено заложить на базе местного рыбзавода образцовое опытно-промышленное хозяйство на твердой научной основе. Лиманы содержат много естественного корма для кефали. Вот ее-то и собираются разводить здесь, продумав наиболее эффективную систему отлова.

Вслед за этим хозяйством предполагается создать и другие, главным образом в северо-западной части Черного моря. По некоторым прогнозам, полученным из Одесского филиала Института экономики АН УССР, рассказывал мне А. В. Чепурнов, к 2000 году рыбоводные хозяйства Черного моря должны дать 10 миллионов тонн товарной продукции.

Что же касается третьего этапа, то здесь еще нет аналогов в мировой практике. Правда, в некоторых странах достигли уже неплохих результатов по разведению рыб и беспозвоночных морских животных. В США, например, научились разводить омаров. В Японии хорошо поставлены работы по выращиванию моллюсков — устриц, мидий, а также некоторых рыб, водорослей, тех же омаров. Но все это скорее второй этап. Полный замкнутый цикл предполагает создание наиболее рациональных и прямых пищевых цепей — от выращивания водорослей и беспозвоночных, одноклеточных животных до откорма крупных обитателей моря; естественное воспроизводство всех ресурсов акватории, саморегулирование всех параметров. Таков идеальный непер развития аквакультуры.

Собственно, о чем идет речь? О том, чтобы соорудить или отгородить от океана какое-то подобие огромного бассейна, наполнить его морской водой и разводить там всякую живность, как разводят карпов в колхозном пруду? В принципе так. Но от принципиальной возможности до практического воплощения дистанция такого же размера, как от сказки о ковровом самолете до технического проекта современного реактивного воздушного лайнера. И эту дистанцию надо пройти в возможно более короткие сроки и с наименьшими потерями — лимиты времени, обусловленные сегодняшней демографической ситуацией, отпущены и обрез.

Тот же бройлерный цех — аналогия весьма и весьма приближенная. Ведь что значит огород или ферма под водой? Здесь не больно-то будешь рассчитывать на шефов, прнехавших помогать в уборке урожая. Разне что среди них найдутся члены секции аквалангистов. А если нырять, то без механизации — предельно возможной — здесь не обойтись. Скажем, выращивание на морских фермах водорослей (вероятнее всего, они будут использоваться в основном в качестве кормов с добавлением химических продуктов, как это делается сегодня на птицефабриках и животноводческих фермах) потребует создания специальных морских «сельскохозяйственных» орудий. В США, например, уже проходила испытания подводная косилка. Максимальная глубина погружения — 30 метров. Источник энергии — сжатый воздух, подаваемый с берега по шлангам. Он же транспортирует по гибкой трубе скошенные растения. Неплохо зарекомендовали себя в стронтеальстве подводных сооружений японские радиоуправляемые бульдозеры фирмы «Комацу». Создают подобные орудия и у нас в стране. Так, в Калининграде разработан комбайн для водорослей.

Все эти агрегаты отличаются от привычных нам

машин одной особенностью — управление ими дистанционное или автоматическое, с помощью специальной программы. По сути дела, эти машины и есть первые подводные роботы. Конечно, еще не столь совершенные, как в произведениях научной фантастики, посвященных людям несуществующей пока профессии — океанавтам. Сегодняшние роботы не охраняют рыбацего стада, не сражаются с гигантскими кальмарами и прочими морскими хищниками, несут ветеринарную службу среди китовой общины. Но они уже делают свои первые шаги — в буквальном и переносном смысле — по морскому дну. А это — не столь уж малое достижение для нашего новорожденного механического дитя.

Естественно, что семейство подводных роботов должно расти и развиваться. Следовательно, надо резко повысить интенсивность исследований в области робототехники. Немало и других задач. К делу создания морских ферм придется подключить помимо биологов-ихтиологов еще и технологов по переработке сырья, электронщиков, химиков, механиков, радиотелеметристов, энергетиков, гидрологов...

Впрочем, давайте остановимся и переведем дух, иначе рискуем зайти очень далеко. Примелькавшееся слово «комплекс», которого не сумели избежать и мы, не передает всей сложности проблемы освоения океана. Пожалуй, следует сначала очертить реальные границы этого понятия применительно к нашей теме.

Гриновская шхуна под алыми парусами и современное судно на подводных крыльях или на воздушной подушке не столь уж далеки друг от друга. По крайней мере функционально. Задача почти любого корабля — скользящие по воде. Что он несет на борту — груз, пассажиров, команду китобоев или оружейные башни — это с точки зрения глобальной Технологии уже детали.

Традиционное использование человечеством океана предполагало до сих пор и основном два направления: океан как транспортная артерия и океан как «кладовая пища». Корабли отвечали и тому и другому направлению.

Но вот, перешагнув какой-то невидимый критический порог, сегодняшняя программа освоения океана включает в себя уже несколько принципиально новых путей развития. В их числе:

— океан как сфера жизнедеятельности человека (плавучие города, плавучие заводы, электростанции, институты, отели);

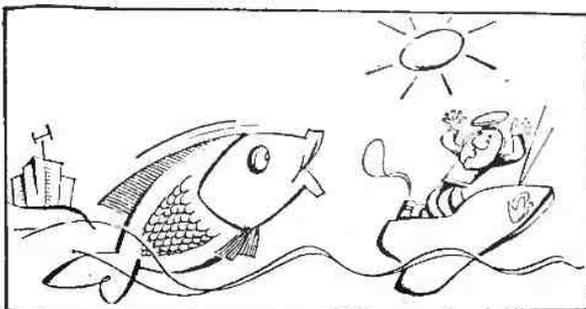
— океан как источник добычи различных минералов и редких элементов (и со дна его и непосредственно из морской воды);

— океан как налаженное, рациональное хозяйство по производству пищевых ресурсов.

И хотя мы избрали темой настоящей статьи лишь последнее направление, нельзя обойти и смежные с ним, поскольку взаимосвязаны в современной Технологии не менее сложны, чем взаимосвязи в биосфере нашей планеты.

Поэтому морскую ферму завтрашнего дня следует рассматривать лишь как малый комплекс. Но уже только размещение и проектирование таких ферм затрагивает проблему и большого комплекса — ведь во многих случаях потребуются единые транспортные и энергетические артерии, единые принципы создания подводных механизмов, единая система контроля за работой подводных технических сооружений и т. д.

Первыми на исследовании всех этих комплексных проблем, на освоение «голубой целины» ринулись, как это им и полагается, фантасты. Впрочем, они шли не совсем по целине — скорее, по следу, проложенному в свое время великим Жюлем Верном, его «Наутилусом» и стальным плавучим островом Стандарт-Айлендом.



Среди современных известных фантастов, одинаково легко «осваивающих» как космос, так и океан, следует назвать в первую очередь Артура Кларка. Яркий поклонник «братьев наших меньших», в частности дельфинов, писатель отводит им большую роль в освоении человеком продовольственных ресурсов океана.

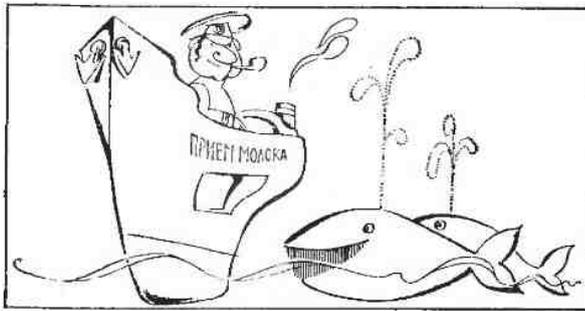
В далекие времена неолита к очагу человека пришла дикая собака и осталась у него, чтобы стать верным другом и помощником. Что же необычного в том, что пастушечьи функции овчарок возьмут на себя в морской стихии дельфины? Именно с их помощью в романе «Большая глубина» пасут громадные стада китов современные потомки лихих ковбоев Дальнего Запада — мужественные, отважные люди, кочующие по океану и легким и хрупким подводным суденышкам.

А. Кларк еще двадцать лет назад нарисовал довольно впечатляющую картину «всемирной системы китоводства». От этих морских гигантов, разводимых в океане, как на огромном естественном пастбище, люди научатся со временем, считает он, получать не только мясо, но и молоко, выдаивая самок на специальных плавучих фермах-гайкерах.

По сравнению с А. Кларком советский фантаст Сергей Павлов, автор повести «Океанавты», «технократ». Люди, осваивающие богатства океана, окружены у него роботами — самыми совершенными, от андроинов — добытчиков минеральных ископаемых до биороботов — рыб для подводных прогулок «верхом».

Впрочем, если мифу о ковче-самолете пришлось до своего воплощения ждать многие сотни лет, то дистанция между современными мифами и их реализацией в ходе научно-технического прогресса измеряется уже десятками лет, а то и просто годами. При этом проекты нередко по своей фантастичности не уступают, пожалуй, даже прославленному Стандарт-Айленду. Например, английский архитектор Д. Дженлику предлагает построить в Северном море — правда, не плавучий, а на сваях — город с населением в 30 тысяч человек. Расстояние от берега — 15 миль. Город будет представлять собой 16-этажный амфитеатр, построенный из готовых блоков. Основной источник энергии — газ, добываемый с морского месторождения. С его помощью производится также опреснение морской воды для нужд населения. Благодаря S-образной форме искусственного острова в его внутренних лагунах будет всегда царить штиль — именно там разместятся фермы по выращиванию гидробионтов (обитателей моря). Такой город мыслится как центр океанографической науки.

Другой проект, инженера Р. Дернаха, предлагает весьма остроумную идею: заморозить отдельные участки океана и на этих искусственных ледяных полях строить города, располагая вокруг них рыбодовные



фермы. Энергию для этого, полагает автор проекта, дадут атомные электростанции.

Кстати сказать, планы создания АЭС на плавающих и стационарных искусственных островах рассматриваются сегодня вполне серьезно. В США еще в 1972 году начато строительство завода по изготовлению оборудования для них.

Вообще таких проектов множество. Все они исходят из того, что человечеству становится все более тесно на суше. Так что «жизнь на волнах» — это уже не только фантазия...

Конечно, наступление на морские глубины будет постепенным. Вот вполне реалистический прогноз члена-корреспондента Академии наук СССР А. Каплицы: во второй половине 80-х годов начнется широкое освоение шельфа — материковых отмелей, где глубина не превышает двухсот метров. Заметьте, что и здесь речь идет о комплексе: добыча со дна моря рудных ископаемых (меди, марганца, кобальта, никеля) сочетается с разведением рыбы и белковых водорослей.

Но по мере того, как человек станет осваивать разные «этажи» океана, ему не избежать — независимо от того, приручит ли он дельфинов или обзаведется совершенными роботами — приобретения каких-то новых качеств, необходимых для жизни и работы на большой глубине. Сейчас, по определению академика Л. Брековских, эта глубина составляет примерно 100 метров. Однако, полагает ученый, уже «в начале третьего тысячелетия человек освоит глубины вплоть до 1000 метров, а может быть, и более».

Каким образом? В научно-фантастической повести «Океанавты» рассказывается о людях-«гидрокомби-стах», специально тренированных и обученных для жизни под водой. Чтобы выйти в океан на большой глубине, они после приема каких-то специальных препаратов облачаются в костюм, пропускающий внутрь кислорода, но не позволяющий ему выйти наружу. Мало того, материал этого костюма как бы прорастает и тело, соединяясь с кровеносными сосудами, что дает возможность людям вдыхать кислород прямо через тело, как это делают рыбы с помощью жабр.

Фантастика и здесь ненамного опережает действительность. Разумеется, не точно такая же, но весьма похожая оболочка для океанавтов создана в Японии. Точнее говоря, это «всего-навсего» скафандр, миниатюрная герметически закрытая камера с батарейками из пластиком силикона, извлекающих из воды кислород и преобразующих его в газообразное состояние. Первые опыты показали, что в таком костюме можно находиться под водой пять часов.

Будет ли и дальше дело обстоять так же «просто»? Вряд ли. Жизнь в непривычной среде не может не сказаться на психике человека. Автор «Океанавтов» пытается передать те ощущения, которые испытывает человек-амфибия, томо акватикус:

«В воде я не совсем человек. Вернее, не просто че-

ловек — у меня много общего с рыбой. И не только оттого, что я дышу жабрами, пользуюсь плавниками. Всегда, когда я в воде и один, в тайниках моего подсознания просыпается что-то чужое и смутное. Пожалуй, это можно назвать пробуждением древних, очень древних, незнакомых людям инстинктов... полу-стертых, стлаженных на гонимом круге миллионов лет эволюции. Невозможно четко и связно рассказать об этих своих ощущениях. Это все равно что пытаться проникнуть в область ощущения амебы, претерпевающей процесс очередного деления. Крайняя простота — и необычайная сложность, примитив — и талантливо...»

...Уходя в океан, океанавт рвет пуловину, соединяющую его с материнской сушей, и чем дальше от берега и чем глубже идет погружение, тем очевиднее этот разрыв».

А вот, кстати, уже не фантаст, а серьезный, известный всему миру ученый Жак Ив Кусто тоже полагает, что в начале третьего тысячелетия сформируются новые люди, приспособленные к жизни под водой. Это будет достигнуто, по его мнению, с помощью хирургии: человека снабдят миниатюрными легочными сердечными аппаратами, вводящими кислород непосредственно в кровь и удаляющими из нее углекислый газ. При этом легкие и все полости костей будут заполняться нейтральной несжимаемой жидкостью, а нервные дыхательные центры будут заторможены. Экспериментальная стадия работ в этом направлении, предполагает Ж. И. Кусто, будет достигнута уже к концу нашего века. «Человек-амфибия завтрашнего дня сможет плавать и работать на глубине по крайней мере 1500 метров».

Оправдается ли этот довольно рискованный прогноз — покажет время. Пока ясно одно: впереди еще годы и годы повстанье титанических усилий, которые потребуются, чтобы подчинить себе чуждую стихию океана, чтобы полностью почувствовать себя «как рыба в воде».

Пытаясь избежать одной крайности, я невольно впал в другую, ополчившись против стереотипа «морской романтики», незаметно для себя поддавшись очарованию заманчивых картин далекого будущего. А что же делается сейчас? Что можно увидеть в сегодняшнем Севастополе?

Трудно писать прозу. Еще труднее это делать в таком городе, как Севастополь, — городе, овеянном и громкой славой защитника и загадочной дымкой григорьевского толка — старинные парусники, бульварные мостовые узеньких окраинных улочек, уютные, увялые виноградом дворники...

Где-то, вот на такой же, наверное, улочке, снимались полтора-два десятка лет назад эпизоды из кинофильма «Человек-амфибия» по известной книге А. Беляева — трогательной и наивной с сегодняшней точки зрения повесть о добром волшебнике и злых людях, о трагедии гениального ученого-одиночки, опередившего свое время... Впрочем, наивность философских и социальных посылок автора не помешала научно-техническому фундаменту его повести выдерживать проверку временем. «Человек-амфибия», песенно, вдохновил и «заразил» морем и других фантастов, того же С. Павлова. Кстати сказать, сейчас, когда пишутся эти строки, тоже сравнительно недалеко от Севастополя идут съемки «Океанавтов». Вот и попробуй не поддаться магии фантастики, магии рассказа о будущем.

И все же приходится писать о настоящем, писать прозу. А заключается она в том, что в науке — по крайней мере в той, которая имеет отношение к нашей теме, — идут пока чисто количественные процес-

сы. Вот уже третий год подряд, приезжая в Севастополь, я встречаюсь с Александром Викторовичем Чегурновым, и он рассказывает мне о том новом, что произошло здесь в развитии аквакультуры: получены такие-то и такие-то данные, подготовлены такие-то документы, модернизирована первая модель акватрона, готовится оснастка для оборудования и т. д. Будни... Да, пока что нет ни рыб-биороботов, ни танкеро-ферм. Лишь копится информация, совершенствуется аппаратура, ставятся очередные эксперименты. Никаких сейсаций.

И все же сдвиг — пусть не столь уж заметный на первый взгляд — есть. Акватроном, техническую документацию которого наконец-то разработало Центральное конструкторское и проектное бюро Азчеррыбы, кажется, всерьез заинтересовались заказчики — Главки Министерства рыбного хозяйства. Даже из Запрыбы пришел запрос на чертежи. Опытно-промышленный образец, как уже говорилось (а говорить об этом надо не мимоходом, а торжественно, под звуки фанфар: ведь лед-то тронулся!), уже изготавливается и в 1979 году должен быть передан в эксплуатацию.

И это «революция в океане»? Что ж, силы этой революции пока только накапливаются. Она еще не в состоянии заменить существующий порядок вещей. Да и попробуйте вот так, сразу, свернуть с дороги машину отработанный веками технологии, преодолеть инерцию мышления.

Да, технология лова ныне мощно развернулась во всем мире. Я видел в Камышевой бухте Севастополя — этой резиденции рыбаков, промысляющих в Атлантике, — плавучие рыбоконсервные заводы. Я видел так называемые большие рыболовные траулера-морозильщики (БРМТ), борта которых возвышались над пирсом, как многоэтажные здания. Такой корабль оснащен обычно радиолокационной станцией, радиопеленгатором, гидролокатором и другими столь же сложными и дорогими современными приборами.

Стоя на пирсе, я слышал, как скрипели лебедки, выбирая тралы. И я знал, что только над совершенствованием морских канатов — ваеров, — которыми поднимают трал, работают целые институты. Доводилось бывать мне и на заводах, где из стальных нитей прядут на специальных машинах эти канаты, срок годности которых, кстати сказать, истекает после каждого промыслового рейса — через шесть месяцев. А это всего лишь только одно небольшое звено той технологической цепочки, нет, не цепочки, громадной цепи, которая поставляет нам на стол серебряный хек или банки со скумбрий.

И все это, как и многое другое, надо будет — рано или поздно — свернуть, перестроить, перенацелить на другие ценностные ориентиры. Такова задача «революции в океане».

Естественно, что молодежь будет в числе тех, кто первым осознает необходимость таких перемен. Ей же и осуществлять подъем голубой целины. Здесь потребуются люди современно мыслящие и одновременно люди действия, физически закаленные, способные и покорять стихию, и оберегать ее.

Во всем мире зреют сейчас силы, способные всколыхнуть океан почище, чем это сделала рассерженная необоснованными притязаниями Золотая рыбка. Но не надо думать, что все произойдет в один чудесный день — шторм потребует годы титанического труда. Но он уже начался и будет доведен до конца.



**БОРИС  
УКАЧИН**



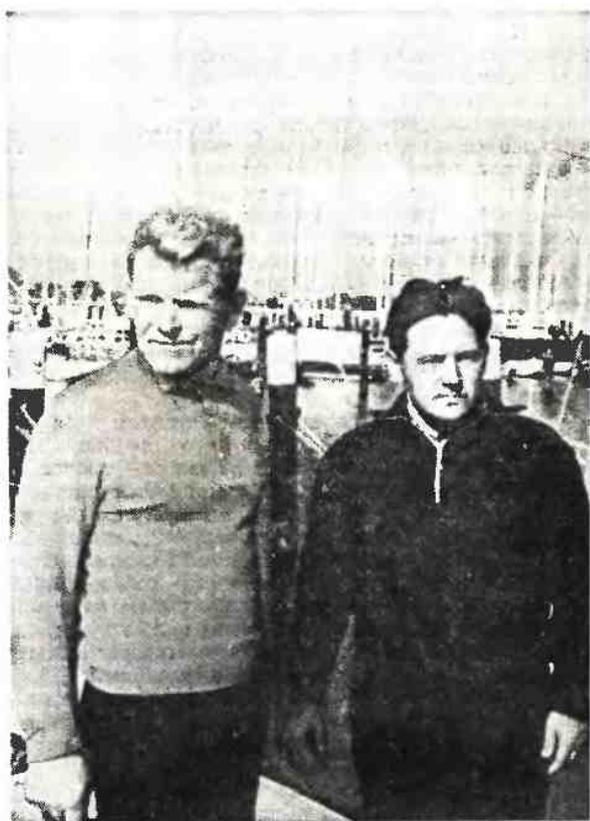
## Посещение

*К зырянам Тютчев не придет...*

А. ФЕТ

В древнюю юрту мою ко мне  
В гости пришли и Тютчев и Фет  
И сидели со мной при огне,  
Покуда не наступил рассвет.  
Не отвергали мой скромный очаг —  
Пламя его согревало их.  
Камча, кресало, седло, чепрак —  
Все интересовало их.  
Старый, в кургане найденный меч  
Медленно по рукам ходил.  
Орнамент, яркий, как мудрая речь,  
Гостей в восхищенье приводил.  
— А кто же, скажи, алтаец, твой бог! —  
Спросил меня Афанасий Фет. —  
Кому ты молишься? Я, как мог  
И как сумел, объяснил в ответ:  
— Предки молились рекам, горам,  
Большим деревьям, живому огню.  
Для них вся природа была как храм,  
И я к ней тоже любовь хранию.  
— Прекрасно, — Тютчев промолвил, тих,  
Ладонь положив на мою ладонь. —  
Живая природа — вот бог живых,  
Начало же всех начал — огонь.  
Промолвил и улыбнулся вдруг:  
— Не чудо ли происходит сейчас!  
Алтаец нас принимает как друг,  
Зыряне и чукчи знают о нас!  
— Да, этого я предвидеть не мог, —  
Сказал, смутясь, Афанасий Фет. —  
Прости меня, время: я не пророк,  
Я всего лишь только поэт!  
Над очагом поднимался дым.  
Звезды заглядывали в дымоход.  
Было, видать, интересно им  
Слушать нашей беседы ход.  
Начали туч розоветь края  
За приоткрытой дверью, вдали.  
Задумавшись, не услышал я,  
Как незаметно гости ушли.  
Когда я очнулся, в дымке дневной  
Горные голубели верхи.  
Лежала бумага предо мной,  
А на бумаге — вот эти стихи.

Перевел с алтайского  
И. ФОНЯКОВ



На снимках:

Валентин Маннин анализирует гонку. Кадр из нового фильма «Тайны белого треугольника». «Центрнаучфильм». Режиссер П. Соломенцев.

Славная яхта «Торнадо». Снимок сделан с вертолета.

Федор Шутков (слева) и Тимир Пинегни. Снимок сделан в 1967 г. в Киле.



ЮРИЙ  
ЗЕРЧАНИНОВ

## ГЛАВА ПЯТАЯ: Пинегин, Манкин...

Экипаж такой килевой яхты состоит из двух человек: рулевой и матрос (шкотовый). С 1932 года на Олимпийских регатах утвердилась яхта-двойка класса «Звездный» («Star»). Первая яхта этого класса была сконструирована американцем Уильямом Гарднером в 1911 году. Пятиконечная красная звездочка, украсившая ее белый парус («Литл Дипер» — так была названа эта яхта, которую поставили на прикол только в 1955 г.), и дала название классу. Именно в «Звездном» классе небезуспешно участвовал в гонках Джон Кеннеди, который был страстным яхтсменом. Об олимпийских гонках на яхте-двойке (в семидесятые годы класс «Звездный» заменял было в олимпийской программе классом «Темпест») и пойдет рассказ.

1952 г., Хельсинки,  
XV Олимпийские игры.  
Класс «Звездный».

1. А. Страулино (Италия).
2. Д. Прайс (США).
3. И. Фьюза (Португалия)<sup>1</sup>.

После Стокгольмской олимпиады 1912 года, на которой русский рулевой А. Вышнеградский удостоился бронзовой медали, наш парусный спорт развивался обособленно — на верфях строились яхты отнюдь не олимпийских классов. И в Хельсинки нашим парусникам предстояло гоняться на совершенно неведомых яхтах.

Что касается «Звездников», то три старые яхты, доставшиеся нам во время войны, удалось найти в Одессе и в Ленинграде. Четвертая яхта этого класса — тоже, кстати, уже устаревшая — была куплена в Англии. В начале олимпийского лета эти суда были спущены в Таллине на воду. Среди четырех признанных рулевых, с великолепной уверенностью взявших за два месяца постычь все премудрости гонок на прихотливом «Звезднике», был и 25-летний Тимир Пинегин.

Такого горожанина — да притом москвича! — не сыщешь. Пинегин любит только утреннюю Москву, когда пустынные улицы. В малознакомой компании спешит найти интересную книгу, чтобы тут же уткнуться в нее. Он никогда не ходил на танцы и сторонился многолюдных зрелищ. Уже в детстве каждый свободный час проводил на Клязьминском водо-

хранлище и в четырнадцать лет, в самый канун войны, получил звание рулевого второго класса. Яхт-клуб для него — это место, где в домашней обстановке хорошо знакомые люди заняты общим, захватывающе интересным делом. Он продолжал сторониться публичности и уже став знаменитым спортсменом...

Тогда, в Хельсинки, Пинегина взяли лишь запасным, и он наблюдал, как наши лучшие рулевые — уважаемые и авторитетные для него люди — безнадежно проигрывали во всех классах гонку за гонкой. Они давали заверения, что лишь бы ветер «работал» — тогда уж они покажут... Что ж, ветер в Финском заливе был — и ровно «работал» и менялся, — но нашим лучшим рулевым никак не удавалось проявить свое тактическое мастерство. Все семь гоночных дней Пинегин провел в море — на катере. Отбуксировывал наш «Звездник» (рулевым на нем был Александр Чумаков, а шкотовым Константин Мельгунов) к старту, а затем шел вдоль дистанции и не уставал восхищаться тем, как умело ведут яхты итальянец Страулино и американец Прайс — какую скорость они выжимают!

Гонки с пересадкой, принятые в то время у нас и стране (после каждой гонки экипажи менялись судами), формировали особый тип рулевого, который, делая ставку на тактику, на технику взятия старта, умел быстро приспособиться к любой яхте. Пинегин понял в Хельсинки, что к «Звезднику» надо приспосабливаться годами; только тщательно изучив свою яхту, зная все ее возможности, ты вправе надеяться на успех. Пинегин увидел в Хельсинки и прославленные яхты мирового «Звездного флота»: «Мероп» Страулино, «Куруш IV» кубинца де Карденаса... Тайной совершенства этих яхт владел известный американский гощик Скни Этчел, на верфи которого «Олд Гринвич» они и строились.

Да, наши остались в тени на той Олимпийской регате. Разве что Федор Шутков, ходивший матросом на яхте «Цирцея» (класс «Р-6»), вдруг обрел популярность. Был день, когда за Шутковым охотились все западные журналисты.

Пинегин рассказывает о Шуткове:

«Любой механизм для Федя не секрет — с закрытыми глазами разберет и соберет, хотя никакого образования не получил. До войны с малых лет работал в своей подмосковной деревне на тракторе, потом служил на флоте, был под Одессой, в десанте, ранен... После войны мы вместе занимались в яхт-клубе «Днямо». Стояли в Химках, а на гонки ходили на Клязьму. Был у нас такой любитель марафона, Паша Санин. Мы идём из Химок на яхтах, а Паша бежит по берегу и на Клязьме уже встречает нас. Но однажды Федя сказал ему: «Подумаешь, двадцать километров пробежать?!» Они заспорили, и Федя, который никогда этим делом не занимался, заявил, что он сколько надо, столько и пробежит. И действительно, добежал до Клязьмы раньше Паша! Днямовские марафонцы позвали Федю на прикядку — он их всех тоже обставил. Его на Всесоюзный сбор приглашали, но он не ушел из паруса. На яхте, открениваясь, Федя повиснет на одной руке, и надо час — час будет висеть, надо три — пожалуйста. Да и вообще может работать без ограничения времени».

Что же случилось в Хельсинки? В двойной из гонок, в восьмибалльный ветер, на «Цирцее» сломалась красница. Это распорка такая высоко на мачте для троса, который ее крепит. Самое благоразумное решение в такой ситуации — бросать гонку и идти домой. «Цирцея» к тому же не претендовала уже на хорошее место. Но матросу Шуткову стало обидно: «Что же мы приехали на Олимпиаду — гоняться или

<sup>1</sup> Здесь названы, как принято у парусников, лишь рулевые трех первых яхт, но олимпийская медаль, естественно, вручается и матросу.

идти домой?» Он прикинул: до сломанной красницы было метров одиннадцать...

«Я взял с собой швабру,— рассказывает Шутков,— веревку взял и полез на мачту. А волна тебя бьет, отрывает от этой мачты. Сразу, как влез, чтобы не улететь, привязал себя к мачте веревкой. Целый курс, от знака до знака, работал и заменил шваброй — палка была длинная — ту половину красницы, которая отлетела. Слез, когда надо было уже в лавировку идти. Вернулся в гавань, а ко мне — журналисты. Американцы показывают — лезь снова на мачту, а мы фотографию будем делать. Я им: «Нет». И сказал по-русски, что мне это надо, как... Поняли, стали тогда просить чтобы я сел в «беседку», а они сами, вручную, меня фалом на мачту поднимут. В «беседку» я сел... Были у меня газеты, где фотография эта, да раздал».

1956 г., Мельбурн,  
XVI Олимпийские игры,  
Класс «Звездный».

1. Г. Уильямс (США).
2. А. Страулино (Италия).
3. Д. Ноулз (Багамские острова).

**В**скоре после Олимпиады в Хельсинки Тимир Пинегин стоворился с Федором Шутковым, и они начали вместе гоняться на «Звезднике». Так возник экипаж (идеально совмещаясь на яхте, на берегу каждый из них продолжал держаться своей командой), у которого долгие годы в стране не будет равных соперников.

«Варяг», их первая яхта, была построена Галлианской верфью по всем правилам «Звездного» класса — Пинегин в те годы чуть не переселился в Таллинн, — но тех совершенных очертаний, которые отличали «Мероп» Страулино, корпус ее не имел. Все яхты «Звездного» класса — монолиты. Они строятся по единому чертежу, и наружные даже одного из размеров грозят тем, что главный меритель класса, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, не утвердит мерительное свидетельство и яхта не будет допущена к соревнованиям. «Варяг» получил такое свидетельство, но это была тихоходная яхта.

Тем не менее Пинегин выигрывал, встречаясь с финнами и со шведами. Выигрывал, создавая запас прочности при взятии старта и на лавировке, ибо на полных курсах «Варяг» совсем не глассировал. Первые успехи Пинегина, хотя его соперники и не были самыми знаменитыми гонщиками, выглядели столь впечатляюще, что ближе к Мельбурнской Олимпиаде ему была заказана яхта на верфи «Олд Гринвич» и комплект дакроновых парусов чикагской фирмы «Морфи энд Най»! Сейчас подобный заказ выглядит как нечто совершенно естественное, но в те годы...

«Близился день,— рассказывает Пинегин,— когда мы должны были уходить на «Грузин» из Одессы в Мельбурн, а американского «Звездника» не было — где-то застрял в пути. Что было делать? Эстонский гонщик Энн Метсаар отдал мне свою новенькую яхту «Туллинда», которая, как мне казалось, была быстрее, чем «Варяг». Эту яхту и поднял на борт «Грузин». Мы ушли из Одессы 3 октября, а в тот же день в Ленинград пришло норвежское грузовое судно, в трюме которого находился мой новенький «Олд Гринвич»...

В Мельбурне мы не поехали в Олимпийскую деревню, а остались жить на «Грузин». Сходили с корабля на причал, садились в автобус и выходили уже на яхтенном причале. Австралию видели из окна автобуса.

В первый же день я убедился, что «Звездника» с таким корпусом, как у нашей «Туллинда», ни у ко-

го больше не было. Эгел, владелец «Олд Гринвича», еще в сорок восьмом году нашел, оказывается, лазейку в правилах, которая позволяла ему, оставаясь в классе, изменить форму корпуса — сделать яхту глассирующей. Эта находка и обеспечила успех «Олд Гринвича». Галлианская же верфь продолжала строить яхты по старым чертежам...

Американские дакроновые паруса, прибывшие с новой яхтой в Ленинград, нам переслать успели. Но что это могло изменить? На верхнем знаке мы бывали за счет лавировки и первыми и вторыми, однако гонка длинная... У меня были очень ровные результаты — почти все гонки заканчивал седьмым или восьмым. Вперед приходили асы, с которыми невозможно было бороться ходом. В австралийском заливе Порт-Филипп гонялся шесть чемпионов и экс-чемпионов мира в Европе! Общим восьмым местом я, конечно, доволен не был. Не мог простить себе прежде всего, что пропустил вперед англичанина, который имел отличную яхту, но как гонщик особенно не впечатлял. Но мы не были и обескуражены — знали, что дома стоит современная яхта.

Победил в Мельбурне опытный американец Герберт Уильямс. Он рассказывал, что, готовясь к гонкам в Порт-Финше, говорил своему матросу Лари Лоу: «Ты должен прибавить пятнадцать фунтов, а я на себя беру двадцать». Нарацивали они не сало, естественно. И в ветреную погоду на океанской волне большой вес давал американцам преимущество. Ведь когда ветер давит на парус, мы открываем яхту своим весом. Вес важен не только на лавировке, но и на полном курсе, где вы своим весом «подрываете» яхту на глассирование.

Нашим соседом по причалу, с которым мы с Федой сразу же подружались, был танландский принц Бирабонгзе. Худенький принц Бра и его матрос выглядели на борту яхты, как две мухи. Но даже Страулино и его матрос Роде — люди нормального «звездного» веса — уступали массивным американцам, когда по-настоящему дуло. Я весил лишь во семьдесят пять килограммов, Федя чуть больше, но у нас был свой секрет открывания (я о нем расскажу еще), и если бы яхта была другая... Хотя сейчас, оценивая события издалека, думаю, что, получи мы «Торнадо» — так я назвал свой «Олд Гринвич» — даже за полгода до Игр, нам не хватило бы этого времени, чтобы познать яхту полностью и уже в Мельбурне претендовать на победу.

А Федор Шутков по этому поводу сказал мне так: «Мы два раза, когда очень здорово дуло, так уходили от американцев, что их даже вес не спасал. Дали бы нам их лодку (без сленга Шутков не обходится: яхту, к примеру, он называет только лодкой.— Ю. З.), еще неизвестно, кто бы был чемпионом. У нас даже сосалки (насоса.— Ю. З.) на лодке не было. Чумичку, которой кок суп разливают, я насыпал на большую палку, и мы с черпаком этим, которым все Балтийское море перечерпали, и в Австралию заявились».

1960 г., Неаполь,  
XVII Олимпийские игры,  
Класс «Звездный».

1. Т. Пинегин (СССР).
2. М. Кина (Португалия).
3. У. Паркс (США).

**Я**хта «Торнадо», зарегистрированная в официальном регистре «Звездного» класса под № 3802 (под первым номером в регистре — «Литл Дипер»), была сделана из американской ели (спрус). 22 июня 1957 года, в день летнего солнцестояния, Пинегин и Шутков впервые спустили «Торнадо» на воду — это было в

Таллинском заливе — и едва легли на полный курс, яхта стремительно набрала ход — никогда прежде под парусами ни тот, ни другой не испытывали подобного ощущения скорости.

Летом пятьдесят девятого года (впервые после Мельбурна) они получили наконец возможность встретиться с сильнейшими зарубежными яхтсменами — вылетели в Касабланку на чемпионат Европы и Северной Африки в классе «Звездный». А «Торнадо» вместе с другим нашим «Звездником» — экипажа Бориса Митрохина — была погружена на испанское судно, которое... пришло в Касабланку, когда соревнования уже завершались — по пути, в Малаге, моряки загуляли то ли на карнавале, то ли на фестивале.

«Мы ждали у моря погоды, — рассказывает Пинегин, — пока за дело не взялся местный страховщик морских перевозок француз Серж Тай, который и обнаружил наши яхты в этой Малаге. В детстве Серж жил в России... Так вот, в Касабланке мы вновь оказались у разбитого корыта. «Торнадо» тогда в самом соку была, а мы с Федей ставили паруса — паруса у нас с собой были — на старую марокканскую яхту, которую Серж нашел для нас.

Я шкоты добрал, как следует, и проржавевшие болты штаговой оковки лопнули... Хозяин яхты принес несколько ящиков инструмента, и мы с Федей взялись — клепаем, завинчиваем. Серж говорит хозяину яхты: «Ты должен платить им за капитальный ремонт». Мы уже и не думали о том, чтобы испытать свои силы в борьбе со Страулино — он победит и на этот раз и станет девятикратным чемпионом Европы! — а стремились хоть как-то поучаствовать в соревнованиях. Лишь бы на берегу не сидеть.

В первой же гонке мы славировались отлично и на первый знак вышли первыми, но наша яхта не глассировала и к нижнему знаку нас достал и поглотил... Да, заняли мы девятое место, но слетали в Марокко не зря. Я увидел у португальца Фьюза новейшую модель парусов: и по раскрою и по материалу. Это был уже супердакрон — тканый материал, прокатанный под горячим прессом. Гладкий, абсолютно непродуваемый парус не изменял своей формы и в сильный ветер. Создал эту модель американец Лоулз Норт — самый головастый среди современных яхтсменов. Блестящий инженер-аэродинамик. Его фирма по производству парусов затрачивает на исследования до миллиона долларов в год. А начинал он с нуля — был просто талантливым гонщиком. Возвратившись в Москву, я сказал что на Олимпийской регате в Неаполе без парусов Норта делать нечего.

В Касабланке же я решил, что хватит нам удивлять мир Фединым черпаком. Все настоящие гонщики пользовались насосами португальца Дуарте Белло. Я был знаком с ним еще с Мельбурна, где Белло входил в ту недостижимую для меня шестерку. Я сказал ему в Касабланке, что хотел бы купить насос. У него не оказалось лишнего, и сразу после последней гонки Белло снял мне насос со своей яхты.

В марте шестидесятого года мы гонялись — уже на «Торнадо!» — в Генуе. Был очень приличный состав — вся Европа была. Генуэзская регата обычно суровая. Ветер достигал девяти баллов. Были и такие номера: пятьдесят семь «Звездников» стартуют, а до финиша доходят лишь четверо.

Агостино Страулино в те годы считался непревзойденным специалистом по сильным ветрам. В слабый ветер он еще мог проиграть, но в сильный — никогда и никому. Тем более в родных водах. И как раз в сильный ветер в жесткой борьбе со Страулино — другие были на полголовы ниже — мы выигра-



«В горах было снежно, спокойно»  
(Пинегин в альплагере «Алибек»  
после Олимпийской регаты в Неаполе)

ли в Генуе две гонки. Обо мне заговорили, как о гонщике в сильный ветер: «Если в Неаполе дует, то тогда у русских...» Но это уже говорилось с усмешкой, потому что в июле — августе в Неаполе сильных ветров не ждут».

«Торнадо» везли в Неаполь в корабельном трюме, а в соседнем трюме обитали наши олимпийские лошади. На палубе маялся Федор Шутков, который, побоявшись расстаться с яхтой, взялся сопровождать ее. В Неаполе, дожидаясь Пинегина, он потяхонку шкурнул, полировал «Торнадо». Корпус яхты Шутков полирует так, что захочешь побриться — вот тебе зеркало. Шутков гладил любовно новую мачту из спруса — ту запасную, которую все эти годы они берегли для Неаполя. Теперь эту мачту украсят голубые супердакронные паруса, под которыми они гонялись уже в Севастополе, на предолимпийском чемпионате страны, и уходил от всех, как хотел».

«По ходу яхты, по всему я чувствовал, — рассказывает Пинегин, — что мы идем вровень со Страулино. Великий Страулино был силен в Неаполе, как никогда, — это был его родной город, его залы, все ветры и течения которого он знал с детства. Главными соперниками Страулино считались американец Уильям Паркс, багамец Дьюард Ноулз, португалец Марио Кина... Обо мне продолжали говорить лишь как о гонщике сильного ветра, и я всячески укреплял это мнение: и беседуя с журналистами и на воде, прикидываясь с некоторыми будущими соперниками. Я хотел, чтобы в первых гонках меня не принимали всерьез. Хотел иметь свободу маневра».

Как рассказать об олимпийском триумфе Пинегина

на? Сам он, анализируя гонку, обратится к сугубо парусному языку: «Мы увалились... привелись... галфила... крутой бедевенда...» Будет рисовать схемы для пояснения. Я стремился до сих пор, помня о размерах журнальной публикации, не углубляться особенно во всяческие парусные премудрости. Поэтому и сейчас ограничусь лишь описанием нескольких психологических ситуаций.

Когда Пинегин и Шутков выиграли начальную гонку — на первой лавировке им действительно никто не мешал, — это сочли случайностью. Но после второй гонки, в которой перед ними финишировал лишь багамец Ноулз, к ним стала всерьез присматриваться...

«В третьей гонке, — рассказывает Пинегин, — португалец Кина пытался меня прихватить. Проверял, как мы будем действовать при плотной опеке. И понял, что тут и сам можешь крупно обжечься. Если против тебя новичок, то можешь играть с ним, как кошка с мышкой. А тут Кина увидел, что — он-ей-ей! Пятьдесят на пятьдесят...»

В третьей гонке, удачно использовав изменение ветра, Пинегин вновь финишировал первым (чувство ветра — одно из главных достоинств рулевого Пинегина). От перевозбуждения он лишился сна, и Шутков отсыпался теперь за двоих. Дни по-прежнему стояли жаркие, солнечные, и по-прежнему надо было постоянно искать ветер.

В ожидании старта четвертой гонки Кина стал открывено искать инцидента с нашей яхтой, но, едва Пинегин ушел от португальца, его стал преследовать Ноулз. Избавляясь от Ноулза, Пинегин оказался в таком положении, что начал гонку позже других. В дальнейшем, однако, он отделился от основной группы яхт и нашел все-таки самый короткий путь к финишу.

Перед днями отдыха — в Неаполе яхтсмены отдыхали три дня — Пинегин и Шутков уверенно захватили лидерство. В те три дня Пинегин осматривал Помпеи, Везувий, Капри и отсыпался, а после пятой гонки, в которой наша яхта финишировала третьей, они практически уже были недостижимы.

После пятой гонки, на берегу, Пинегин и Шутков повели себя так, что их полюбил весь Неаполь. Победил в этой гонке наконец Страулино. Он дважды выигрывал в Неаполитанском заливе чемпионаты мира, но вот на этот раз... Да и победы в этой гонке, которая позволяла ему надеяться хотя бы на бронзу, Страулино едва не лишился. Американец Парк подал протест, утверждая, что на первом круге у верхнего знака Страулино задел гротом красную его яхты. Узнав об этом, Пинегин и Шутков пришли на разборательство свидетельствовать в пользу Страулино — их яхта в тот момент была рядом. А Ноулз, главный свидетель американца, почему-то не явился, и Парк взял свой протест назад. Сдержанный, знающий себе цену майор Страулино при встречах с Пинегиним и Шутковым был теперь необычайно радужен. Что же касается Карло Роланди — этот известный неаполитанский адвокат и яхтсмен ходил тогда у Страулино матросом, — то его дружба с Пинегиним длится и по сей день.

В начале этого января я видел у Пинегина новогодние поздравления из самых различных стран. Яхт-клубы сближают людей надолго. Любопытно, что поздравления от Роланди и Паркса почтально принес в один день. Видел я у Пинегина новогоднее поздравление и от испанского гонщика (он ныне король Испании) Хуана Карлоса де Бурбона...

А в седьмую — последнюю — гонку в Неаполе Тимир Пинегин и Федор Шутков шли уже олимпийскими чемпионами. И не без сожаления наблюдали,

как Страулино и Роланди пачали гонку изланише рискованно и упустили даже бронзовую медаль.

Оценивая победу Пинегина, Уильям Парк скажет, что он всегда был в нужное время и нужное место.

Олимпийский огонь в Неаполе был погашен, и Пинегин с Шутковым уехали в Рим. После «Мажестика», роскошного неаполитанского отеля, Олимпийская деревня в Риме у Пинегина восторга не вызвала — огороженная, охраняемая полицейскими... Нет, более шумной славе Власова или Шавлакадзе, допустим, он не завидовал. Самоутверждаться под крик толпы? Он привык, как всякий яхтсмен, делать свое дело вдали от зрителей. Да такого понятия — парусный болельщик — практически и не существует. С берега трудно увидеть, что происходит на дистанции гонки, поэтому на берегу собираются обычно лишь родственники да знакомые. На Олимпийских регатах в море выходят специальные корабли с телекамерами, но даже всемогущее телевидение не знает пока, как подступиться к парусным гонкам — сделать их массовым зрелищем.

А возвратившись в Москву и то тут, то там выступая с одним и тем же рассказом — о победе на Олимпийской регате, — Пинегин однажды почувствовал, что находится на грани нервного истощения, и, захватив с собой жену и маленькую дочку, уехал на два месяца в альплагерь «Альбек». В горах было снежно, спокойно.

1964 г., Токио,  
XVIII Олимпийские игры.  
Класс «Звездный».

1. Д. Ноулз (Багамские острова).
2. Р. Стирнс (США).
3. П. Петерсон (Швеция).

«Скип Этчел вышел вперед. Плотной группой за ним шли другие американцы. Я попытался обойти Этчела с наветрия, но он не пустил меня. Тогда я ушел ему под корму, что равносильно обычно стопроцентному проигрышу, и он решил, что у меня не выдержали нервы, сбросил меня со счета. А я резко ушел вправо, нашел ветер, повернул и пошел четко — далеко впереди Этчела. Американцы совершенно обалдели: за счет чего у меня такой ход?..»

Пинегин рассказывает эпизод, который произошел в одной из гонок на чемпионате мира 1962 года в португальском городе Каскайс. Там было 15 американских яхт. И каждый из американцев имел достаточно оснований считать себя гонщиком не менее классным, чем самый именитый европеец. К тому же «Торнадо» Пинегина резонно казалась американцам яхтой уже «уставшей», да и не самой современной. Этчел строил теперь на верфи «Олд Гринвич» яхты, корпуса которых были покрыты тонким слоем пластика.

Пинегин выступал в Каскайсе неровно (в начальной гонке был первым, затем — тридцатым...) и занял общее восьмое место. Но в открытом море на большой волне «уставшая» «Торнадо» продемонстрировала ход, неведомый американцам.

«В те годы, — рассказывает Пинегин, — экипаж «Звездника», откровенная лежал на борту. Но когда рулевой лежит, ему приходится выворачивать шею, чтобы все видеть. И я сидел, а ногу — под шкот, который идет через блок. Когда надо, повисал на этой ноге. А Федя висел за бортом. Висел глубоко в воду, лишь на одной ноге и на одной руке. Человек вроде бы так не может долго висеть на яхте — упадет в море. А Федя висел сколько надо. Судьи подозревали было, что мы ремнями привязываемся, даже искали у нас на яхте эти ремни после финиша...»

Помните, как в Австралии американцы брали большим весом? Но Шутков за весом не гнался — брал другим.

«После гонки,— рассказывает Шутков,— мышцы были, конечно, каменные. Дубели. Но помнешь, помнешь, почь проспишь — вроде полегче. Пошел наутро и снова повис. Втянулся. Американские матросы на берегу просили — покажи, как делаешь. И я совершенно свободно — отпускал даже руку — висел на одной ноге. Хоть час! А на спор мог провисеть и больше. Американцев же, хоть ребята они и здоровые, лишь минут на пять хватало. Повязное дело — коленку выворачивает, ногу сводит, если нет привычки...»

За победу в первой гонке Пивегину была вручена в Каскайе серебряная ваза — американцы впервые расстались с этим почетным призом. А Шутков как лучший шкотовый удостоился приза Мэрн Этчел (в 1951 году, когда Мэрн ходил у своего мужа матросом, они выиграли чемпионат мира). Сам Шутков, впрочем, никогда не пошел бы в гонку вместе с женщиной — он свято верит в стародавние морские приметы.

Парусная регата Токийской Олимпиады проводилась в заливе Сагами, к югу от Токио. Яхт-клуб был расположен на крошечном острове Еносима, а жили яхтсмены на побережье в фешенебельном отеле «Ойсо-бич».

В то лето Пивегин и Шутков выиграли на «Торнадо» европейский чемпионат в Марселе, а на Олимпийской регате решал уже гоняться на «Тайфуне» — эта их новая яхта была также построена на верфи «Олд Гринвич». Тонкий слой пластика, которым был покрыт корпус яхты, предохранял дерево от повреждений.

После двух гонок, имея одно первое и одно второе место, Пивегин решительно захватил лидерство. Перед третьей гонкой приехал из Токио представитель руководства нашей олимпийской команды и провел легучку, на которой говорил, что в других видах спорта мы выступаем пока не очень удачно, и он ждет, что парусники отличатся — уже завтра...

«Мы шли первыми,— рассказывает Пивегин,— опережая американца Стирпса, который шел за нами, метров на шестьсот. Нам оставалось идти всего метров двести до знака и — на финиш. И тут порыв ветра, на всякий случай надо было немного ослабить шкоты, но мы форсировали ход парусами, чтобы еще увеличить отрыв — так заведены были этой пакачкой,— мачта не выдержала — развалилась...»

«Дуло здорово,— рассказывает Шутков.— И как мы шли! Как открывались! Что случилось, спрашиваешь? Жадность фрайера сгубила. Упавшей мачтой мне рассекло руку. Кровинки на палубе, будто поросенка зарезали. А я сижу и плачу... Золото было в кармане...»

«Настроение было жуткое,— рассказывает Пивегин,— и не потому даже, что гонку отдал — на Олимпийских регатах худшая гонка отбрасывается, зачет идет по шести лучшим,— а потому, что знали — равноценной мачты нет. Когда «Тайфун» к нам везли, в Гамбурге была сломана запасная мачта. Мы были в это время в Баку на соревнованиях, и в Спорткомитете по неведению согласились взять немецкую мачту взамен сломанной американской.

Поставили мы запасную мачту быстро, а пока привыкали к ней — тут и Олимпиада закончилась. В дни отдыха нас вроде бы к Фудзияме возили, но я был в шоке — ничего не видел. Все мысли были об этой злосчастной аварии. В той третьей

гонке, кстати, Шелковников на «Летучем голландце» тоже с большим отрывом лидировал и тоже перефорсировал парусами и у него руль отлетел под нагрузкой...

После аварии я мог делать ставку лишь на случайность. Новая мачта не давала нужной скорости. Вот мы и заняли пятое место».

А уже совсем немолодой багаец Дьюард Ноулз расквитался в Токио наконец с судьбой. Еще на Олимпийской регате 1948 года он имел четыре первых места и... тоже сломал мачту. С возрастом у Ноулза стали трескаться на ветру губы, и он их густо смазывал белым кремом. В гонке он так яростно выкрикивал своему матросу команды, что Пивегину казалось — у Ноулза на губах пена. А Шутков говорил мне: «Черный сам, а губы белые. Интересно».

1968 г., Акапулько,  
XIX Олимпийские игры.  
Класс «Звездный».  
1. Л. Порт (США).  
2. П. Лунде (Норвегия).  
3. Ф. Ковалло (Италия).

**В**еличайшим яхтсменом всех времен и народов Тимир Пивегин считает датчанина Пауля (Поля) Эльвстрема. Он четырежды побеждал на Олимпийских регатах, выступая на швертботах — одиночках. Токийскую олимпиаду Эльвстрем пропустил, а затем начал гоняться и на «Звезднике»...

«У Эльвстрема довольно простецкая физиономия,— рассказывает Пивегин,— а когда он скалит в улыбке свои редкие зубы, то начинает походить на ящера. Эльвстрем — говщик от бога. Никакого образования он не получил и до всего дошел своим умом. Хозяин, у которого он, когда был совсем молодым, тесал камни, посадил его однажды на свою яхту — выхаживать паруса. Это было еще в эпоху хлопчатобумажных парусов. Чтобы такой парус приобрел форму, надо было сто часов походить на нем при несильном ветре в солнечную погоду. За эти сто часов Эльвстрем выходил не только парус, но и решение — стать говщиком. Помню, как поразило меня архитектурное решение здания верфи Эльвстрема в Коккедале. Я спросил: «А кто автор проекта?» Мне говорят: «Все придумал и нарисовал сам Поль». Он одарен всесторонне. За что ни берется, во всем находит новые грани.

В 1967 году на чемпионате мира в Копенгагене я гонялся с Эльвстремом. И в первой же гонке — от старта до финиша — мы с ним боролись за первое место. Он шел все время немного впереди, а я вплотную за ним. Но перед финишем я его все-таки обошел...»

Шутков любит вспомнить, как тогда на финише они шли нос в нос, а он лежал на палубе, держа шкот, и за долю секунды до финиша отпустил шкот, и «Тайфун» был первым принят на финиш — по парусу! «Я жестоко Эльвстрема кушал,— говорит Шутков.— Как он бил кулаком по палубе!»

«Эльвстрем был очень огорчен, проиграв эту гонку,— продолжает Пивегин.— Предыдущий чемпионат мира он выиграл. И теперь, выступая дома... Я удерживал лидерство до последней гонки, на старте которой группа американцев — у них было 16 яхт! — крепко взялись и за меня и за Эльвстрема, стремясь помочь своему лидеру. Но скандинавы, в свою очередь, блокировали американцев, которые мешали Эльвстрему, и в конечном счете он выиграл гонку. В этой ситуации, чтобы стать чемпионом мира, мне достаточно было прийти две-

паддатым... Но когда много теряешь на старте и чистым ходом уже ничего сделать не можешь, то идешь на крайне рискованный вариант и порой проигрываешь еще больше. Я был на финише лишь двадцатым...»

Летом шестьдесят восьмого года на первенстве Европы в Неаполе Пивегни, пожалуй, впервые в жизни не рвался выигрывать каждую гонку, не рисковал, стремился лишь наверняка попасть в первую пятерку, что гарантировало ему участие в предстоящей Олимпиаде.

Парусная регата XIX Олимпийских игр проводилась на рейде Акапулько. Этот модный курортный город расположен на Тихоокеанском побережье Мексики, а «Тайфун» был погружен в Неаполе на английское судно, которое должно было доставить яхту в Веракрус — в мексиканский порт на Атлантическом побережье.

И прилетев в Акапулько, Тимвр Пивегни и его тренер Леонар Митницкий день за днем звонили в Веракрус, но узнавали, что «Тайфун» все еще в пути — яхту завезли почему-то в Венесуэлу, потом (по-прежнему, как попутный груз!) она оказалась на Ямайке...

«Я взял катер с мощным подводным мотором, — рассказывает Пивегни, — в подбуксировывал ребят в район дистанции, а заодно смотрел ее. Пытался хоть как-то представить ветры в течениях в этом районе океана. Я понял, что можно рехнуться, если просто ждать яхту. Занялся кинесъемкой — у меня была старенькая камера, подводной охотой. Ласты и маску кушил, а ружье взял напрокат. Потом взял напрокат снасти для глубинного лова...

Так прошло двадцать дней, а когда осталась неделя, решил вскакать себе яхту в Акапулько. По одной лишней яхте было у мексиканцев в американцев. Это были уже целиком пластиковые яхты — новинка широко известной верфи «Липпинкотт». Из американцев в Акапулько приехал Лоуэлл Норт, под парусами которого я ходил уже много лет. Узнав о моих бедах, он сказал: «Боже мой! Никаких проблем! Завтра же берю». Но эта запасная яхта, которую мне обещал Норт, принадлежала не ему, а Военно-морскому флоту США. И через несколько дней Норт смущенно мне говорил, что они запрашивали Сан-Диего, базу своего Тихоокеанского флота, но получили отказ... Мексиканцы, правда, готовы были отдать одну из двух своих яхт, но их тренер никак не мог решить, на какой из них они пойдут сами...»

Митницкий рассказывал мне, что тогда он взял да и позвонил президенту Мексики Дуасу Ордасу, и мексиканский тренер получил из президентской канцелярии указание — немедленно отдать русским одну яхту. Но тут пришло известие — «Тайфун» прибыл наконец в Веракрус.

«Примчался большой грузовик с нашей яхтой, — рассказывает Пивегни. — Мы кинулись сгружать ее, мыть, чистить, вооружать. Вся команда помогала нам с Федей. И в последнюю минуту успели предъявить яхту к обмеру. И так же судорожно спешили спустить ее на воду — это было положено сделать к определенному часу. Спустили на воду, расчалили, вымыли, и завтра — первая гонка. Хоть раз выйти на дистанцию так и не успевал.

Двадцать дней я болтался на катере в районе дистанции, но с катера видишь одно, а с яхты — другое. Плохо, очень плохо гонолся мы. Куда ни пойдешь — все не туда. Я был полностью, еще до гонки, сломлен психически.

«Все перегорело внутри, — подтверждает Шутков. — Пытались что-то сделать, но ничего не получилось».

Еще за год до Олимпийской регаты в Акапулько Эльвстрем говорил Митницкому, что если сам он решит гоночься на «Финне», то в «Звездном» классе победит или Норт или Пивегни, а если он выберет «Звездник», то на «Финне» скорей всего победит Валентин Манкин. Эльвстрем гонолся в Акапулько на «Звезднике», но без привычного успеха. Словом, пятикратным олимпийским чемпионом не стал. А в остальном оказался прав. На «Звезднике» победил Норт, а на «Финне» — наш Манкин.

1972 г., Киль,  
XX Олимпийские игры.  
Класс «Звездный».

1. Д. Форбес (Австралия).
2. П. Петерсон (Швеция).
3. В. Кувайде (ФРГ).

Класс «Темпест».

1. В. Манкин (СССР).
2. А. Уоррен (Великобритания).
3. Г. Форстер (США).

**В** программу Олимпийской регаты в Киле были включены гонки на яхте-тройке класса «Солннг» и на яхте-двойке класса «Темпест». Такие старые олимпийские классы, как «Дракон» и «Звездный», выставлялись в Киле как бы на конкурс — в программе Олимпийской регаты 1976 года должна была сохраниться лишь одна яхта-тройка и одна яхта-двойка.

Шуткова злило, что хотят угробить «Звездник», и он не мог видеть «Темпест» — называл его угрюмом. А к «Солннгу» Шуткову пришлось привыкать — Пивегни решил пересест на «Солннг», и Шутков последовал за своим рулевым. Вторым матросом в этот экипаж вошел матрос Борис Галмков. Но ближе к Олимпиаде Шутков вновь пересел на «Звездник» — стал ходить с рулевым Борисом Будниковым.

Да, Пивегни и Шутков, которые на яхте понимали друг друга без слов, все же расстались. Каждый из них объясняет это по-своему. Но вправду ли сейчас публично анализировать их взаимные претензии? Тем более что расставались они — внешне, во всяком случае, — без всякого драматизма. Закончился сезон семидесятого года, и матрос Будникова Валентин Замотайкин перешел в экипаж к Пивегни, а Шутков — к Будникову.

Борис Будников также вырос на Клязьминском водохранилище. Он старательно учился у «профессора» — так он именуется Пивегни. Да и Пивегни всячески опекал Будникова, стремясь, чтобы его одноклубник был в «Звездном» классе вторым в стране. А теперь, гоноясь с таким матросом, как Шутков, Будников видел себя уже участником Олимпийской регаты.

А выступать в Киле на «Темпесте» готовился олимпийский чемпион Валентин Манкин.

Сравнивая квевлинина Манкина с Пивегнием, убеждаешься, что это совсем иной тип чемпиона. Помните, как Пивегни, восхитаясь Эльвстремом, подчеркивал, что это гощик от бога, что во всем видит новые грани — так широко одарен. Эльвстрем в дель Манкина — эталон гошника (ведь как раз на «Финне», на котором добился признания Манкин, Эльвстрем трижды побеждал на Олимпийских регатах!). Но Манкин, оценивая Эльвстрема, делает упор на другое: «Он работал больше, чем кто-либо в мире. Талант его в том, что он знал, чего стремится достигнуть. И всего достиг». Сам Манкин готов тренироваться круглосуточно, при

любой температуре воды. «Мой конек,— говорит он,— объем работы».

Пивегин зимой азартно и не без успеха занимался буюром, горными лыжами, а позднее просто уезжал в альплагерь, чтобы со свежей головой возвратиться весной к воде. Манкин же не забывает о парусе даже во сне. День, прожитый не на воде, для него — потерянный. А что горы? В горах нельзя даже поплавать.

Оба они, конечно, крайне честолюбивы. Но сдержанный, немногословный Пивегин не лишен самоиронии. А у Манкина, о чем бы он ни говорил, читаешь в глазах одно: «Хочу быть первым!» Он рассказывал мне, что когда еще только начинал заниматься парусом, записал в дневник такую мечту: выиграть отборочные соревнования землян для участия в межпланетных соревнованиях. Он может забыть, как победа, но никогда не забудет, как проиграл. Он признается: «С детства не могу видеть, чтоб чья-то спина — впереди».

На торжественном открытии Олимпийской регаты в Киле знамя нашей делегации, как всегда, нес Федор Шутков. Это была уже его шестая Олимпийская регата! Шуткову исполнилось 48 лет, но он верил, что еще находится в «развитии» сил и его хватит и на следующую Олимпиаду.

А Будников, которому Шутков помог выиграть отборочные предолимпийские соревнования в стране, вдруг усомнился: а не скажется ли возраст Шуткова, если в Киле будет здорово дуть? Запасным в нашей команде был известный рулевой Владимир Васильев. Он славился и как яхтоостроитель — построил в Ленинграде ряд отменных «Звездиков». Был весьма атлетичен. Если Васильев заменит Шуткова, думал Будников, сложится такой экипаж... Тренерский совет — уже в Киле — внял доводам Будникова. Но сказать обо всем этом Шуткову Будников решился лишь в последнюю минуту...

«Я так подготовил яхту, и тут он нанес мне этот удар,— рассказывает Шутков.— На войне такого удара не получал — там пули свистели, но привыкаешь, втягиваешься... Хожу я, хожу, а начну разговаривать — слезы льются, как у ребенка. Потом ребята, знакомые старые, взяли па катер, который дистанцию охранял. Ходил в море, смотрел...»

«Шел бы я с Федей, лучше было бы,— рассказывает Будников.— Федей матрос до мозга костей. А так что получилось? Два генерала в лодке. Каждый имел свое мнение — как тактически строить гонку. Я свое мнение проводил твердо только до первой ошибки, а в дальнейшем подчинялся невольно его мнению. Васильев старше меня, опытей, он с Пивегиним конкурировал, а я как-то из-за спины у него выпрыгнул. И ожидаемого усилия ветра не было... Мы заняли девятое место. И мне оставалось лишь вспомнить, как хорошо мы с Федей ходили. Год прошел, пока он стал со мной снова здороваться...»

О том, как Манкин рьяно взялся за изучение «Темпеста» и научился вести его не хуже, чем «Фини», в как в Киле до самой последней гонки с ним остро конкурировал англичанин Уоррен,— обо всем этом подробно рассказано им в книге «Белый треугольник» («Молодая гвардия», серия «Спорт в личность», 1976 г.).

Манкин не скрывает в своей книге, что борьба за победу в Киле осложнялась тем, что у него были очень напряженные отношения со своим матросом Виталем Дырдырой. Манкин говорил мне, что, к сожалению, ему не удалось найти второго Шуткова... Предположим, что Пивегину повезло. Но фанатичному Манкину ведь надо было

в кратчайший срок найти человека, который следовал бы за ним и на воде и на суше, как тень. А это был бы уже не Шутков. Не был таким человеком и Дырдыра — опытный рулевой, который прежде, на «Финне», соперничал с Манкиным. Тем удивительнее, что им удалось победить в Киле. «Мы благодарны были друг другу за то, что каждый сделал все возможное для победы,— говорит Манкин,— но выиграли Олимпиаду и расстались. И каждый пошел своей дорогой».

Манкин мне говорил также, что ему дано упиваться счастьем только в гонке, а в то мгновение, когда он гонку заканчивает, им уже овладевают заботы: как надо готовиться к следующей гонке, чтобы вновь выиграть... Я спросил: а как обстояло дело в Киле в тот день, когда он стал двукратным олимпийским чемпионом? «Был огорчен,— сказал Манкин,— что не сумел подготовиться так, чтобы не чуточку, а по-настоящему оторваться от конкурентов. Мне всегда хочется быть первым сильнее конкурентов».

А что же Пивегин на «Солинге»? Шутков, между прочим, мне так говорил: «Как мы с Темой расстались, и ему уже не стало светить, и мне». Пивегин был фаталистом не скроем. Он рассказывает, что на «Солинг» пересел и Эльвстрем — мало того, взялся сам строить яхты этого класса. И Пивегин, как и многие европейцы, выступал в Киле на яхте с гибким рангоутом, построенной Эльвстром. Американцы же, которые перед самой Олимпиадой начали строить «Солинги», делая ставку на жесткий рангоут, оказались мудрее. Сам Эльвстрем, ощутив, что он не у дел, даже не стал закапчивать Олимпийскую регату — бросил. А Пивегин занял седьмое место.

1976 г., Кингстон.

XXI Олимпийские игры.

Класс «Темпест».

1. Й. Альбрехтсон (Швеция).
2. В. Манкин (СССР).
3. Д. Коннер (США).

**Н**а Олимпийской регате в канадском городе Кингстоне англичане, добивавшиеся включения «Темпеста» в программу Олимпиады, казалось, могли быть довольны — в Кингстоне «Темпест» вытеснил «Звездик». И англичанин Уоррен, уступивший в Киле Манкину, давал понять, что теперь-то он выиграл. «Кингстон стоит на озере Овтарно,— рассказывает Манкин.— Студенческое общежитие, в котором мы жили, граничило с тюрьмой. Идти от яхт-клуба до дистанции было далеко. А озеро хорошее, ровное».

Вадим Акименко, который в семьдесят третьем году стал моим матросом и с которым мы в тот же сезон, хотя он едва научился завязывать узел по-человечески, чемпионат мира выиграли, обещал мне, что будет самозабвенно готовиться к предстоящей Олимпиаде, а до этого даже не женится, во... И весил он меньше, чем надо. А у меня был лишний вес, но если бы сбросил его, мы вообще бы ходили боком — не хватало бы веса для открытия. Что говорить, я завидовал и Коннеру и Альбрехтсону, у которых были двухметровые, стокилограммовые шкотовые. На Овтарно дули средние ветры, но на «Темпесте» даже в средний ветер вес шкотового очень важен.

Первую гонку мы выиграли. Потом была одна неудачная гонка. В тихий ветер мы шли хорошо, но нас настигли на финише. Лидером стал Альбрехтсон. А я шел теперь во втором месте, вплот-

ую за ним. После пятого дня у меня уже не было шансов его обойти. В последнюю гонку он мог вообще не идти, но, на мое счастье, пошел. Дело в том, что я боролся за второе место с Конвером. Он был очень силен. Тренировался, как и Альбрехтсон, на крейсерских яхтах — проводил на воде сутки, недели, а я на своем «Темпесте» — лишь три-четыре часа в день... Так вот в последней гонке американец шел первым, а швед — вторым. Если бы в таком порядке они финишировали — а шведу было все равно, каким финишировать, — американцу досталось бы серебро, а мне — бронза. Мне надо было, чтобы Альбрехтсон выиграл эту последнюю гонку. И когда мы шли рядом, то встречались взглядами, и Джонни — по-шведски — улыбнулся, давая мне понять: не волнуйся, дескать, мы его заделаем. И уже на втором круге обошел Конвера.

Я подружился с Джонни еще в семидесятом году на Кильской регате. Он живет близ Гетеборга, его дом стоит прямо у воды. Тут же яхта. Тренируется, когда захочет. Он многому научился, работая с Эльвстремом — представляла в Швеции его фирму. Я у него выиграл Олимпиаду в Киле — там я был первым, а он — четвертым. А теперь он у меня выиграл Олимпиаду, а я стал вторым.

Интересную характеристику Альбрехтсону дает Пинегин, который познакомился с ним еще в ту пору, когда Джонни ходил матросом на «Звездянке» Эльвстрема, и они выиграли чемпионат мира. Тощий, длинный, с этакой разболтанной походкой, носивший усы а-ля Геврах IV, Альбрехтсон был типичным плейбоем. Перед гонкой всегда появлялся, окруженный стайкой молодых девушек. А в семьдесят втором году, когда Альбрехтсон уже гонялся на «Темпесте», в Иере — это во Францию, — он в сильный ветер перевернулся, сломал нос, но залепил его пластырем и укатил навестить Брижитт Бардо. Из этой плейбой тем не менее единственный из европейцев, который, участвуя на «Звездянке» в Североамериканском чемпионате, выиграл его. А перед Олимпийской регатой в Кингстоне он, кстати, жевался.

Та Олимпиада была первой, на которой Пинегин не был. (На «Солинге» выступал Будников и до последней гонки претендовал на первое место.) А Пинегин тренировал в Батуми грузинских парусников и пытался увидеть хотя бы по телеэкрану, что происходит в Кингстоне. И увидел однажды скудные кадры гонки катамаранов, которые комментатор называл почему-то яхтами класса «Темпест»...

Олимпийская история «Темпеста», кстати, оказалась недолгой. В Таллине «Темпест» вновь уступит место «Звездянке». А англичанин Уоррен выступал в Кингстоне так неудачно, что, закончив последнюю гонку, обмал свой «Темпест» бензином и сжег его...

1980 г., Таллин,  
XXII Олимпийские игры.  
Класс «Звездный».

1.—?  
2.—?  
3.—?

**У**же третий сезон, расставшись с «Темпестом», Валентин Манкин ходит на «Звездянке». За те четыре года, пока «Звездянка» отсутствовал в олимпийской программе, наш «Звездный флот» основательно разоружился. Но у Манкина, во всяком случае, пластиковая яхта самой последней модели. Этот «Звезд-

янка», как и все свои прежние яхты (всех классов!), он назвал «Эскимо». Сладкие воспоминания детства — мороженое на палочке...

«Звездянку» мне нравится, — говорит Манкин, — громадными парусами, которые не уменьшишь в штормовую погоду, и надо в открытую сражаться с ветром и волнами. Я люблю штормовую погоду.

У Манкина новый шкотовый — Александр Музыченко. Ему 23 года, уже ходил на «Темпесте». Неужели Манкин нашел наконец такого матроса, которому ему не придется напоминать, как следует жить и работать, чтобы достичь его, двукратно-го чемпиона Олимпийских игр, уровня? Манкин заверил меня, во всяком случае, что не сомневается, что уж Музыченко-то до Таллина не женится.

На манкинском «Звездянке» можно часто увидеть Шуткова, который расталковывает что-то его молодому матросу. Федор Шутков не расстался со сборной страны. Когда наши парусники отправляются на очередную европейскую регату, Шутков садится за руль и везет яхты: надо — во Францию, а надо — и в Португалию... Он предпочитает автобаны, но без труда сорентируется («Язык? На пальцах быстрее сообразишь») на любом европейском перекрестке. Наши сегодняшние гонщики порой даже завидуют, видя, с каким почетом «старые ребята» встречаются во всех яхт-клубах Шуткова. Он считает себя человеком счастливым: и на войне выжил, и олимпийским чемпионом стал, и много где побывал. Не мешало, конечно бы, вокруг шарика под парусами еще мотануть... Да и Пинегин до сих пор не оставил эту идею и готов мотавуть вокруг шарика хоть коком...

Из бывших соперников Пинегина в Таллине может приехать разве что Лоуэл Норт. У американцев много и новых ярких имен в «Звездном» классе: Блеккеллер, Шумахер, Конвер... Да, тот самый Конвер, который соперничал с Манкиным еще в Кингстоне на «Темпесте». Возвратился на «Звездянку» и Альбрехтсон, но, насколько известно Манкину, Джонни сейчас вроде бы не до гонок — он взялся воспитывать детей умершей сестры.

Манкин чувствует себя на «Звездянке» не хуже, чем в свое время на «Финне» или на «Темпесте». Он уже прочно (как, кстати, и Будников на «Солинге») вошел в мировую элиту. Так в прошедшем сезоне — в Европе, во всяком случае, — он не знал конкурентов, хотя сезон для него начался с того, что в своем любимом Киеве, около Спорткомитета, он остушился на ровном месте и повредил ногу. Две первые регаты — во Франции и в Италии — ему пришлось гоняться с загипсованной стопой. Но Манкин, как мне представляется, такой человек, которому время от времени, чтоб не закиснуть, необходимо всплывать себя в крайних ситуациях.

«Мое знакомство с морем, — говорит Манкин, — началось в Таллине. В конце июля залив может быть тихим. Я больше люблю гоняться в сильный ветер, но раз надо, так надо. Вот в Киле: чем было тише, тем лучше шел...»



Арк. ИНИН, Л. ОСАДЧУК

## студенческие байки

Рисунки  
И. ОФЕНГЕНДЕНА.

### 1. Отцовский ремень

...А вот еще мне Зяблков с третьего курса рассказывал.

Был на мехмате один малый — Бугров. Тупарь тупарем. Пошел сдавать экзамен. Шесть слов выдал и молчит. Профессор у них такой старичок-добрячок, уж как может старается вытянуть из него еще хоть словечко, а Бугров молчит.

Ну что профессору делать? «Не-



удовлетворительно!» — говорит. И тянется за зачеткой. А Бугров тянет ремень из своих брюк. Широкий такой ремешок, с мощной пряжкой. Профессор аж отшатнулся! «Это что такое у вас, молодой человек?» А Бугров ему очень вежливо: «Это ремень. Отцовский. Не обращайтесь вниманья, профессор, ставьте мне мое «неудовлетворительно», я заслужил...»

А сам при этом делает из ремня петлю. «Что вы делаете?!» — кричит профессор. «Что отец велел, — отвечает Бугров, — в случае, если провалюсь. Отец у меня человек суровый. Старая школа. Никаких поблажек». И набрасывает петлю из ремня себе на шею.

«Стойте! — кричит профессор. — Нет, вы, конечно, не в материале,

так сказать... Но, с другой стороны, вы старались... Я поставлю вам «удовлетворительно». Но Бугров все направляет на него так вежливо, с ремнем на шее: «Профессор, потяните, пожалуйста, за этот конец. Отец прав, жизнь без стипендии — это не жизнь!»

Тут профессор вскакивает: «Я вам ставлю «хорошо»!

Бугров печально: «Отец всегда отличником был, сыну четверку не простит! — И оглядывается по сторонам: — Где бы табуреточку достать, чтобы вы ее у меня из-под ног...»

Профессор уже совсем стоит: «Не надо табуреточки! Я ставлю вам «отлично».

Тогда Бугров снимает аккуратно ремень с шеи, хочет его обратно в брюки вдеть, но профессор за ремень хватается двумя руками: «Нет уж, молодой человек, ремешок вы, пожалуйста, мне отдайте! Отдайте, так мне будет покойнее!»

А Бугров ему улыбается, широко-широко, и выдает: «Что вы, профессор! Как же я вам ремень-то отдам, отцовский? Отец с этим ремнем за два института экзамены сдал! Да и мне еще три года до диплома...»

### 2. Однажды

...А вот еще мне Зяблков с третьего курса рассказывал.

На физфаке слух прошел: заболевшего доцента будет заменять какой-то профессор, старичок довоенного образца, все помнит, все знает, но ничего буквально не слышит.

Ну, все дрожат, зубрят, волнуются, учитывая это самое «все помнит» и «все знает». Только один малый — Пухликов делает упор вниманья на другое: «ничего не слышит». Поэтому Пухликов ничего не зубрит, сачкует и головит свою тактику.

Приходит экзамен. Приходит и черед Пухликова. Он садится против глухого профессора и орет: «Билет первый!» Старичок от него слегка шарахается. Пухликов снова орет: «Вопрос тоже первый!» Старичок слегка подпрыгивает. А Пухликов опять орет: «Устройство радиолампы типа «пентод!» И нормальным голосом кидает в аудиторию: «А хоть бы в «диод» с «триодом» даже!»



Студяги, конечно, давят смех. Старичок глазет на Пухликова. А тот подходит к чертежу — радиолампа в разрезе — начинает водить по ней указкой и очень убедительным, но совсем пегромким голосом принимает молоть следующее: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под уздами мужичок в больших саноггах, в полуструбке овчином, в больших рукавицах... а сам — с ноготок!..»

Старичок-профессор слушает, слушает, кивает седенькой головкой, а потом вдруг спрашивает: «Откуда дровишки?» Пухликов, ясно, бледнеет, но уже не может остановиться, несет по инерции: «Из лесу... вестимо...» «А что у отца-то большая семья?» — интересуется профессор и раскрывает пухликовскую зачетку. Пухликов совсем шалее, начинает умолять и опять — чужими словами: «Семья-то большая, да два человека всего мужиков-то, отец мой да я...»

Но профессор его уже не слушает. Профессор ему уже «неуд» рисует — маленький такой, аккуратенький. С ноготок!

## ПРИНЦИ- ПИАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Рисунок М. ТИШНОЙ.

Я полюбил ее. Она не от-  
ветила на мое чувство.  
— Прекрасно! — ска-  
зал я себе. — Я не буду, как дру-  
гие, рациональным в любви. Я  
хочу ждать, волноваться, стра-  
дать, ревновать!

Каждый вечер после работы я  
приезжал к ее дому. И стоял ча-  
сами у ее окон.

Через месяц весь дом хорошо  
меня знал. Бабушки оставляли  
внуков под мой присмотр, женщи-  
ны — собак. Участковый мляццо-  
пер сменил участок. «Все равно  
стоишь, как в карауле, — сказал  
он. — Заодно присмотришь и за  
порядком...» Она ни разу ко мне  
не вышла...

Тогда я наваял вокально-инстру-  
ментальную группу «Вера, Надеж-  
да, Любовь» с автономным пита-  
нием. И каждый вечер пел у ее  
балкона серенады.

Жильцы дома перестали смот-  
реть телевизор, слушать радио и  
ходить в кино. К вечеру все рас-  
саживались на балконах посмо-  
треть и послушать меня.

А я ждал, когда же на одном пу-  
стом балконе появится дама.

Через две недели дверь откры-  
лась, и дама вышла. Это была ее  
мама.

— Ну что ты убиваешься, сы-  
нок? — сказала она, рыдая. — Раз-  
ве мало на свете хороших деву-  
шек? Не таких упрямых, как моя.  
Да к тому же с машиной, с да-  
чей, с квартирой...

— Нет! — воскликнул я. — Я не  
буду, как другие, рациональным в  
любви. Я хочу ждать, волновать-  
ся, страдать, ревновать!..

В эту ночь я написал стихи, до-  
стойные пера Петрарки и Шекс-  
пира. На следующий день их с по-  
священном опубликовали в вечер-

ней газете, и весь город узнал о  
моей неразделенной любви. Тися-  
чу экземпляров газеты я отослал  
ей. Вместе со всеми цветами, ко-  
торые продавались на централь-  
ном рынке вашего города. В тот  
же вечер мои друзья-пиротехники  
устроили у ее дома фейерверк...  
Но она так и не вышла. А я вы-  
шел из милиции только утром, по-  
скольку мои друзья-пиротехники  
перестарались.

Но когда я подходил к своему  
дому, я вдруг увидел ее. Она сто-  
яла под моими окнами.

— Милый, — сказала она. — Я  
была не права! Теперь я хочу лю-  
бить тебя. Я хочу ждать, волно-  
ваться, страдать, ревновать!

Я прогнал ее. Как она не может  
повторить, что это я, я хочу ждать,  
волноваться, страдать, ревновать!  
Я не хочу быть рациональным в  
любви! Я к этому уже привык.

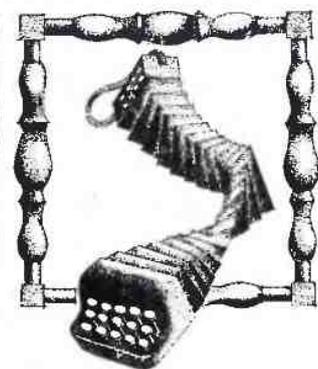


Рисунок  
Н. ЦУМАКОВА.

ПАВЕЛ  
ИЗЮМНИКОВ



### Литературная пародия

НИКОМУ НЕ ДАМ!

...И я ее привез к себе домой  
И никому не дам на  
поругание.  
Ни модному стилисте  
москвичу  
И ни шуту эстрадно-  
безголосому.  
Чье трогать! Она не по плечу  
Таким, как вы, прошу вас  
по-хорошему!

В. БОКОВ

«Вятская гармонь».

Оставь гармонь! Не смей  
хватать без спроса!  
А если спросишь — все  
равно не дам.  
Ведь ты совсем  
эстрадно-безголосый,  
Стылята, шут, москвич,  
гишпопотам.  
Твой внешний вид меня  
приводит в дрожь  
И эта дрожь мне очень  
неприятна.  
Не дам и все! Напрасно  
пристаешь,  
Я жадина-говядина, повятно!  
Не смей, москвич, над  
вещью издеваться,  
Не то я постового позову!  
Я сам к ней не рискую  
прикасаться,  
Поскольку, как и ты,  
в Москве живу.

**З**айцев устроился поудобней в кресле и приготовился смотреть первую серию французского телефильма «Блеск и нищета куртизанок».

События на экране разворачивались стремительно. Вот Люсьен де Рюампре приставил к виску пистолет, вот нажмет курок, вот...

— Моль, — раздался в смертельной тишине голос жевы.

Зайцев не шелохнулся.

Аббат Карлос Эррера остановил карету, подошел к Люсьену и отобрал пистолет.

— Зачем вы стреляетесь, юноша? — спросил аббат.

Люсьен не успел ответить. Жена Зайцева опередила его.

— Убей моль, — приказала она. — Не то она сожрет твой костюм.

Зайцев нехотя подвинулся с кресла и вяло пошел на моль. Бац, бац — мимо. Зайцев прицелился поточнее, но моль сделала крутой вираж и, выскользнув из-под широкой зайцевской руки, вылетела в открытую форточку. Тотчас же с телевизора прозвучало: «Мы передавали первую серию французского телефильма «Блеск и нищета куртизанок». Вторую серию смотрите завтра в девятнадцать часов сорок минут».

На другой день в 19 часов 40 минут Зайцев опять сидел в том же кресле и, сфокусировав взгляд на экране, напряженно пытался схватить утерянную нить фильма. Едва дикторша пересказала содержание первой серии и Зайцев чуть-чуть вошел в курс дела, перед телевизором снова появилась моль. Она шла на хорошей скорости и сразу направлялась к платяному шкафу. Черным воронком моль носилась над шкафом, заглядывала в щели и по всему было видно — собиралась плотно поужинать новым костюмом Зайцева.

— Ну это уж чересчур! — выкрикнул Зайцев и, расчехлив пылесос «Ракета», включил его в сеть и стал гоняться за вредным насекомым. В пылесос втянулось все, что могло втянуться, кроме моль.

На следующий день к началу передачи Зайцев уселся перед телевизором с широким банным полотенцем в руках. Просидел он не больше минуты. С экрана раздался звук, напоминающий удар гога, и по этому сигналу моль снова появилась перед глазами.

Зайцев заматался, стал молотить воздух хуками, апшеркотами, но кончилось это тем, что, выдохшись, он в изнеможении опустился в кресло, а моль, набрав высо-

## ЛЕОНИД ФУЛЬШТИНСКИЙ

# ИСКУССТВО ПРЕБУЕЛ ЖЕРТВ



гу, плавно, как дыряжка, поплыла к балконной двери. В этот момент кончилась третья серия.

К четвертой серии Зайцев стал готовиться основательно в загоня. Первым делом в «Тысяче мелочей» он приобрел стратегическую новинку — пульверизатор дальнего действия, заряженный, судя по этикетке, какой-то адской смесью.

Всю четвертую серию Зайцев просидел спиной к телевизору, ожидая злодейку, с пульверизатором наперевес. Но на этот раз моль вообще не прилетела.

— Видишь, я-таки ее измотал, — сказал Зайцев жене.

Пятая серия показала, что он был неправ. Моль не просто прилетела, она уселась на экран телевизора и стала ползти по нему, вклиниваясь между положительными и отрицательными героями, путая все сюжетные линии Бальзака. Зайцев встал, соизволил моль с экрана и тут же, на взлете, пшикнул на нее смертоносным составом из пульверизатора. Моль конвульсивно дернулась, обморочно закатила глаза, но вдруг цыганским танцевальным движением

стряхнула с себя патентованное средство и воспарила ввысь. Зайцев погнался за ней по квартире.

— Шестую серию, — объявил диктор, — смотрите завтра в 19 часов 40 минут.

К началу шестой серии Зайцев в новом костюме, в белой рубашке и при галстучке спокойно сидел на привычном месте. Это была его маленькая военная хитрость.

Новый костюм Зайцева произвел на моль ошеломляющее впечатление. Добротный материал и хороший пошив костюма разогнали ее вкусовые эмоции, вызвали у нее волчий аппетит.

— Кушать подано, — зловеще шептал Зайцев, гипнотизируя ее пристальным волевым взглядом.

Моль раскрыла пошире пасть, выбрала самый лакомый кусочек пиджака и... не тут-то было. Каркающая длань Зайцева изо всех сил шарахнула по левому плечу, где моль пыталась вкусить от запретного плода. Это был уже не тот Зайцев, что в первой серии. Движения его были точны, сильны и энергичны. Месть наконец свершилась.

Диктор же объявил об окончании последней серии.

На следующий день на работе у Зайцева шло оживленное обсуждение завершившегося телефильма.

— Люсьен — чудный, — сказала одна сотрудница. — Он просто прелесть.

— А по-моему, Люсьен не сморится. — возразила ей вторая. — Вот Эстер — действительно да!

Разгорелся спор, и обе сотрудницы попытались втянуть в него подвернувшегося Зайцева.

— А вам как?

Зайцев вдруг заплакал и выбежал из комнаты, хлопнув дверью.

— Надо же, какой впечатлительный! — ахнула первая сотрудница.

— Вряд ли, Бальзак его сильно растрогал, до сих пор переживает, — сказала вторая.

г. Ленинград



ШАРИФ  
ШУКУРОВ

## ДВА ОКНА В ТАДЖИКИСТАН

«Одно из важнейших свидетельств прогресса культуры — развитие понимания культурных ценностей прошлого и культур других национальностей, умение их беречь, накапливать, воспринимать их эстетическую ценность. Вся история развития человеческой культуры есть история не только создания новых, но и обнаружения старых культурных ценностей». Эти слова академика Д. С. Лихачева полностью приложимы к творчеству двух молодых таджикских художников — Любови Фроликовой и Савзали Шарипова, работы которых с успехом экспонировались недавно на стендах «Юности». Внимательный зритель сразу отметит, что художников роднит не только бережное, обдуманное отношение к изображаемому миру, но, что важнее всего, сходство в осознании важности обращения к традиции, осмысления векового наследия таджикской культуры. Культура, которая дала миру такие величины, как Рудаки, Авиценна, Фирдоуси, Хайям, Бехзад... Но в истории искусства мы никогда не встретим двух одинаковых художников. Каждый мастер оставляет на полотне частичку своего «я», свой темперамент, свое мироощущение. Отражение внутреннего мира художника всегда можно обнаружить в выборе сюжета картины, композиционном и цветовом воплощении избранной темы и даже в манере нанесения красок. На выставке Л. Фроликовой и С. Шарипова мы еще раз убеждаемся, насколько различным и в то же время убедительным может быть творчество двух ровесников.

Любовь Фроликова выросла в Брянске, училась в Орле. После учебы переехала в Таджикистан. Трудно передать чувства и ощущения людей, впервые попавших в Среднюю Азию, — тут сочетаются и удивление от явного избытка красок и света, и почтение к седебородым старцам, и трепет перед громадами гор. Перед человеком открывается окно в другой, не всегда понятный для него мир. И далеко не каждый способен адекватно выразить свои впечатления, рассказать интересно об увиденном. Л. Фроликовой, думается, удалось сделать это по-своему, искренне и увлеченно. Действительно, ее полотна напоминают часто кусочек выхваченной и на мгновение застывшей реальной ситуации. Таковы, например, картины «Базар», «На хлопке», «В горах». Художница стремится вместить в свои картины разнообразие увиденного ею мира, в котором узнаются не только самые разные персонажи, но

одновременно смешиваются и контрастные оценки автора: ее раздумья и тонкая ирония. В смешных, игрушечных осликах, чуть-чуть грустных и умиленно-забавных детишках Фроликовой нужно видеть не только улыбку художницы, но прежде всего ее отношение к изображаемому. Отсюда возникает своеобразие манеры повествования Фроликовой — ее живопись принципиально монологична, герои ее обращаются к зрителю, полностью открываясь ему. Некоторую декларативность образов дополняет цветное многообразие полотен, тоновая направленность которого зависит от внутреннего настроения картины. Частое, звучное многоцветье одних полотен может смениться ровным, спокойным звучанием красок в других («На хлопке» и «Музыканты»). Интересны и композиционные поиски художницы, во многом зависящие от ее мировосприятия. Ее героям тесно на полотне, иногда кажется, что они вот-вот раздвинут пределы холста и вырвутся наружу. Таков, например, «Базар» Фроликовой.

Настойчивая устремленность к истокам родной культуры — характерная черта творчества Савзали Шарипова. Персонажи в природе на его полотнах метафоричны, они являются проекцией более сложных и более общих связей и отношений. Давно покинутый людьми заснеженный и развалившийся двор, одиноко сидящая во дворе дворняга и мрачное дерево — все тленно в преходящем. Но на дереве висит еще пока пустая детская колыбель, в которой, уверен художник, скоро раздастся крик младенца, оживет двор и расцветет дерево — пустынный мир снова обретет своего хозяина. Зритель невольно вовлекается художником в беседу, поводом для которой служат изображаемые персонажи, атрибуты действия, пейзаж. Вдумчивый человек сразу заметит, что предлагаемая художником беседа необычна — это беседа-припоминание. Белые голуби, дерево, писец Бехзада, череп, уходящая за занавес мужская фигура — что это? Мистификация, вольная выдумка художника? Картина называется «Посвящение Махмуджову Вахидову». Нелепая смерть Вахидова потрясла таджиков — он был их гордостью, был своеобразным символом их богатейшего прошлого. Блестящее чтение стихов Омара Хайяма и Хафиза принесло артисту известность. Он очень хотел и не успел сыграть Гамлета... Шарипов предлагает всем сопережить не только само, но национальную утрату, он приглашает зрителя войти в свой мир равноправным и готовым к пониманию собеседником. Нельзя не сказать в этой связи, что творчество Шарипова органично сочетается с общей направленностью культуры современного Таджикистана — припоминание в переосмыслении классики характерно не только для творчества актера Вахидова, но и для современной таджикской литературы. Однако Шарипов создает ограниченность своих образных средств. Поятен и оправдан поэтому отход художника от чрезмерной повествовательности и специфической образности в стремлении найти более лаконичный и емкий выразительный язык. Привлекательны с этой точки зрения его полотна «Утро в Рогуне» и «Саженьцы». Иллюзорный мир Шарипова, сочетающий драматизм и накал действия с молчаливой грустью и романтикой образов, дополнен тонким чувством цветовой гармонии. Почти неуловимый переход тонов рождает впечатление движения всей композиции, подчеркивая ее смысловые акценты. Мир Шарипова не прост, он приглашает взглянуть на него изнутри, вступить с собой в диалог. А диалог с художником и его персонажами поучителен.



Л. ФРОЛИКОВА  
На хлопке.

На стендах  
«ЮНОСТИ»

ЛЮБОВЬ  
ФРОЛИКОВА

САВЗАЛИ  
ШАРИПОВ

г. Душанбе.



С. ШАРИПОВ.  
Под чинарой.

Цена 50 коп

Индекс  
711

